

Наталия Ланина

Автопортрет
на фоне СССР



Нестор-История
Санкт-Петербург
2010

УДК 821.161.1-94+94(47).084

ББК 84(2Рос=Рус)+63.3(2)6

Л 22

Ланина Н.А.

Л 22 Автопортрет на фоне СССР.— СПб.: Нестор-История, 2010. — 352 с., ил.

ISBN 978-5-98187-5-144

Воспоминания о повседневной жизни в СССР, охватывающие период с 1945 по 1991 год. Среди персонажей книги — лидер «левого ЛОСХа» Ярослав Крестовский и один из основателей ленинградского андеграунда Вениамин (Саша) Леонов, балерины Алла Осипенко и Ольга Заботкина, философ Моисей Каган и пародист Александр Иванов, министр и домработница, офицеры НКВД и жертвы политических репрессий, высокопоставленные функционеры КПСС и жители глухих северных деревень, фанатично преданные творчеству художники и прагматичные дельцы от искусства.

УДК 821.161.1-94+94(47).084

ББК 84(2Рос=Рус)+63.3(2)6

Фото из архива автора

ISBN 978-5-98187-5-144



© Н.А. Ланина, 2010

© Нестор-История, 2010

Предисловие

Трудно сказать, что побудило меня сесть за написание этого текста. Может быть, потребность души на старости лет погрузиться в воспоминания и осмысление прожитой жизни, что свойственно всем пожилым людям. Может быть, желание оставить их как свой вклад в семейную хронику внукам и правнукам. Во всяком случае, мысль об издании этих заметок вначале даже не приходила мне в голову. Но когда я начала писать и перечитывать написанное, мне вдруг показалось, что то, о чем я пишу, — события, факты, люди — может стать интересным не только родным и близким. И тогда границы моего непритязательного, частного замысла значительно расширились.

Я родилась и почти пятьдесят лет, основную часть своей жизни, прожила в стране под названием Советский Союз, среди народа, который назывался советским. Сегодня об этой стране и живших в ней людях по-прежнему много говорят, пишут, снимают фильмы. Может быть, я и не стала бы фиксировать свои воспоминания на бумаге, если бы не эти книги и фильмы, в которых я не узнаю ту страну, в которой жила.

Память людей пластична, она слишком легко искажается под магическим воздействием слов и образов искусства. В середине девяностых представления о недавнем прошлом в основном формировали произведения, созданные еще при советской власти и имевшие остро полемический по отношению к ней характер, со всеми преувеличениями, свойственными вообще любому политическому памфлету. Они породили многочисленные подражания, в которых советские люди представлялись не иначе как «хомо советикусами», уродами и монстрами. Теперь все опять поменялось: распад СССР объявлен «величайшей трагедией XX века», и бесконечным потоком пошли произведения всех жанров, пронизанные вдруг проснувшейся ностальгией по канувшему в небытие миру советских людей. Парадокс в том, что в нынешних «просоветских» сериалах, кинофильмах, книгах этот мир выглядит, пожалуй, еще более тусклым, пустым, отвратительным и бесчеловечным, чем в книгах и фильмах сознательно антисоветских. Такое впечатление, что именно все самое мерзкое, что было в советской системе, и представляется их авторам самым ценным. Но реальная жизнь никогда не сводилась к «системе». Система была сама по себе, а жизнь сама по себе, и она была ничуть не менее сложной, противоречивой, на-

сыщенной, чем в любую другую эпоху. Во всяком случае, она не больше походила на шаблоны коммунистической «наглядной агитации», чем сегодняшняя жизнь — на рекламную картинку в телевизоре.

Незадолго до смерти мама сказала мне:

— Твое поколение счастливое, оно не знало ни войн, ни революций.

Она ошибалась: революция начала девяностых, пусть и несравнимая по своей катастрофичности и количеству жертв с Октябрьской революцией и Отечественной войной, но по-своему не менее драматичная, уже была на пороге. Но и до нее на моей памяти сменили друг друга три совершенно разные эпохи: «сталинизм», «оттепель», «застой». За каждым из этих понятий-ярлыков, ставших сегодня заголовками скучных параграфов в учебнике истории, для меня стоят живые люди, в чем-то типичные, в чем-то уникальные, неуловимо-загадочные, в их сложных взаимосвязях, взаимоотношениях, в личностной реализации и судьбах. Как мерцание звезд и их конфигурации влекут нас к небу, так и истории людей, в сложных сплетениях рисуя карту жизни, делают эту жизнь властно притягательной, волнующей и нескучеющей. Поэтому в своих воспоминаниях, в первую очередь, мне хотелось рассказать о людях, тех, с кем довелось дружить и общаться.

Чем дальше, тем больше я прихожу к выводу, что история намного глубже и сложнее, чем это представляют нам создатели расхожих образов и мнений. Она настолько непредсказуема и превратна, многогранна и многолика, прихотлива и изменчива, что никакие ее проявления, даже те, суть которых в какой-то момент кажется простой и очевидной, не могут тем не менее подвергаться категорической однозначной оценке. Именно это мне хотелось показать, когда я писала и о судьбах знакомых и близких мне людей, и о тех жизненных обстоятельствах, в которых они оказались, и об общественно-политической ситуации, определявшей «советский образ жизни». Насколько мне это удалось, я не знаю.

В исторических и общественных коллизиях одни оказываются активными участниками, другие простыми наблюдателями, но все волей-неволей вовлечены в общий водоворот, каждый по-своему, и каждое новое свидетельство вносит свою лепту в понимание и осознание спорных моментов нашего сложного бытия, способствует более глубокому и объективному его осмыслению. Так мне кажется.

Мои записки не претендуют ни на анализ, ни на обобщения, но, предлагая их читателю, я надеюсь, что в собрании воспоминаний о советской действительности они не станут лишними.

Санкт-Петербург, 2008

Часть первая

Оккупанты

Рига, 1945–1957

Я родилась в декабре 1941 года в городе Куйбышеве — бывшей и нынешней Самаре. Позднее мама мне рассказывала, что в тот день, когда я родилась, в палату вошла медсестра и радостно сообщила: «Немцев под Москвой остановили!» И тогда мама подумала: «Моя дочь будет приносить с собой радость и счастье».

Уже полгода как шла война. Куйбышев был глубоким тылом, именно в этот город было решено перенести столицу, если не удастся отстоять Москву. В нем было много эвакуированных, немалую часть которых составляли ответственные партийные и государственные чиновники. Их расселяли где могли, уплотняя местных жителей. В квартиру моих родителей подселили семью влиятельного латышского большевика из Риги по фамилии Клява. Сам Клява воевал и впоследствии погиб, а с его женой и дочкой Эрной мама дружила долгие годы, тем более что после войны судьба свела их снова вместе, но уже в Риге.

Мой отец, Арсений Матвеевич Коротков, в первый же день войны ушёл на фронт. По профессии он был лесомелиоратором и занимал должность главного инженера куйбышевского лесоустроительного треста. Наверное, поэтому его, как человека с высшим образованием, а потому офицера запаса в звании лейтенанта, хорошо разбирающегося в картографии, взяли в штаб армии, а не отправили на передовую, и, может быть, поэтому, будучи штабным офицером, он выжил в этой страшной войне, хотя пришлось вынести и выход из окружения осенью 1941-го, и тяжелое ранение в 1943-м в боях под Обоянью на Курской дуге. Он был всю войну в действующей 21-й армии, после Сталинграда ставшей 6-й гвардейской — армии, сыгравшей решающую роль в начале Курского сражения, когда она, не отступив ни на шаг, выдержала главный удар немцев; был награжден пятью боевыми орденами и несколькими медалями. День Победы встретил в Латвии, где до самой капитуляции Германии продолжалось сопротивление большой немецкой группировки, окруженной в Курляндском «котле». Закончив войну в звании гвардии подполковника, папа остался на военной службе. В конце пятидесятых полковником ушёл в отставку, после чего вернулся к прежней мирной профессии и до 77 лет работал в системе Гипроводхоза ведущим инженером-лесомелиоратором.

В нашем семейном архиве хранится почтовая открытка с фронта, датированная 30 декабря 1941 года. Она поражает своей сдержанностью и лаконичностью: «Муся! Поздравляю тебя и дочку или сына

(пока не знаю) с наступающим Новым годом. Желаю доброго здоровья. Надеюсь, 1943-й Новый год будем встречать вместе в обстановке семьи и спокойной мирной жизни после полного разгрома фашизма. Твой Арсений». Эта отстраненность от чувств мирной жизни, мне кажется, больше всего свидетельствует о напряженной ответственности воинского долга, о скорбной строгости, о том, что несли в своей душе в эти дни первых страшных поражений советские люди.

Я совсем не помню этих военных лет, не помню своего родного города, в котором так никогда и не побывала впоследствии. Моя память жизни начинается с того момента, как я стою в тамбуре поезда, на котором мы с мамой приехали в город Ригу, а внизу, на платформе, стоит мужчина в военной форме и протягивает ко мне руки. Я его пугаюсь и плачу, а мама, смеясь и успокаивая меня, говорит: «Талочка, это же твой папа!» Мне три с половиной года.

Штаб армии, в котором служил папа, находился в местечке Вайноде, и первое время мы с мамой обитали при штабе, на красивой двухэтажной вилле, но очень скоро армию расформировали, а папу перевели в Ригу.

В Риге мы прожили двенадцать лет. Здесь прошло моё детство и начало юности, и этот город я считаю своей родиной. Но прежде чем рассказать о жизни в Риге, немного о своей родословной.

Моя мама, Мария Аркадьевна, была особым человеком по отношению к родственным узам. Она их не ценила и не часто погружалась в воспоминания о семейном прошлом. Тем не менее, перелистывая иногда семейный фотоальбом и называя мне тех, кто был изображен на фотографиях, кое-что мне о них рассказывала. Так я узнала, что моя прабабушка была столбовой дворянкой из богатой семьи. Встретив и полюбив простого железнодорожного мастера по фамилии Гордеев, она была вынуждена уйти из дому, вышла за Гордеева замуж и уехала с ним в Самару. Здесь у них родилась дочь Елена, которая стала врачом и вышла замуж за Аркадия Михайловича Досека — инженера-строителя. Они были счастливой интеллигентной парой. У них родилось двое детей: моя мама и её брат Сергей. Но затем случилось несчастье: бабушка, спасая умирающего от дифтерита ребёнка, пытаясь через трубку отсосать мокроту, заразилась сама и умерла. Дети были совсем маленькими, и дедушка вскоре снова женился в надежде, что новая жена сумеет заменить его детям мать. Но этого не произошло. «У меня не было детства и юности, мачеха исковеркала мне жизнь. Твой отец — замечательный человек, достойный любви и уважения, но я вышла за него замуж только потому, что мечтала вырваться из

дому», — неоднократно говорила мне мама. Свою мачеху она не простила до конца жизни. С тех пор как мы покинули Куйбышев, мама была в нем только один раз — на похоронах дедушки. Уехав в Ригу, она отрезала от себя свою самарскую жизнь, хотя изредка переписывалась с дедом и братом, но чаще с многочисленными подругами и друзьями, которые иногда навевывались к нам в гости в Ригу. «Чужие люди мне ближе родственников», — утверждала мама. И это действительно было так. Близких друзей у моих родителей было очень много, и они остались верны этой дружбе навсегда. Удивительно, но из всех родственников самой родной оказалась Галя, родившаяся от дедушкиного второго брака. Ненавидя мачеху, мама очень любила свою сводную сестру, та отвечала ей взаимностью, и их тёплые отношения сохранялись до последних дней жизни.

На рояле в рамочке у нас стояла большая фотография моего дедушки Аркадия Михайловича. Когда после смерти Сталина Председателем Совета министров назначили Булганина, кто-то из гостей, глядя на фотографию, пошутил: «К новой власти подлизываетесь?» Действительно, сходство было поразительным. Дедушка гостил у нас в Риге не раз. Ему ещё не было шестидесяти лет, но мне он казался стариком. Всё в нем было каким-то старомодным: усы и борода на дореволюционный манер, жилетка и карманные часы с цепочкой, манера говорить с частым цитированием русских классиков, пословиц и поговорок. Он был осанистым и представительным мужчиной, очень нравился маминим подругам, они с ним кокетничали, а за некоторыми он явно волочился. Часто мы с ним гуляли по Риге. Взяв меня за руку, он важно вышагивал, опираясь на неизменную трость. Всегда заходил в православный собор в центре Риги. Он был человеком верующим и не скрывал этого. Советскую власть ненавидел.

С мамой они часто препирались, в основном из-за мачехи.

— Ну, объясни мне, почему ты на ней женился, она же была старой девой, — задиралась мама. Дедушка начинал объяснять:

— Она женщина хорошего происхождения, дворянка, образованна, играла на фортепиано. Я искал такую маму, которая могла дать вам с Сергеем хорошее воспитание.

— О каком воспитании ты говоришь? Она таскала меня за волосы! — всё больше заводилась мама.

— Ты была очень непокорной и строптивой, — спокойно возражал дедушка.

— Такой интересный мужчина, женщины вешались тебе на шею, а ты выбрал уродину, у неё черные усы! — мама распалялась.

— Это придавало ей особую пикантность, — невозмутимо отвечал дедушка.

— У меня не было приличной одежды, не в чем было пойти на танцы!

— Ты и без этого была хороша, от кавалеров отбою не было, — парировал дедушка.

— Ты меня никогда не жалел! — в сердцах уже кричала мама.

— Я воспитывал тебя в строгости, как и подобает воспитывать барышню.

— Из-за неё я ушла из дому! — мама уже почти плакала.

— Благодаря этому ты вышла замуж за Арсения, а он золотой человек, — отмечал все её упрёки дедушка. Его мало что могло вывести из равновесия.

Жил он у нас подолгу, явно наслаждаясь и отдыхая душой. Видимо, у Варвары Николаевны, которую я так никогда и не видела, и в самом деле был непростой характер. Меня он называл «егозой» и «мартышкой», любил со мной возиться и щекотать, но был недоволен моим воспитанием.

— Балуешь ты очень Наташку, своеволия в ней много. Отказу ни в чем не знает, — пытался он не раз наставлять маму. В ответ та громко фыркала и гордо заявляла:

— У меня не было матери и не было детства. Пусть хоть моя дочь будет счастлива.

Я злилась на деда. Не за себя. Мне было жалко маму. Я видела и чувствовала, как она ждёт, чтобы он хоть раз повинился перед ней. Но этого, кажется, так и не произошло.

Они были очень разными, мои родители. Мама — красивая, с классически правильными чертами лица, с прекрасной фигурой, высокая, с гордой осанкой, легкой, быстрой походкой, приятными манерами; у неё было изумительное чувство юмора; смеялась она звонко и заразительно, красиво откинув голову. Она была кокетлива, но не пошло, примитивно, как это часто встречается у неумных манерных женщин, а неотразимо-привлекательно, очаровывая буквально каждого, кого хотела очаровать. Она была артистична, неплохо играла на фортепиано, пела, прекрасно танцевала. Она всегда модно одевалась в меру материальных возможностей. Больше всего она любила читать, читала очень много и самозабвенно. Эту любовь к чтению она передала и мне. Но похвастаться своим образованием мама не могла, попросту не имея его. Читала без разбору все подряд: русскую и зарубежную классику, лауреатов Сталинской премии и бульварную

литературу, которой в Риге с буржуазных времен осталось более чем достаточно. Она неплохо знала классическую музыку, но, вероятно, только потому, что её активно пропагандировали по радио. Она не любила драмы и трагедии, зато обожала оперетты. И уж в чем она совсем не разбиралась, так это в изобразительном искусстве. Но её всегда спасали вкус и интуиция. Таких женщин, как моя мама, формировали, я думаю, в значительной степени русская литература 19 века и кино тридцатых-сороковых годов. Когда я смотрю в старых лентах на известных актрис того времени: Орлову, Целиковскую, Ладынину, Серову, на героинь трофейных фильмов типа Марики Рок, я всегда вспоминаю маму и её подруг. Да, вот такими они и были: женственными, осознающими свою власть над мужчинами, а потому играющими в недоступность; порой капризными и властными, порой трогательными и беспомощными — истинными женщинами, верными мужу и преданными семье.

В отличие от мамы мой папа был самого простого происхождения — сын крестьянина из чувашской деревни Тюрлема. Чуваша — народ небольшой, но своеобразный. Папа говорил мне, что чуваша — это потомки волжских булгар, которые жили в Поволжье до нашествия татар и потом были ими отатарены, но сказалося это лишь на их языке и некоторых чертах внешности, в мировоззрении же и образе жизни они были православными христианами. И всё-таки что-то восточное в этом народе присутствует. Некоторая племенная обособленность, преданность, верность своему роду, а поэтому сильнее чувство привязанности к семье и родственникам, а кроме этого — та мудрость, которая тесно сплетена и с осторожностью, и с лукавством, и с недоверчивостью к безоглядному проявлению чувств, к широко открытому высказыванию мнений и взглядов. Папино жизненное кредо выражалось в любимом его афоризме: «Всё надо делать в меру. Всё безмерное превращается в свою противоположность».

Семья Коротковых считалась в деревне зажиточной. У них было четыре лошади, хороший дом, большой яблоневый сад, пасека. Мой дед, Матвей Трофимович, был единственным грамотным в Тюрлеме, а потому пользовался уважением и принимал участие в работе земского самоуправления. Бабушка же, Анастасия Сидоровна, была тихой и скромной труженицей, родившей семерых сыновей и одну дочь. Несмотря на то, что они были типичными «крепкими середняками», в период коллективизации их причислили к «кулакам» и всю семью вывезли в Сибирь. Папа избежал ссылки, так как в это время учился в лесоустроительном институте. «Зимой, в лютый мороз,

их погрузили в товарные вагоны, как дрова», — с болью вспоминал он. Через год им разрешили вернуться, признав, что они не являются врагами народа, так как не имели наёмных работников и благосостояние нажили своим трудом. Естественно, реквизируемый под здание почты дом и взятых в колхоз лошадей им не вернули. Все дети Коротковых получили высшее образование. Все братья воевали, двое погибли, один вернулся с войны инвалидом. Впоследствии все сделали удачную карьеру, добившись в жизни успеха благодаря природному уму и трудоспособности. Все Коротковы между собой связаны тесными родственными узами, и только мама не сумела и не захотела вписаться в эту семью. Это было предметом глубоких переживаний моего отца. Самые бурные семейные ссоры возникали у нас из-за папиных родственников. «Нацмены, деревенщина!» — язвительно отзывалась о них мама. Обладая очень покладистым характером, папа терпеливо и даже смущённо сносил такие высказывания в свой собственный адрес. Он прекрасно осознавал, что воспитанием и манерами в сравнении с мамой похвастать не может, но приходил в ярость и свирепел, когда речь в подобном тоне заходила о родне. В детстве я была всегда на стороне отца, но с возрастом стала лучше понимать истоки маминого снобизма.

* * *

Рига не очень пострадала от войны, и всё же разрушенных зданий было немало, особенно в районе старого города. Их восстанавливали пленные немцы. Шествие колонны военнопленных по улицам города было будничным явлением, так же, как и многочисленные калеки без ног, без рук, слепые, с синими лицами, испещренными черными глубокими шербинами. Сидя у стен домов, увешанные медалями, они нищенствовали, протягивая руки, надрывно пели, рыдали и проклинали всё вокруг. Это были жертвы войны. Мы, дети, их очень боялись. Потом они вдруг сразу все исчезли, а если и встречались, то чаще всего в качестве мастеровых: сапожников в будочках, точильщиков ножей на рынке, сборщиков тряпья. Были и шарманщики, бродившие по дворам, и нищие-попрошайки.

Помню, как весь город с напряженным вниманием ждал решения суда над фашистскими преступниками — в Риге разворачивался свой Нюрнбергский процесс. Их приговорили к смертной казни через повешение. Казнь совершалась публично в центре Риги на большой площади, которую называли Эспланадой. В том, что фашисты

понесли заслуженное наказание, ни у кого сомнений не было, но помню, как нервничала мама и угрюмо молчал папа. Что-то слишком зловещее и тягостное витало вокруг. И когда казнь свершилась, все вздохнули облегченно, потому что хотели поскорее расстаться с тяжелым недавним прошлым и вернуться к радостям жизни, о которых они так тосковались.

Этим радостям русские в Риге отдались с безрассудным эгоизмом народа-победителя, за который, спустя более чем полвека, пришлось расплачиваться. Сегодня, когда с такой остротой в Латвии, да и в России, особенно в среде политиков, обсуждаются взаимоотношения между латышами и русскими, я с особым чувством вспоминаю впечатления детства, которые по времени совпали с первыми годами заселения Латвии советскими русскими. Разумеется, эти впечатления ни в коей мере не могут претендовать на аналитическое осмысление событий, ставших уже историческими. Рига для меня далёкое прошлое, которое вспоминается с ностальгией. Там остались мои друзья-одноклассники и друзья моих родителей. И все они очень любили этот город. Помню, в конце восьмидесятых мне из Риги в Ленинград позвонила подруга мамы — Вера Георгиевна, одинокая, но никогда не унывающая, очаровательная, миниатюрная женщина, не знающая возраста и часто шутившая о себе: «Маленькая собачка всегда щенок!» Мамы уже не было в живых, а самой Верочке, как всегда звала её мама, было за семьдесят.

— Талочка! — по-молодому взволнованным голосом кричала она в трубку, — мы от вас отделяемся! У нас уже свои деньги — латы...

Меня поразили счастливые интонации в её голосе.

— Вера Георгиевна, как же вы останетесь там одна? Все ваши родственники здесь, в Ленинграде. Может быть, вам удастся обменять или продать квартиру? — обеспокоенно спросила я её.

— О чём ты говоришь? — искренне удивилась она. — Я никогда, никогда не покину Ригу. Об этом не может быть и речи! Я патриотка этого города и хочу жить и умереть только здесь. Наверное, мы больше не увидимся... Будьте счастливы! А у нас будет всё замечательно!

Несмотря на то, что Вера Георгиевна была в молодости военнослужащей и прошла всю войну, папа всегда считал её очень легкой-мысленной особой. Положив трубку с грустным чувством, я в то же время поймала себя на лёгкой зависти и подумала: «А может быть, она права?»

Советские люди, поселившиеся в Риге после войны, обрели здесь комфортабельное европейское пристанище. Уютный, чистый,

зелёный город с красивой архитектурой в стиле модерн, с великолепными дачными пригородами на Взморье быстро заполнялся русскими. Их было так много, что поначалу латыши совсем не бросались в глаза. Они работали продавцами, парикмахерами, официантами, торговали на рынке. Некоторые круглый год жили на Взморье (так тогда называли теперешнюю Юрмалу) и сдавали рижанам дачи. Конечно, были латышские школы, а в них латышские учителя, были латышские театры, латышская литература, музыка, особенно фольклорная, был Рижский университет. Но поначалу, в первые послевоенные годы, мы, русские, этого ничего не замечали. Интерес ко всему латышскому у меня появился в школе. У мамы он ограничился чтением популярных в Латвии писателей, особенно Вилиса Лациса и Анны Саксе, а у папы так никогда и не возник. Позже моя одноклассница, латышка Велта Страздынь, как-то сказала: «У латышей в ходу анекдот-присказка: жили-были в Риге русские, евреи, латыши». К слову надо заметить, что, кроме советских, в Риге было много так называемых «местных русских», бежавших из России и поселившихся здесь ещё после революции 1917 года. В букинистических книжных и нотных магазинах — любимых магазинах моей мамы — можно было купить книги и ноты на русском языке, изданные в буржуазной Латвии до войны. Все те годы, что прожили в Риге, мы с мамой ни разу не почувствовали хотя бы малейшего проявления неприязни по отношению к себе со стороны латышей. Это удивительно и может показаться странным и объясняться в первую очередь тем, что враждебно настроенные латыши в те годы, наверное, жили за пределами Риги. Наша же жизнь вращалась лишь в рижском круге и на Взморье. К стыду своему должна признаться, что настоящей Латвии, за пределами Риги, мы не знали. А вот евреев латыши не любили, я знаю это точно, так как среди моих подруг и среди друзей родителей было много евреев, которым пришлось с этим столкнуться. Всё резко изменилось в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, и к этому я ещё вернусь.

Как и везде, в Риге тогда было особое отношение к военным. Нынешним российским майорам, подполковникам, полковникам, наверное, даже трудно представить себе, как много значила после войны принадлежность к старшему комсоставу. Офицеры были окружены общим искренним уважением, о каком сегодня не приходится мечтать и генералам, и которое постоянно проявлялось в разных бытовых мелочах. Например, всякий раз, когда папа в форме с орденскими планками, гвардейским значком и нашивкой за тяжелое ра-

нение шел со мной в кинотеатр, толпа у билетной кассы почтительно расступалась: «Товарищ подполковник, проходите, пожалуйста, без очереди». В те годы дети до шестнадцати лет не допускались на поздние вечерние киносеансы и фильмы, содержащие намёк на эротику. Но вместе с папой контролёры пропускали меня беспрепятственно. Не раз инспектор ГАИ останавливал нашу машину, когда я, совсем девчонка, сидела за рулём. Всё заканчивалось не более чем укоризненным замечанием: «Товарищ подполковник, ну что же вы! Ведь она совсем ребёнок! В населённом пункте вы уж, пожалуйста, сядьте за руль сами». Что и говорить, это было приятно.

Штаб Прибалтийского военного округа, в котором теперь служил папа, находился в самом центре Риги — на улице Кирова, а через несколько домов от штаба был дом, в котором мы получили квартиру. Это была типичная буржуазная квартира из шести комнат, с просторной широкой прихожей, налево от которой располагались две большие комнаты, которые мы и заняли, а направо коридор, ведущий к трём комнатам, где жили генерал Чернов и его молодая жена Раиса. Далее шла большая кухня с дровяной плитой, к которой примыкала комната для прислуги. В ней обитал папин ординарец Вася. Из кухни вела дверь на «чёрный ход». В основном в доме жили семьи советских офицеров, латышей не помню. Вообще весь центр Риги, самые фешенебельные её районы были заселены или русскими, или латышской номенклатурой.

Мы прожили в этом доме три года. В памяти остались детские игры во дворе, частые приезды гостей, главным образом, папиных боевых товарищей, застолья с обязательным исполнением песен военных лет, мой лучший друг — ординарец Вася и моя лучшая подруга — красавица Рая, жена соседа-генерала. Васю мы считали членом семьи, и он в свою очередь искренне и по-настоящему был к нам привязан. Он был и водителем, и моей нянькой, и маминым помощником по хозяйству. Носил дрова, растапливал печи, привозил продукты, мыл окна. Со мной он играл в азартные подвижные игры, кружил меня по комнате, подбрасывал на руках под потолок. Я визжала от восторга. У папы был трофейный «Опель-Кадет», и Вася иногда подолгу возился с ним, а я крутилась рядом и старалась ему хоть чем-нибудь помочь. Потом службу ординарцев ликвидировали. Вася демобилизовался и уехал к себе на родину, кажется, в какую-то деревню на Украине. Расставаясь с ним, я рыдала в голос, а он, успокаивая меня, пошутил:

— Подрости, сорванец, и я приеду и женюсь на тебе.

— Обещаешь? — строго спросила я его, а он весело засмеялся в ответ и кивнул головой.

Наша соседка, Рая Чернова, очень быстро стала маминой близкой подругой. Это была самая красивая женщина из всех, каких только я встречала в своей жизни. Передать словами её безупречную красоту невозможно, сравнить не с кем, разве только с героиней очень популярного тогда фильма «Большой вальс». Высокая, стройная блондинка с роскошными волосами, с тонкими правильными чертами лица, обворожительной улыбкой, своеобразным томным прищуром глаз, низким грудным голосом. Её необыкновенную красоту признавали все, вот только видели немногие. Она жила затворницей. Генерал Чернов был намного старше её. Высокий и прямой, как жердь, с грубыми чертами всегда мрачного лица, замкнутый и нелюдимый, угрюмый и неразговорчивый, он производил неприятное впечатление. Его побаивались все в доме, а мне он представлялся каким-то Кашеем или Синей Бородой. Он страдал патологической ревностью и не разрешал своей жене бывать на людях. Но запретить общаться с соседями не мог. А мои родители жили открыто, широко и весело. Дом почти все время был полон гостей. Мама играла на рояле, а Рая прекрасно пела, и вместе они часто устраивали концерты.

Генерала и Раю свела война. Каким-то образом он оказался её спасителем, и в благодарность она, не любя, стала его женой. По какой-то причине она не могла иметь детей, а потому была очень одинока. Меня она полюбила и часто затягивала в свою уютную спальню. Мы с ней валялись и кувыркались на перинах среди пышных подушек, обнимались и целовались. Иногда она, крепко прижав меня к себе и пытливо всматриваясь в глаза, спрашивала горячим шёпотом: «Талочка, когда я умру, ты будешь обо мне вспоминать?» Мне становилось страшно, и я начинала плакать, а она, горячо целуя меня, истерично смеялась и успокаивала: «Да пошутила я, не бойся». Но она не шутила. Позднее мама, с которой мы часто вспоминали любимую нами Раечку, рассказала мне, что цыганка предсказала Рае страшную болезнь и раннюю смерть. Болезнь, действительно, пришла. Внезапно у Раи начались эпилептические припадки. После этого она стала жить ожиданием смерти. Скоро нам пришлось расстаться. Чернова перевели по службе в Даугавпилс, а мы переехали на новую квартиру. Впоследствии Раечка оставила Чернова, встретила и полюбила другого человека, была с ним счастлива, о чём написала маме, но неожиданно для всех скоро умерла, ещё совсем молодой.

Наша новая квартира располагалась неподалёку, на улице Стрелниеку, в красивом темно-сером доме с респектабельным парадным входом, широкой лестничной клеткой, освещаемой большими окнами в виде витражей из цветного стекла. Интриговал большой неработающий лифт. Квартира была огромная, с высокими потолками, паркетными полами и состояла из двух частей. Вместо прихожей — огромный холл, из него вели двери в небольшую комнату направо (там сделали мне детскую) и налево — в две смежные комнаты: «залу» с камином, лепным потолком и тремя широкими окнами, и спальню. К ним примыкали ванная и туалет. Далее прихожая переходила в коридор, и это была вторая часть квартиры, состоящая из четырех комнат, которые занимала семья военного лётчика, командира полка, полковника Григорьянца. Коридор упирался одним концом во вторую ванную и туалет, а другим заворачивал на общую кухню, рядом с которой находилась комната для прислуги. Отопление тогда было печное, в нашей «зале» почти посередине стояла печка-буржуйка, камин мы не топили. Готовили тоже на дровяной плите, позднее на керосинках, ещё позднее на электрических плитках. Во дворах у каждой квартиры был свой дровяной сарайчик. Полностью газифицировали Ригу только к середине пятидесятих годов. У каждого дома был дворник, как правило, немолодой мужчина, чаще из местных русских. По праздникам он обходил квартиры и, сдёргивая головной убор, кланяясь, с заискивающей улыбкой обращался к хозяйке: «Мадам, с дорогим праздником вас! Будьте любезны!» Мама всегда совала им неплохие чаевые, и дворники носили нам дрова и оказывали другие мелкие услуги.

* * *

Когда я начала ходить в школу и посещать своих одноклассниц, а большинство из них были детьми офицеров, то увидела, что почти все они занимали аналогичные жилища. Откуда в Риге, в самом её фешенебельном центре, было столько свободного жилья? Кто был прежними хозяевами этих роскошных квартир? Ответ, в общем-то, очевиден. Одни из тех, кто жил здесь раньше, бежали вместе с отступающей немецкой армией в страхе перед большевиками, другие были репрессированы как буржуазные националисты и враги народа. Ригу, как теперь говорят, «зачищали» ещё долго, и я это помню. Существовали специальные ларьки и небольшие магазинчики, в которых распродавали «конфискат». Обычно они были закрыты. Но в какие-то дни вдруг открывались, и туда толпами устремлялись поку-

патели, приобретая по дешёвке и мебель, и посуду, и постельное бельё. Ведь время послевоенное и достать любой ширпотреб сложно, а нужно было обустраиваться на новом месте. К чести моих родителей они этой распродажей никогда не пользовались, и обстановка в наших роскошных апартаментах была, прямо скажем, убогая. Помню, мама однажды пришла в комнату из кухни, села и заплакала.

— Как можно? Как можно? — сквозь слёзы восклицала она.

— Что случилось? — стала я её расспрашивать.

— Григорьянцы купили хрустальные бокалы, — ответила она.

— Ну и что? — не поняла я.

— В них на дне вино даже не успело засохнуть.

— Какое вино? — не поняла я тогда.

— Ах, Талочка, ты ещё маленькая, чтобы об этом думать, — и мама прекратила разговор.

Помню и другие факты. У моих родителей появились новые знакомые — Виктор и Ксения Бронниковы, а у меня новая подруга — их дочка Римма, старше меня года на два. Они были тоже родом из Куйбышева и со временем стали лучшими друзьями нашей семьи. Познакомились через каких-то общих самарских приятелей. Встречи с земляками на чужой стороне всегда притягательны и начинают приобретать порой родственный характер. Так произошло и в этом случае. Виктор Бронников служил каким-то начальником среднего звена в МГБ. Это был крепкий, интересный мужчина с приятными, даже красивыми чертами лица, жизнерадостный, остроумный, начитанный человек. Прекрасный рассказчик, душа любой компании. Ко всему прочему у него был сильный, хорошо поставленный баритон, и с моей мамой они быстро спелись в прямом смысле этого слова. Его жена Ксения, пожалуй, являлась самой умной женщиной в окружении моих родителей. Конструктор по образованию, она, единственная среди остальных, работала по специальности, была серьёзна и немногословна, но очень добросердечна. Она много внимания уделяла воспитанию и образованию своей дочки Риммы, и та действительно была незаурядной девочкой, которой я старалась во всём подражать, чувствуя её превосходство. Римма была рассудительна, училась играть на скрипке и фортепиано, мечтала стать балериной и выразительно и пластично танцевала соло, пела, рисовала, вышивала. Ко мне она сначала относилась свысока, и, прямо скажем, было за что. Если Римма была девочкой интеллигентной, домашней, то я была настоящим дворовым сорванцом. Играть в войну, лазить по подвалам и чердакам, бегать по проходным дворам среди шумной ватаги мальчишек —

вот что мне нравилось. Я терпеть не могла игрушек, не любила кукол, но обожала играть в карты со взрослыми наравне. Мама часто, глядя на меня, качала головой и говорила: «Тебе надо было родиться мальчишкой!» Наверное, недаром мой знак Зодиака — Стрелец. Но при этом я была пытлива и любопытна, обладала цепкой наблюдательностью и прекрасной памятью и схватывала всё на лету. Читать самостоятельно я начала с четырех лет и ещё до школы прочитала не только все сказки, но и Марка Твена, и Жюль Верна, и Пушкина, и Бажова, и много ещё тех книг, которые до сих пор с удовольствием читают дети, а кроме того и многие из тех, про которые взрослые говорят: «Их тебе ещё рано читать». Римма это оценила, и скоро мы подружились. Мама была очень довольна. Благодаря общению с Риммой я пристрастилась к рукоделию, танцам, заявила, что хочу играть на рояле, и мама тут же нашла мне домашнюю учительницу музыки, а рояль у нас, к счастью, имелся. В свое время по настоянию Раисы его раздобыл где-то Чернов и торжественно подарил маме.

Бронниковы так же, как и мои родители, любили собирать у себя гостей. Среди них, разумеется, бывали и сослуживцы Виктора, и порой за накрытым столом возникали разговоры, связанные с их работой, а слушать разговоры взрослых было любимым моим занятием. Сам Виктор не был оперативным работником, а вот его приятель Илья Машонкин занимался «лесными братьями». Кажется, тогда он был в звании майора — самый молодой, весёлый и простоватый из всех остальных. У них с женой Ниной было двое сыновей — Вовик и Сержик.

Обычно поначалу дети сидели за столом вместе со взрослыми, потом Ксения или мама предлагали нам выступить перед ними, остальные бурно их поддерживали и, аплодируя, громко кричали: «Просим!», и тогда, вдохновленные их настойчивостью, мы по очереди демонстрировали свои таланты. Мы с Риммой, подражая балеринам, старательно выделяли всевозможные танцевальные па, Римма играла на скрипке, я пыталась что-то исполнить на пианино, Вовик и Сержик читали стихи. Затем мы покидали гостиную и шли в детскую, занимаясь там разными играми. Взрослые какое-то время ещё сидели за столом, о чём-то беседуя, затем начинали танцевать под патефон, а потом обязательно в исполнении Виктора под мамин аккомпанемент звучали русские и цыганские романсы: «Отцвели уж давно...», «Очи чёрные», «Ах, не любил он...», песни Вертинского и Оскара Строка — те песни и романсы, которые тогда называли «белогвардейщиной» и которые никогда не исполнялись публично на концертах или по радио, где звучали оперные арии, на-

родные песни, чаще всего в исполнении Руслановой, песни Дунаевского, царствовали Утесов и Шульженко. Но мама с трепетом выискивала эти романсы в букинистических кипах нотного магазина на улице Кришьяна Барона и дома долго разбирала и разучивала их.

В один из таких вечеров, когда Римма с Вовиком уселись играть в шахматы, мы с Сержиком прокрались в гостиную и незаметно заползли под стол, невидимые под прикрытием длинной скатерти. Взрослые увлечённо слушали Машонкина. Он рассказывал о том, как был внедрён в отряд «лесных братьев» (банду, как тогда их называли) специальный агент, как по его наводке энкаведешники окружили их лагерь, как из засады наблюдали за ними и как по условному сигналу (агент бросил папиросу и растёр её ногой, после чего сам упал на землю) выскочили из зарослей, напали и захватили «братьев».

Дальше разговор развивался примерно так.

— Хорошо, что в Риге нет диверсий.

— Стараемся. Но родственников и сочувствующих много. Пока их не выселим, порядка не навести. И кто-то их информирует. Недавно проводили большую операцию, приходим среди ночи за ними на квартиры, а они уже все готовы, одеты, ждут и сидят на чемоданах.

— Но не все же виноваты...

— Ну, это уж у нас как обычно: лес рубят — щепки летят... Да и потом все они немецкие прихвостни...

В конце девяностых, когда Латвия была уже независимым государством, когда уже не было в живых мамы с папой, я случайно, готовя обед на кухне, услышала по радио:

— В Латвии арестован бывший сотрудник органов безопасности Илья Фёдорович Машонкин. Ему предъявлено обвинение в геноциде латышского народа в конце сороковых годов.

От потрясения я застыла. Вот она, расплата! Но неужели его личная вина так велика?! Этот человек был просто пешкой в мясорубке истории, и скольких она перелопатила... Я вспоминала этого высокого, худощавого, очень смешливого мужчину, который возил нас, детей, на себе верхом, раскачивал до небес качели и увлечённо играл с нами в прятки и в мяч летом на даче, вспоминала, как однажды почти месяц жила в их большой, просторной квартире на проспекте Ленина, когда папа с мамой уехали в санаторий в Кисловодск. Он любил по вечерам, после работы, играть с нами в карты и лото и делал это весело и азартно.

Все последующие дни я внимательно следила за новостями, но больше не услышала о судьбе Машонкина ни разу.

Когда мы уже поздно ночью возвращались от Бронниковых, направляясь по пустынным улицам Риги домой и, как всегда, шагая по середине мостовой и бдительно косясь на подворотни, родители мои долго молчали. Потом папа мрачно сказал:

— Провели операцию, выкинули людей в Сибирь, распределили между собой ключи от их квартир, вошли и стали жить. Интересно, а постельное бельё хоть постирали?

Мама подавленно молчала, а потом, зябко передёрнув плечами, заметила:

— Но и мы ведь тоже...

— Не тоже, — резко возразил папа, — мы пришли сюда, потому что война так распорядилась, но земля эта для нас чужая, и пусть они на ней живут как хотят, а нам домой надо возвращаться.

— Нет уж, — решительно заявила мама, — я отсюда уезжать не хочу, и ты должен сделать всё от тебя зависящее, чтобы тебя не перевели служить куда-нибудь в другое место

Мама даже остановилась.

— Арсений, обещай мне это.

— Муся, ты чудачка. Как я могу обещать тебе то, что от меня не зависит? Поверь мне, рано или поздно нам всё равно придётся отсюда уехать.

Мама грустно вздохнула, и мы двинулись дальше.

В центре Риги стоял и стоит до сих пор памятник Свободе. Помню, однажды Виктор рассказал, что решается вопрос о том, чтобы повернуть памятник на 180 градусов.

— Зачем? — удивилась мама.

— Вы что, никогда не обращали внимания, куда обращена скульптура? — в свою очередь удивился Виктор. — Она же смотрит на Запад, а должна смотреть на Восток, то есть на СССР!

— Делать им нечего, что ли? — пожимая плечами, прокомментировал потом папа.

Но от этой нелепой затеи в итоге все-таки отказались.

Постараюсь, насколько помню, передать самоощущение русских в Латвии в первые послевоенные годы и позже, вплоть до конца пятидесятых. Кем себя русские совершенно не ощущали, так это завоевателями. Многие верили, что в 1939 году Латвия вошла в состав СССР добровольно, для них она была просто советской республикой, освобожденной от фашистской оккупации. Да и нельзя сказать, что советские войска были встречены враждебно, скорее даже наоборот. Из всех прибалтийских республик в Латвии была наиболее развита

промышленность, существовал довольно многочисленный рабочий класс, который сочувствовал социалистическим идеям. Латышские стрелки были главной опорой большевиков в России и национальными героями рабочего класса Риги. Об этом широко известно. В Риге у них было большое количество родственников, знакомых и друзей. Во всяком случае, смею утверждать, что во второй половине сороковых годов ярко выраженных антирусских настроений в Риге не было. «Лесные братья» в Латвии влиянием не пользовались, серьезной угрозы не представляли, они были малочисленны, не агрессивны и, скорее, попросту прятались, боясь суда из-за сотрудничества с немцами, чем сопротивлялись, так что, в отличие от Литвы, с ними справились быстро и тихо. Со стороны местного населения к русским чувствовался интерес и уважение: всё-таки победить фашистскую Германию — это что-то да значило.

В той мере, в какой русские в Риге вообще задумывались над взаимоотношениями с латышами как народом, они легко находили объяснение и оправдание всей ситуации. На бытовательском уровне рассуждали примерно так: никаких прочных традиций собственной государственности в Латвии нет и не было. Страницы ее истории рассказывают лишь о смене господствовавших на этой территории других государств и народов. Латыши сильно онемечены, так как долгое время находились под немцами, которые были истинными хозяевами Латгалии и Курляндии, строили здесь свои замки, города, порты, торговые и культурные центры, а латышское население, поголовно владеющее немецким языком, их обслуживало, будучи в основной своей массе крестьянами-хуторянами. От немцев латыши заимствовали и навыки городской жизни, и высокую бытовую культуру, преимущества которой русские, конечно, ясно видели и которую с удовольствием перенимали. Но по этой же причине во время войны многие из латышей сотрудничали с фашистами, подразделения айзсаргов воевали на их стороне, а это симпатии вызывать не могло. И все же отношение к латышам было, скорее, сочувственным. Русские пользовались тем, что предоставлялось им по праву победителей, но не было с их стороны ни неприязни, ни пренебрежения, ни гонора, унижающих местное население. Считалось, что теперь латышский народ займёт свое достойное равноправное место в семье народов СССР, что для него открываются новые возможности и перспективы полноценного национального развития. Официальная пропаганда в этом пункте вполне совпадала с действительным уmonoстроением.

Поначалу советские русские жили самодостаточно и несколько отстраненно от местного населения. Но постепенно стали втягиваться в бытовую и культурную орбиту латвийской жизни.

Папа был человеком осторожным и хитроватым («чуваши — они все такие», — говорила мама), но глубоко порядочным и добрым, за что его все уважали и любили. В своей семье он не скрывал нелюбви к органам госбезопасности. Он не мог им простить раскулачивания родителей, собственный арест и допросы по выходе из окружения. Офицеры штаба выходили из окружения группами по пять человек, папа был назначен старшим в пятерке лейтенантов. И из всех вышедших к своим только члены их группы не были разжалованы и репрессированы, потому что, почти две недели пробираясь к линии фронта по немецким тылам, не сняли лейтенантские «кубики», заменявшие тогда погоны, не закопали свои партийные билеты (хотели было, но папа предусмотрительно не разрешил) и сохранили личное оружие. Их подробнейшим образом расспросили о пройденном маршруте, подсчитали время — оказалось, что все сходится, — и приказали возвращаться к своим служебным обязанностям. Остальные группы шли дольше, к тому же, боясь попасть в руки фашистов, передевались в солдатскую или гражданскую одежду, избавлялись от документов и офицерских пистолетов ТТ. Им за это от контрразведки «Смерш» досталось сполна: только что спасшихся от смерти и плена людей обвиняли в трусости и измене, избивали и куда-то увозили. Никого из них папа больше не видел.

Пострадала от органов и семья мамы. В 37-м году из-за аварии на строящемся элеваторе был арестован мой дедушка Аркадий Михайлович. Его, как инженера-строителя, обвинили во вредительстве и диверсии. Он отсидел больше года, и спас его родной брат-чекист, который позднее в Москве занял высокий пост в окружении Берии, но впоследствии сам оказался репрессированным и отсидел в лагерях ГУЛАГа до 1956 года, когда после смерти Сталина были реабилитированы политические заключенные. Выйдя на свободу, он нигде не мог найти работу, приехал к нам в Ригу, и папа, единственный из всех родственников, помог ему и с жилищем и с трудоустройством.

Но жизнь — вещь сложная, а Бронниковы при всём при том были на редкость симпатичным, интеллигентным семейством, и дружба наша с ними крепла с каждым годом. Немало способствовало этому и то, что на Рижском взморье и мы и они (пополам с Машонкиными) арендовали дачи в местечке Дзинтари, а посему летом часто встречались и много времени проводили вместе.

Конечно, послевоенная жизнь в Латвии не шла ни в какое сравнение с жизнью в остальной стране, особенно в той её части, которая была разрушена и оккупирована фашистами. Но и в Риге мы жили сначала по карточкам, питались впроголодь. Помню картошку в мундире, которую, обжигая палыцы, чистили, посыпали сверху солью и ели прямо с руки — и это было так вкусно! Помню, как иногда обедали просто хлебом с маслом, только вот хлеб был тогда намного вкуснее, чем теперь. Помню, как мама варила сахар — это было любимое лакомство, горячим она заливала его в тарелки, он застывал, а мы ножом раскалывали его на кусочки. А затем появились очень вкусные конфеты «Коровка», впервые их стали делать именно в Риге. Потом карточки отменили, полки магазинов стали наполняться новыми вкусными продуктами: глазированными сырками, докторской колбасой. Мама стала часто печь пироги, делать пельмени, беляши. Все застолья с гостями устраивались в складчину: каждый приносил своё, а в результате столы ломились от вкуснятин. Жизнь налаживалась быстро.

* * *

Как я уже сказала, лето мы проводили на даче.

Рижское взморье, Юрмала — одно из лучших дачных мест Латвии — быстро завоевало широкую известность и стало к концу пятидесятых годов модным и популярным курортом в Советском Союзе.

Но когда в 1945 году мы впервые приехали в Дзинтари, это было тихое, уютное и относительно малонаселенное местечко. Электричек тогда ещё не было, поезда ходили редко. Мы ездили туда на своём «Опель-Кадете», чаще всего вместе с Бронниковыми. До сих пор не понимаю, как мы все умещались в этой маленькой машине.

От Риги до Взморья было около 25 километров по такому узенькому шоссе, что при обгоне и разъезде со встречным автомобилем приходилось выезжать на обочину. При въезде в очередное дачное место это шоссе становилось одновременно и главной улицей. Начинались дачные места от устья широкой и красивой реки Лиелупе (первое местечко так и называлось — Лиелупе), там, где она впадала в Рижский залив, а далее тянулись узкой полосой между рекой Лиелупе и заливом на протяжении примерно 50 километров, затем шоссе уходило в сторону от Взморья и заканчивалось у сероводородного источника Кемери. Центральной частью Взморья считались Дзинтари и Майори. Здесь были рестораны, кафе, магазины, кинотеатр, рынок, парикмахерские, парки и скверы, почта и поликлиника.

Достопримечательностью Дзинтари был самый роскошный и модный в то время ресторан «Лидо». Мои родители вместе с Бронниковыми часто там бывали. По возвращении мама с восторгом рассказывала мне, каких знаменитостей довелось им увидеть: маршала Рокоссовского, поэта Константина Симонова с женой — одной из самых популярных актрис советского кино Валентиной Серовой, эстрадную пару Миронову и Менакера и многих других. Она и спустя многие годы с упоением вспоминала о том, как расходились музыканты с эстрады перед закрытием ресторана, а публика не хотела уходить, и тогда на эстраду поднимались мама и Виктор Бронников. Он пел, она аккомпанировала, и зал был в восторге. Уставшие официанты-латыши, не решаясь напомнить распевавшемуся чекисту, что ресторан давно пора закрывать, робко топтались у эстрады, и эти импровизированные концерты иногда продолжались до утра. Ну что ж, право победителей...

Впоследствии в самых больших и красивых дачах и коттеджах разместились многочисленные санатории и дома отдыха для трудящихся.

Наша дача находилась на улице Александра, в 15 минутах ходьбы от пляжа. Это был просторный одноэтажный дом из пяти комнат, с большой верандой, коридором, кухней и множеством чуланчиков. В ней было два входа: через веранду и с задней стороны дома через кухню. Веранды была остеклена цветными стёклами, а окна на ночь закрывались ставнями. Довольно большой участок, не меньше 15 соток, на котором росли сосны и красиво цветущие кустарники (особенно запомнился жасмин) — и ни одной грядки. Позднее папа (мама терпеть не могла возиться с землёй) разбил у веранды небольшой цветник. Были качели, гамак, огромный белый деревянный стол с такой же белой садовой скамьёй. С сосны на сосну прыгали белки. Для нашей маленькой семьи дача была великовата, поэтому мои родители часто приглашали пожить у нас своих знакомых и друзей. Из родственников у нас неоднократно гостила мамина сестра Галя. Она была миниатюрной миловидной брюнеткой, совсем не похожей на маму, разве что смеялась так же звонко и так же красиво закинув голову. В одну из поездок из Куйбышева в Ригу она в поезде познакомилась с москвичом Николаем Кузьминым. А на обратном пути домой встретила с ним в Москве, и они поженились. Их скоропальный брак оказался счастливым и долгим. На следующее лето они приехали к нам вдвоем. Николай нам понравился. Это был весёлый и лёгкий в общении человек — несмотря на молодость, полковник, но уже в отставке. Со школьной скамьи он добровольцем ушел на

Финскую войну, прошёл всю Отечественную, имел за храбрость много наград, по окончании войны демобилизовался, поступил в МГУ на исторический факультет и на момент нашего знакомства учился в аспирантуре. Всё это вызвало у моих родителей уважение, и они сердечно принимали «молодых». Николай Кузьмин впоследствии избрал партийную карьеру, быстро стал доктором наук, написал несколько официозных книг по военной истории, при Брежневе занимал пост первого заместителя начальника отдела науки ЦК КПСС. И он уже стал совсем другим человеком. Но к этому я, может быть, ещё вернусь.

В Дзинтари тоже, как и в Риге, было много немецких военнопленных. Что они там строили или восстанавливали, не знаю, но встречались часто, небольшими группами. Однажды они устроили переполох на все Взморье. На дачах, как правило, постоянно летом жили только женщины и дети. Мужчины в основном приезжали на воскресенье (суббота была тогда рабочим днём). Папа же приезжал на машине каждый вечер. Но однажды вечером не приехал никто, по какой-то причине всем было приказано не покидать место службы в Риге. Таким образом, мужчин в эту ночь на дачах военнослужащих не было. Когда мы с мамой поняли, что папа не придет, она тщательно заперла двери и в большой проходной комнате, в центре которой стоял круглый стол со стульями, на спинку одного из стульев демонстративно повесила папин китель с погонами. «Если залезут, увидят китель, дальше не пойдут», — сказала она мне. Из этой комнаты направо вела дверь в две маленькие смежные комнаты. В первой, слева от двери у стены стояла моя детская кроватка, а во второй была спальня родителей. У мамы всегда был очень чуткий сон. Она проснулась среди ночи от каких-то звуков и поняла, что кто-то пытается открыть дверь на веранду. Затем послышался звон разбитого стекла, шаги на веранде и в доме. Шаги приближались, остановились в большой комнате, а потом мама через открытую из спальни ко мне дверь увидела сначала луч фонарика, а потом высокую мужскую фигуру, которая склонилась над моей кроваткой. Материнский инстинкт помог ей преодолеть оцепенение ужаса, и она, стараясь как можно басовитее, громко кашлянула несколько раз. Мужчина распрямился, неторопливо повернулся и вышел из комнаты. Какое-то время он ещё походил по даче, мама слышала, как он открывал дверцы буфета, а затем наступила тишина. Выждав немного, мама открыла ставни, распахнула окно и стала звать людей на помощь. Посетитель не взял ни одной вещи, кроме небольшого количества продуктов. Днем выяснилось, что на дачи военнослужащих этой ночью в Динтари и

Майори был совершён массовый набег, в одно и то же время и по одному сценарию. Никто не пострадал, ничего не было украдено, кроме продуктов. Нагрянули незваные гости и на дачу Бронниковых с Машонкиными, где Римма, Вовик и Сержик жили с бабушкой. Ночными посетителями оказались немецкие военнопленные. Кто-то проинформировал их о том, что в эту ночь мужчин на дачах не будет, и они решили таким образом пополнить продовольствие.

Последний раз в Дзинтари я была в конце шестидесятых. Мы с мужем совершали автомобильное турне по Прибалтике и несколько дней погостили на даче у моей бывшей одноклассницы Тани Яссон. Изменения были столь разительны, что некоторые места своего детства я узнавала с трудом. Юрмала стала суетным, многолюдным, шумным, благоустроенным курортом, ещё не Сочи, но что-то вроде, только с претензиями на европейский стиль, а такие места я категорически не люблю.

Тогда же, в конце сороковых годов, мы с папой среди сосен на пляже в конце июня собирали маслята, прогуливаясь вдоль кромки воды, искали и часто находили янтарь, а по пути с пляжа домой, наискосок от ресторана «Лидо», в лесопарке обирали кустики с черникой. По утрам разъезжали молочницы на велосипедах и развозили парное молоко. Они будили нас криками: «У-у!» Это «у-у!» было чисто латышским зовом для привлечения внимания на расстоянии. Дешёвый рынок ломился от обилия клубники, вишни, зелени и молочных продуктов. Днём по улицам модницы разгуливали в длинных ярких на восточный лад халатах, на головах косынки в виде тюрбанов а-ля фрау. Мода и тогда диктовала свои законы, в большой цене были латышские портнихи. Мама придавала внешности большое значение. Она не только себя, но и меня обшивала у портних.

Квартира, дача, машина, модная одежда... Может показаться, что мы жили богато. Но это не так. Квартира была коммунальной и предоставлялась государством, дача тоже не принадлежала нам, а арендовалась в Дачном тресте, машина была трофейной, а одежду тогда меняли не часто, носили по многу лет, и мода менялась не так быстро, как сейчас. Мы жили не только от зарплаты до зарплаты, но и часто брали в долг. Конечно, папа получал относительно неплохой оклад, но мама никогда не отличалась бережливостью, была по-барски расточительна и щедра. У нас практически не было мебели, не хватало постельного белья, посуды. Однако моих родителей это не заботило, они жили сегодняшним днем, и не в силу характера, а в силу жизненных обстоятельств. Они прошли через войну, знали цену

человеческой жизни, цену трагедий и цену радости бытия. И эта радость заключалась не в вещах и обустроенном быте. К тому же, вплоть до начала пятидесятых годов, все жили в ожидании новой войны — с американцами. В том, что эта война неизбежна, никто не сомневался. На смену фильму «Встреча на Эльбе» о дружбе с американцами появился другой — «Русский вопрос», а также роман Шпанова «Поджигатели» и серии шпионских романов уже о новых врагах. Захлопнулся «железный занавес».

Кроме «Опель-Кадета» у нас был ещё один трофей в доме — маленький, очень изящный, чёрный радиоприёмник «Телефункен». После работы, в определенное время по вечерам, папа, прикинув к нему ухом, сквозь треск и помехи «глушилок» слушал «вражеские голоса». И я вместе с ним. Может показаться странным, что девочка 6–7 лет интересовалась политикой. Тем не менее это так. Я с огромным увлечением обсуждала с папой все политические события, и самое удивительное, что папа разговаривал со мной на эти темы очень серьёзно, рассудительно и спокойно, разъясняя то, чего я не понимала. Мама ругала его за это:

— Она же ещё ребёнок, проболтается где-нибудь...

А он, глядя меня по голове своей большой тяжёлой рукой, уверенно говорил:

— Не проболтается, она умная, всё понимает.

Разумеется, никаких открыто антисоветских высказываний в этих разговорах он не допускал, но было одно, самое главное — отсутствие огульной, примитивной вражды или ненависти к противникам Советского Союза, безоглядного осуждения и неприятия их позиции. И когда в детской запальчивости я гневно восклицала: «Какие же они противные!», папа говорил, многозначительно поднимая указательный палец:

— Всё непросто и не совсем так.

И я тогда понимала, что он умалчивает о чем-то очень важном.

Папа терпеть не мог политработников, презрительно называл их «болтунами» и «демагогами», не любил любую идеологическую пропаганду, предпочитая во всем опираться на факты и руководствоваться здравым смыслом.

В 1949 году снова начались репрессии. Помню, папа пришёл с работы растерянный.

— От страха уже совсем голову потеряли, — начал он рассказывать маме. — Сегодня приехали эти с синими околышами, прошли в штаб мимо часового как мимо пустого места, он только вытянулся и

честь им отдал. Вывели замначштаба с руками за спиной, посадили в виллис и уехали. Потом спохватились, что они никаких документов даже не предъявили. Кто увёз, куда — неизвестно. И узнавать бояться. Могли быть и переодетые «лесные братья». Вот дожили!

Чуть позже ночью забрали нашего соседа — лётчика-героя Григорьянца. Папу тоже вызывали на допрос. Интересовались разговорами, которые вёл Григорьянец, особенно расспрашивали, какие анекдоты он рассказывал. Папа твердо стоял на том, что ничего предосудительного от него никогда не слышал. За Григорьянца мы очень переживали, так как были уверены, что он ни в чём не виноват. У них была большая дружная семья. Жена — русская, сердечная, весёлая женщина, прекрасная кулинарка, и трое замечательных детей. Старшая Неля, красивая скромная девушка, заканчивала десятый класс, шла на золотую медаль, днём и ночью сидела за уроками. Гриша учился в седьмом классе, увлекался радиотехникой, постоянно что-то мастерил на своем столе, заваленном радиолампами и проводами. Я была в него тайно влюблена. А очаровательный пятилетний белокурый Мишка был младшим участником всех моих забав по квартире. Я всегда любила малышей, опекала их и придумывала для них разные ролевые игры.

Люди снова стали осторожны, замкнуты и напуганы.

Когда в 1953 году начался процесс против врачей-евреев, папа, у которого было много знакомых евреев по службе в армии, задумчиво обронил:

— Евреи хорошо и храбро воевали...

Как сейчас помню утро, когда по радио объявили о смерти Сталина. Мы с мамой ударились в слёзы, я никак не могла успокоиться, и мама повела меня в ванную и стала умывать холодной водой.

— Как же мы будем теперь жить? — спрашивала я, всхлипывая, и мама вторила мне:

— Что же теперь будет?

Дверь в ванную отворилась, просунулась голова папы, и он звенящим шёпотом заявил:

— Дуры! Теперь, наконец, жить будем по-человечески!

Я онемела.

* * *

В сентябре 1949 года я поступила в первый класс средней школы № 10, которая находилась в двух кварталах от дома. Школы тогда были поделены на мужские и женские. Хорошо это или плохо? На-

верное, однозначного ответа дать нельзя. Но, с моей точки зрения, определённое рациональное зерно в раздельном обучении было. С одной стороны, изолированность от мужского влияния формировала женскую самоориентацию, осознание и выявление качеств собственного пола, его природной сути, лепила цельный женский характер, способствовала особому выстраиванию отношений с другим полом. Никакой распушенности, фамильярности, запанибратства. Женственность, скромность, стыдливость и внутренняя целомудренность даже сегодня остаются в большой цене у настоящих мужчин.

С другой стороны, раздельное пребывание в школе воспитывало и развивало чувство собственного достоинства и равноправия. Ведь вся внутренняя жизнь школы строилась самым женским сообществом, где были свои лидеры и таланты, и они развивались по-женски независимо и без оглядки на мужское восприятие и мужскую оценку. Женское начало в женской школе в полной мере могло реализовать собственные возможности.

Обязательным являлось семилетнее образование, после которого многие в 14–15 лет уходили или работать, или продолжать специальное образование в многочисленных различных техникумах. Впоследствии, если у них появлялось желание, они могли поступить в вечерние школы и получить в них без отрыва от работы десятилетнее образование, необходимое для поступления в вуз.

В конце каждого учебного года проводились экзамены. Неудачные оставались на второй год. По окончании начальной школы (четыре года обучения) многих неуспевающих мальчиков переводили в ремесленные училища, где они обучались рабочим профессиям и находились на полном государственном обеспечении. Очень хорошо помню колонны детишек-ремесленников, одетых в чёрную, типа военной, форму, шагающих по мостовым города в сопровождении старших. Было много суворовцев и нахимовцев, их ряды также пополнялись школьниками. Эти училища считались довольно престижными, и двоечников в них не принимали.

Слово «престиж» в речевом обороте тех лет отсутствовало. Было слово «авторитет», которое сегодня мы употребляем всё реже и в основном говоря об уголовниках. Авторитет и престиж. Вроде синонимы. Но вытеснение из языка какого-либо слова его синонимом всегда происходит неспроста. Чтобы стать авторитетным, требуется многое из личностных достоинств: интеллект, профессионализм, знания, опыт, сила характера, талант, нравственные основы. Для престижа личные качества не играют роли, важна внешняя оболочка,

«раскрученный» ярлык, под которым может скрываться полное ничтожество. Завоевать авторитет тяжело. Стать престижным несложно.

В те годы, о которых я пишу, школа и учителя в обществе пользовались непререкаемым авторитетом. Родители в школе были практически бесправны и никак не могли оказывать на неё воздействие или тем более давление. Достаточно сказать, что в моей школе учились дети очень влиятельных людей: дочка Председателя Президиума Латвийской ССР Калнберзина, в одном классе со мной училась Мила Задорнова — дочь известного тогда писателя, лауреата Сталинской премии и сестра широко известного сегодня сатирика Михаила Задорнова. У моей близкой подруги Велты Страздынь отец был министром просвещения. Тем не менее их никогда не выделяли из общей массы учениц. Велта и Мила еле-еле успевали на тройки — никаких поблажек ни в чём им не делали. Да и вообще, кем являются твои родители, мало кого интересовало, особенно в детской среде. Важно было другое — что *ты* из себя представляешь. Свой авторитет каждый ребёнок создавал в школе сам. И на первом месте в шкале ценностей стояли хорошая учёба и чувство товарищества. Отличники, как правило, несли «общественную нагрузку» — помогали отстающим, занимались с ними дополнительно, делали вместе домашние задания. Происходило это по обоюдному выбору и согласию и часто, помимо пользы, приносило и большое удовлетворение от совместного труда. Помню переживания за своих подопечных, общую радость от успешного ответа у доски и хороших оценок. И никаких подсказок, шпаргалок, списывания. А если кто-то, очень редко, позволял себе это, он терял общее уважение.

Обязательным было ношение школьной формы. Коричневое с юбкой в складку шерстяное платье со стоячим сменным белым воротничком, чёрный, а по праздникам белый, передник с кармашками. Многие учителя-женщины поверх одежды надевали рабочие синие халатики, причём на молодых и стройных они смотрелись изящно и привлекательно. Выходя к доске для ответа, мы раскрывали на нужной странице свои дневники и, делая книксен, клали его на учительский стол. Ответив и получив в дневнике оценку, благодарили, снова делали книксен и возвращались на место. За нашими манерами и осанкой следили строго. Большое внимание уделялось устной речи. Учителя по всем предметам считали нужным учить нас правильно строить ответ и поправляли при ошибках. Писали мы чернилами и перьевыми ручками, это было трудно, чернила часто пачкали руки, в тетрадах появлялись кляксы и брызги. Чтобы писать чисто, аккурат-

но и каллиграфически, нужна была большая сосредоточенность, но зато большинство имело если не красивый, то разборчивый почерк и привычку вдумчивого отношения к письменной работе.

Школа была авторитарной. Учителя держали учеников от себя на дистанции, нас никогда не называли по именам, а только по фамилии, с 5-го класса многие обращались к нам на «вы». Большинство из них были властными, строгими и требовательными, редко улыбались и шутили, скорее, язвили, но нам не приходило в голову на них обижаться. Мы их побаивались, но уважали, понимая, что их требования и замечания справедливы. Родители школе доверяли безоговорочно, а если имели своё особое мнение по каким-то вопросам, то держали его при себе, хотя бы потому, что они твердо знали: в школе плохому не научат, а изъяны... ну что ж, они есть везде.

Конечно же, школа была идеологически советизированной. Именно она, в гораздо большей мере, чем семья, несла ответственность за «воспитание подрастающего поколения в духе социализма». В чем это выражалось? Как это осуществлялось на практике? Если отбросить всю многовекторность идеологической обработки и выделить её основное ядро, то можно сказать, что она сводилась как к общественному совершенствованию каждой отдельной личности, так и к личному самосовершенствованию. С этой целью нам предлагались идолы для поклонения — вожди, беззаветно и бескорыстно отдающие всю свою жизнь служению народу и победоносно ведущие страну к социализму, и конкретные образцы для подражания в лице самоотверженных героев революции, войны и труда. Эти образцы были идеальными. Они мало чем отличались от церковных святых, только жили и действовали не во имя Бога, а во имя Человека, такого, который сможет, наконец, осуществить мечту о справедливом устройстве мира. Моральный кодекс строителя коммунизма в качестве канонического государственного документа появился много позже, кажется, в шестидесятых годах, когда обветшали, а затем и совсем рухнули эти идеалы, и ничего, кроме иронии и насмешек, этот декларативный манифест не вызвал в обществе. Социалистические идеалы превратились в формальные догматы. Ложь и ханжество власти привели к цинизму и неверию в обществе. Но в сороковые-пятидесятые годы настроения были иными.

Во втором классе лучших из нас принимали в пионеры. Это потом стали принимать детей всех сплошь и подряд. Тогда же отношение к пионерской организации было серьезное и уважительное. Пионером мог стать только тот, кто имел оценки 4 и 5 по успевае-

мости, поведению и прилежанию. Позднее, в 14 лет, так же строго производился отбор в комсомол.

Все годы учебы в школе я была круглой отличницей. Учиться мне было интересно и легко. И если с моим поведением у учителей возникали проблемы, то мне всё прощалось за отличную успеваемость. Учиться плохо я просто не имела права — так с самого начала жёстко и твёрдо постановил папа. Он болезненно реагировал и очень расстраивался, если вдруг в моём дневнике появлялась четвёрка. Он очень верил в мои способности и строил в отношении меня самые разные честолюбивые планы. В любом случае, как он считал, я должна была закончить школу с золотой медалью и обязательно учиться в МГУ. И надо сказать, что в школьные годы я его не подводила. Мне всё давалось легко, со всем я успешно справлялась. Занималась в школьном драмкружке, пела в хоре, участвовала в спортивных соревнованиях по городу, была председателем совета отряда и пионервожатой в младших классах, редактором стенной газеты. При этом много читала, занималась музыкой и в 9 лет уже лихо управляла нашим «Опель-Кадетом». Папа мною гордился. Маму же волновало совсем другое. Со второго класса из-за близорукости я стала носить очки. Иногда, чуть прищурившись, она пристально оглядывала меня с ног до головы и озабоченно говорила: «Талочка, ты слишком худенькая, надо попить рыбий жир, у тебя ножки как спички, и потом, куда ты так растёшь? Ты, наверное, самая высокая в классе? У тебя слишком большой размер ноги. Тебе надо меньше читать, а то так и останешься в очках... И старайся подбирать губы, у тебя большой рот. А что делать с твоими жидкими волосиками — ума не приложу. Может, на лето остричься наголо? Говорят, помогает». Но на родительские собрания в школу она ходила с удовольствием и, вернувшись, удовлетворённо докладывала: «Ну, Талка, ты самая лучшая». В отношении моей внешности она скоро успокоилась, но мой высокий рост ещё долго оставался предметом её беспокойства: «И где ты найдёшь себе такого высокого мужа?». Мой рост уже к седьмому классу составлял 172 см, а потом вдруг я перестала расти, и такой и осталась.

* * *

Родительская любовь и внимание сделали меня счастливым ребёнком, а счастливые дети открыты, доверчивы и распахнуты. Выросшие в любви, они готовы любить всех окружающих.

С детства самым любопытным в жизни для меня были люди. В каждого человека я всматривалась с жадной, пытливающей любовью

и поэтому всегда с интересом слушала разговоры взрослых. Каждый человек творил события своей жизни по собственному умыслу, и для меня являлось загадкой, почему люди такие разные, как возникают между ними дружба и любовь, вражда и ненависть, за что одних уважают, а других презирают, почему одни счастливы, а другие нет. В реальной жизни получить ответы на свои вопросы не удавалось, но я довольно быстро поняла, где они содержатся. В книгах. С четырех лет я начала читать как одержимая. Всё, подряд, без разбору. Самозабвенно погружаясь в жизнь литературных героев, я сама становилась ими, переживала их чувства, претерпевала их жизненные перипетии и испытания, вместе с ними вырабатывая критерии добра и зла, прекрасного и безобразного, подлого и благородного. Из детей, которые слишком много времени проводят в мире художественной литературы, чаще всего вырастают идеалисты. Ведь ни одно настоящее художественное произведение, в том числе и идеологизированное (а все произведения детской советской литературы были именно таковыми), если его воспринимать непредвзято, не оказывает на человека порочного влияния. Хотя их творцы могут быть в жизни отнюдь не ангелами. В этом загадка искусства. Но тогда, в детстве, я об этом не подозревала. Писатели представлялись мне идеальными небожителями, носителями всего самого высокого и прекрасного, умного и созидательного. И во мне начала зарождаться волнующая, скорее всего, несбыточная мечта — стать писателем. К двенадцати годам эта мечта оформилась как цель жизни, с незначительной поправкой — сначала надо поработать журналистом, это ведь тоже так увлекательно и благородно! Психологический интерес к окружающим меня людям, в первую очередь, к своим одноклассникам, стал осознанным, деятельным и всеядным. Я начала вести дневник, занялась самовоспитанием, которое сводилось не только к самозапретам на плохие поступки, но и к стремлению стать первой и лучшей во всём. «Ты, Талка, лучше всех!» Постепенно я так привыкла к этой мысли, что перестала в этом сомневаться, тем более что в классе была общепризнанным лидером. Ко мне тянулись, со мной хотели общаться и дружить. Я была заводилой, инициатором и самым активным участником всех игр, дел и мероприятий. В классе было более сорока девочек, многих из них я помню плохо, а кого-то не помню совсем. Разумеется, ни о каком дружном коллективе говорить не приходилось, слишком мы все были разные. Велта Стразынь — дочь министра, Мила Задорнова — дочь писателя, Таня Тихвинская — дочь депутата Верховного Совета, многие, как и я, дети офицеров. Но были и дети дворничихи, сапожника,

были сироты, у которых родители погибли на войне. Одни жили в роскошных квартирах, другие ютились в сырых подвалах. Но не эти обстоятельства разделили класс на отдельные группы и группки. Я уже упоминала о том, насколько для нас не имело никакого значения ни происхождение, ни положение родителей, ни материальное благосостояние. Тесное общение и дружба возникали в общности интересов, психологической близости и совместимости.

Как я сейчас понимаю, моя тяга к людям проистекала из-за отсутствия собственной самодостаточности. Меня всегда привлекало в них то, чего я не ощущала в себе самой. Любая личностная новизна, самобытность и экзотичность вызывали жгучий интерес: внешность не такая, как у меня; среда не та, в которой пребываю я; свойства характера, которых нет во мне; интересы и увлечения, о которых я не подозревала; жизненные принципы и мнения, которых я не знала. При знакомстве мое восприятие каждого человека долгие годы происходило по оптимистическому послы: этот человек должен нести в себе что-то для меня новое, умное, интересное. Когда мои надежды и увлечения оправдывались, я с благодарным чувством стремилась к дружеским отношениям, чтобы научиться тому, чего ещё не знаю и не умею, приобрести то, чего во мне нет. Происходило это всё, конечно, интуитивно и в то же время осознанно. Позднее какие-то увлечения сменялись горьким разочарованием или спокойным равнодушием, иногда неприятием, какие-то перерастали в длительные симпатии, или стойкую любовь, или дружбу. Я жадно вбирала в себя чужое своеобразие и часто ловила себя на том, что веду себя то как один, то как другой понравившийся мне человек. Но это не было пустым подражательством, это было накоплением, наполнением внутренних, поистине ненасытных резервуаров несметно многообразными жизненными проявлениями. Это было также и воспитанием ума и чувств. Всеядность способствовала развитию гибкости, восприятию и пониманию самых разных позиций и точек зрения.

Оттого что люди чувствовали с моей стороны активный интерес к себе, они были отзывчивы на дружбу. Есть многие, страдающие от отсутствия друзей и не понимающие, в чем причина их одиночества. Наделённые порой богатым внутренним миром, творческими способностями, они стараются привлечь к себе расположение, щедро демонстрируя свои возможности и таланты. Смотрите, какой я хороший, добрый, интересный, одаренный человек, оцените же меня, полюбите, дружите со мной, ведь мне это так надо! — как бы говорят они своим поведением. У таких людей

может быть много поклонников и ни одного искреннего друга, потому что они лишены таланта дружбы, которая, по-моему, помимо родства душ и общности взглядов, заключается в интригующем, искреннем человеческом увлечении друг другом, взаимном личностном обогащении и интересе. Когда этот интерес одного к другому иссякает, хотя бы с одной стороны, дружбе приходит конец, но остаются привычка взаимоотношений, привязанность, воспоминания о совместном прошлом, и это тоже жизненная ценность. Дружба, даже между мужчиной и женщиной, прочнее любви, потому что она не физиологична, а бескорыстно духовна.

В детстве и юности у меня было много друзей как среди одноклассников и однокурсников, так и среди людей другого, самого разного круга. С кем-то отношения продолжались многие годы, а с кем-то, в силу разных обстоятельств, лишь короткое время. Я вспоминаю их с теплотой, любовью и благодарностью за радость общения, взаимопонимание, разделённость мыслей и чувств и в детских играх и увлечениях, и в юношеских поисках и размышлениях, и в приобретении жизненного опыта при становлении зрелости, выработке жизненных принципов, взглядов, убеждений, эстетических вкусов и пристрастий. Не могу похвастаться тем, что среди них были люди, ставшие широко известными, «звёздными», но это отнюдь не значит, что они не стоили или не стоят внимания. С возрастом и опытом, ближе узнав многих знаменитостей, я убедилась, что публичная известность очень часто не является свидетельством каких-то особых заслуг, достоинств и талантов.

Погружаясь воспоминаниями в мир своего детства, теперь, на старости лет, я вдруг осознаю, насколько серьёзным и уважительным становится моё отношение к нему. У взрослых не должно быть никакого чувства превосходства над детьми — это мне становится всё более очевидным. Дети уступают нам только в одном — физической и духовной незащищённости.

Я не согласна с теми, кто считает, что дети — это «цветы жизни», что они чисты и невинны, а все пороки появляются позднее под воздействием внешнего взрослого мира и негативных обстоятельств. Мне кажется, что детский мир абсолютно идентичен взрослому. Как и во взрослой жизни, в нем есть все те же психологические и социально-ситуативные коллизии, мотивации поступков, проявления личностных качеств. В мире детей, как и в мире взрослых, уживаются рядом честность и ложь, благородство и низость, отвага и трусость, самопожертвование и предательство. Искренняя

любовь и дружба, жалость и сочувствие тесно переплетены с изменами, завистью, корыстью, жадностью, жестокостью, интригами, сплетнями, борьбой за власть и влияние, коварством. Отрицательные детские явления и поступки, которые мы, взрослые, наблюдаем у детишек и которые они выражают откровенно и непосредственно, не только вызывают снисходительную улыбку, но и часто умиляют нас, потому что для нас, взрослых, они безопасны. Мы, взрослые, для них неуязвимы. Совсем другое дело, как сами дети «варятся в собственном соку», какие драмы, а порой трагедии разыгрываются в их детском мире, который, как правило, скрыт от наших глаз и недоступен нам не только потому, что дети редко откровенничают о самом сокровенном со взрослыми, но порой и потому, что они, как впрочем и мы, взрослые, не всегда умеют или в состоянии адекватно реагировать или объективно разобраться в сложившейся ситуации, а потому и верно её изложить. Детская сила мыслей и чувств, мне кажется, намного превосходит взрослую. Может быть, потому, что всё впервые: первый друг и первая любовь, первые открытия и постоянная новизна жизненных впечатлений, как радостных, так и печальных. И вся суть инстинктивно нацелена на освоение мира, познание законов жизни, познание себя и других людей. И это познание истинное и цельное, оно протекает полнокровно, незамутненно и непосредственно, в первозданности восприятия, не отягчено заботами о хлебе насущном и физическом и материальном комфорте. В детстве всё подлинное, твоё, собственное, потому что долгое время имеешь возможность идти по зову натуры, безоглядно. Ребёнок — самое свободное существо в человеческом мире, единственное существо, обладающее правом на открытое проявление своей личности, на свой независимый внутренний мир. Не потому ли с таким трепетным и трогательно-ностальгическим чувством мы вспоминаем свое детство? С того момента, как ты почувствовал, что внутренне лишился этой свободы, детство кончается. У одних раньше, у других позже. У редких счастливых — никогда.

И дружба детства, юности — особая, свободная, по выбору сердца и без ограничений, всё в ней естественно и по-настоящему, и дружба эта остается в сердце навсегда, со всеми радостями и горестями, счастливыми моментами, печальными эксцессами и сложными переживаниями. С ней не могут сравниться никакие приятельские, порой очень тесные и тёплые, отношения, возникающие между людьми зрелого возраста. И чем старше и несвободнее человек, тем труднее приобретает он друзей, потому что уже не может

вырваться из струи поработивших его условностей и препон, в которые заключил сам себя или его заключила жизнь.

Иру Ильгисонис я увидела впервые, будучи ещё дошкольницей, летом в Дзинтари, когда мы с мамой шли по улице Александра на пляж. Мама, как часто она это делала, о чём-то оживленно мне рассказывала, а я, как обычно, с интересом её слушала. Она умела живо и увлекательно пересказывать мне содержание прочитанных книг или увиденных кинофильмов, делилась со мной впечатлениями о самых разных людях и событиях. У нас с ней были очень доверительные отношения. «Ой, Талка, знаешь...» — начинала она, а затем мы, как лучшие подруги, обсуждали тему или «перемывали косточки». Уже на подходе к пляжу из калитки одной из дач на заросшую травой улицу перед нами выбежала со звонким смехом девочка, моя ровесница. На минуту она задержала на нас взгляд. Меня поразила красота её глаз. Огромные, чёрные, опушённые густыми длинными ресницами. Наверное, именно такие глаза называют очами. Следом за ней вышла, очевидно, её мать — эффектная миниатюрная брюнетка с правильными точёными чертами лица. Она была одета в длинный пёстрый халат-кимоно, в руках держала пляжную сумку.

— Какая красивая! — шепнула я маме.

— Кто? — не поняла она.

— Девочка. Видишь, идет впереди нас. Вот, вот, оглянулась...

Мама недоумённо пожала плечами:

— Обычная еврейская девочка.

Мне же она казалась очаровательной: такая изящная, маленькая, с густыми чёрными волосами, заплетёнными в две толстые косы. И с такими глубокими, бархатными, прекрасными глазами! «Вот бы мне такую внешность!» — с завистью подумала я про себя.

На пляже маму с девочкой приветствовала компания из нескольких мужчин и женщин.

— Ида Герцевна, Ирочка! Идите к нам! — кричали они, размахивая руками.

Мы расположились неподалёку. Компания быстро организовала игру в карты. Ида Герцевна, судя по всему, была азартной картёжницей. Она сопровождала игру громкими комментариями и резкими жестами и вообще производила впечатление очень бойкой и властной женщины. Меня удивило, что вскоре компания перешла с русского языка на какой-то другой, но не латышский.

— На каком языке они говорят? — недоумённо спросила я маму.

— На немецком, но якобы еврейском, идиш называется, — небрежительно ответила мама.

Она никогда не была антисемиткой, а вот русской шовинисткой её можно было назвать, да она и не считала нужным скрывать этого, будучи глубоко уверенной в том, что русский народ — если и не самый, то один из самых великих народов в мире. И этим очень гордилась.

Девочка Ира почему-то запала мне в сердце. Какова же была моя радость, когда 1 сентября у школы № 10 в толпе первоклассниц, среди которой я стояла, крепко держась за мамину руку, я увидела и её. Нам предстояло учиться вместе.

Очень скоро мы стали самыми близкими подругами и почти неразлучно дружили все четыре года начальной школы.

Ильгисонисы жили неподалеку от нас на улице Фрича Гайля в большой красивой квартире. Отец Ирины был военным в звании майора, занимался снабжением. Папа как-то про него с усмешкой сказал:

— Шахером-махером всё занимается, крепко рискует.

Он был высоким, полным, типичным евреем с некрасивым крупноносым, почему-то всегда плохо выбритым лицом. Ида Герцевна, как и все жены офицеров в то время, не работала, но всё время училась на каких-то курсах: то кройки и шитья, то бухгалтерских, то английского языка. Эта женщина обладала кипучим, деятельным характером и властно главенствовала в семье. Она любила наряды, косметику, красивую обстановку и дорогие вещи. И всё это у неё было. Наверное, в наше время эта пара стала бы крутыми бизнесменами. В их большой прихожей, сколько помню, постоянно громоздились, сменяя друг друга, какие-то ящики, коробки, тюки, среди которых мы любили играть в прятки и из которых сооружали то корабли, совершая путешествия вокруг света, как Миклухо-Маклай, Робинзон Крузо или капитан Кук, то подводные лодки (мы тогда увлекались книгами о географических открытиях и Жюль Верном), то возводили замки и разыгрывали из себя героев Вальтера Скотта, то играли в партизан и побеждали врагов. Неблагодарная роль отрицательных героев (разных папуасов, разбойников и фашистов) возлагалась на младшего братишку Ирины — красивого, светловолосого и голубоглазого Лёву.

Мне нравилось бывать у них. Когда я приходила, Ида Герцевна сразу убегала по своим делам. Нам предоставлялась полная свобода. Мы могли в её отсутствие всё перевернуть в доме вверх тормашками, но я не помню, чтобы хоть раз нам высказали неудовольствие. Мы

одевали её туфли-лодочки на высоких каблуках, её самые нарядные платья, красились её косметикой, бесились и кувыркались — разрешалось всё. Ида Герцевна меня любила и великолепно ко мне относилась. Она считала меня очень разумной и ответственной девочкой. «Берите пример с Наташи», — говорила она часто Ире с Лёвой. Когда я заходила за ними, чтобы вместе отправиться гулять, чаще всего в Стрелковый парк, находившийся рядом, Ида Герцевна напутственно всегда замечала:

— Когда вы с Наташей, моя душа спокойна, она надёжный человек.

Мне это льстило, и я старалась исполнять роль старшей сестры вовсю, тем более, что это было совсем несложно. В отличие от родителей, у Иры был на редкость мягкий, податливый характер. Она была нежной, мечтательной, романтической девочкой, и очень женственной. При этом обладала живым умом, отличалась восприимчивостью и артистичностью, независимостью суждений. Во многом мы были с ней непохожи, даже противоположны, но это долгое время не мешало нашей дружбе.

Мы обе хорошо учились, нас ставили в пример. Одновременно вступили в пионеры, я стала председателем совета отряда, она — звеньевой. Мы помогали отстающим, участвовали в концертах самодеятельности (Ира прекрасно декламировала стихи). Вместе делали классную стенгазету, проводили по очереди в классе политинформации, сборы пионеротряда. В общем, были очень положительными девочками. По мере взросления игры уступали место задушевным совместным размышлениям и долгим беседам. Делились мнениями не только о поведении взрослых, учителей, одноклассников, но и о том, что происходило в стране и мире. Помню, как я была поражена наблевшими откровениями Иры о несправедливом отношении к евреям.

— Никогда этого не замечала, — призналась я.

— А ты будь внимательнее, — стала наставлять она.

Шёл 1953-й год. Разразилось известное дело о врачах-евреях. На другой день после того как были опубликованы в газетах материалы о врачах-«убийцах», мы гуляли с Ирой после школы по улице Кирова. Она была печальна и задумчива. Я пыталась её расшевелить.

— Ну что с тобой сегодня такое? — воскликнула я.

Помню отчётливо, что мы в этот момент как раз проходили мимо решётчатого забора военного штаба, где работал папа. Ира повернула ко мне лицо, и я увидела, что её огромные глаза полны слёз.

— Это всё ложь! — прошептала она. — Они ни в чём не виноваты!
— Ты о врачах? — догадалась я. — Среди них есть ваши знакомые?
Она отрицательно покачала головой.

— Тогда откуда ты можешь знать наверняка?

— Мне папа с мамой сказали, это все евреи знают.

И тут она страшно испугалась:

— Ой! Зачем я это тебе сказала! Обещай мне, что ты никому не расскажешь об этом разговоре, поклянись!

Я удивилась:

— А что такого особенного ты сказала?

— Ты не понимаешь... Я тебя прошу, пожалуйста, поклянись!
Если ты кому-нибудь расскажешь, мне будет очень-очень плохо.

Не понимая, какая такая опасность может грозить Ире, я тем не менее поклялась. Но в глубине души к её словам о невинности врачей отнеслась с сомнением, мне просто в голову не могло прийти, что в газетах может быть напечатана неправда. Она это, видимо, почувствовала, и, возможно, именно с этого момента между нами вперые пробежал холодок.

Таня Яссон в начальных классах воспринималась замухрышкой и тихоней. Высокая, худая, с блеклым лицом, жидкими неряшливыми волосами, тусклым голосом, всегда с потупленной головой, опущенными глазами, с руками, перепачканными чернилами, она долгое время была вне поля моего внимания. Но потом нас посадили вместе за одну парту. Пословица о том, что в тихом омуте черти водятся, в полной мере была применима к этой девочке. За скромной, невыразительной внешностью, скованными движениями, тихим, на грани шёпота голосом обнаружилась сильная, волевая, эмоциональная натура с едким, язвительным, острым умом, тонкой наблюдательностью, быстрой реакцией и скрытой артистичностью. У нас оказалось много общего. В отличие от Иры она была спортивна, любила рискованные и азартные подвижные игры. Мы вместе стали ходить на каток, в одной команде участвовали в школьных соревнованиях, особенно любили волейбол. Она много читала, писала стихи, занималась музыкой у той же преподавательницы Карины Августовны, что и я, собирала марки и, конечно же, вела дневник.

В 1953 году, когда я заканчивала четвёртый класс, наша семья переехала на новое место жительства. Сбылась мамина мечта — жить в отдельной квартире. Тут же встал вопрос о моём переходе в другую школу, так как дом по улице Карла Маркса, куда мы переехали, располагался совсем в другом районе города, транспортное со-

общение было очень неудобным, а идти пешком слишком далеко. Дорога от дома до школы занимала не меньше часа. Училась я во вторую смену и в зимнее время домой возвращалась затемно. Маму это беспокоило, хотя уличная жизнь в Риге к этому времени была совершенно безопасна. Я наотрез отказалась менять школу, и мама вынуждена была уступить. Утром я ездила в школу на троллейбусе, а домой возвращалась пешком, потому что всегда находились попутчики-одноклассники и среди них чаще всего — Таня Яссон. Она жила на Школьной улице, но провожала меня до пересечения с улицей Ленина — главной магистралью Риги. Вот мы идём по тихим, узким, малолюдным, тускло освещённым, мощённым булыжником или диабазом уютным улочкам города и говорим, говорим, говорим. Любимое место на нашем пути — круглая, почти вымершая, темная площадь и на ней высокий мрачный лютеранский костёл, и мы кружим вокруг него, кружим и никак не можем расстаться. Мы говорили обо всём, чем была наполнена тогда наша жизнь, и были счастливы от полного взаимопонимания и взаимных открытий. Ира была для меня другом в детских играх и забавах, она была для меня как младшая любимая сестрёнка, я была ведущей, она ведомой. В её натуре не было напористости, масштабности, целеустремлённости. Ира была человеком личного, эгоистического счастья, я же всегда думала о всех и за всех. В этом отношении Таня стала равноправным другом в размышлениях о смысле жизни, в познании людей и их взаимоотношений, в поисках своего предназначения. Как и я, несмотря на детский возраст, Таня была «человеком общественным». Она несла в себе ощущение частицы великой, непобедимой и самой справедливой в мире страны. Этой страной она гордилась, эту страну она любила, этой стране она хотела служить. Общественная возвышенность её мыслей меня покорила. Она не знала сомнений, всегда была убеждена в своей правоте и умела зло и язвительно высмеивать окружающих. Это меня восхищало, потому что давало чувство уверенности и силы. Я надолго подпала под её влияние, жадно впитывая в себя новые, открывшиеся мне качества человеческого характера. Впоследствии мы составили с ней цельный лидерский дуэт во главе самых пассионарных ребят класса, выступая зачинщиками и организаторами многообразных дел и развлечений. Помню, к 7 ноября — Дню Октябрьской революции мы решили поставить спектакль по какой-то революционной пьесе писателя Горбатова из времён гражданской войны. Сами распределили роли, сами шили костюмы и рисовали декорации, притащили необходимый рекви-

зит. Действие пьесы разворачивалось в бывшей помещичьей усадьбе, хозяева которой бежали за границу, оставив в качестве сторожа сумасшедшую старуху-домоправительницу. Местные комсомольцы в кожаных куртках, солдатских гимнастёрках с маузерами на боку реквизируют усадьбу под комсомольский клуб. Сумасшедшая старуха устраивает им всяческие козни, но под конец её арестовывают и увозят. Комсомольцы, произнося зажигательные речи, празднуют победу. Таня исполняла роль сумасшедшей старухи. Она была бесподобна. При её появлении зал разражался хохотом, да и мы сами на сцене, отворачивая головы в сторону от зрителей, не могли удержаться от смеха, глядя на неё. Она была, безусловно, талантливым и содержательным человеком. Мне было интересно с ней общаться.

Таня часто приглашала меня к себе, но мне у них в доме не нравилось. Её мать Ефросинья Георгиевна, полная, рыхлая женщина, постоянно копошилась и что-то варила на кухне и всё время стонала от болей в пояснице. Она была приветливой женщиной, но очень некрасивой и слишком простой. Отец, обрусевший латыш, работавший в МГБ и занимавший там довольно высокий пост, производил гнетущее и неприятное впечатление. При встрече он молча, хмуро кивал, изредка вскидывая тяжёлый взгляд опухших мрачных глаз, под которыми чернели большие круги. Цвет лица у него был землистый, и вообще он казался очень нездоровым. Меня он пугал. В семье было четверо детей. Старшие брат и сестра учились в Москве в МГУ, Таня о них отзывалась с большой любовью и уважением, младший Серёжка учился в нашей школе. Позднее он утонул в реке Лиелупе, коварной и опасной своими водоворотами. Жили Яссоны небогато, квартира поражала аскетизмом обстановки, была какой-то голой и неудобной, даже занавесок на окнах я не помню. В этой квартире отсутствовало человеческое тепло.

Ира ревниво относилась к моему сближению с Таней.

— И что ты в ней нашла? — раздраженно спрашивала она меня. — Выдра, ехидна, язва!

Я Таню защищала:

— Она умная, много знает, хорошо пишет, хочет стать журналисткой, как и я.

— Да, умная, — соглашалась Ира, — только ум у неё злой, и сама она очень недобрая.

Я пожимала плечами, наверное, именно это мне и нравилось в Тане Яссон. Чуждой была Ирине и моя другая новая подруга — Велта Страздынь. Она появилась у нас в четвёртом классе и сразу при-

влекла к себе всеобщее внимание. Во-первых, она была «настоящей латышкой», перешедшей к нам из латышской школы, а мы, русские дети, с латышскими практически не общались. Во-вторых, её отец был министром просвещения Латвии. Меня же больше всего интриговала необычность её поведения. Большинство из нас стремилось к повышению собственной планки, к личному успеху во всем: в учёбе, в общественной работе, в спорте, в концертной самодеятельности и т. д., то есть к тому, что, с одной стороны, выделяло среди остальных, а с другой стороны, создавало общественный авторитет. Велта начисто была лишена не только какого-либо честолюбия, но почти демонстративно стремилась к тому, чтобы затеряться, раствориться среди тех, кто зарекомендовал себя серыми, ничем не привлекательными ученицами. Это со всей очевидностью выражалось в её манерах, отношении к учёбе и любым школьным мероприятиям. Казалось, что её главной целью было не выделяться и производить впечатление самой что ни на есть тишайшей посредственности. Она быстро создала о себе мнение как о классической, заурядной троечнице. Кстати, словесной расшифровкой оценки «три» тогда было не «удовлетворительно», как сейчас, а «посредственно», оценки «два» — «плохо». Этот, казалось бы, незначительный нюанс, на мой взгляд, свидетельствует о том, как позднее снисвелировались требования в шкале оценок трудового усердия и умственных способностей учащихся, как стали падать самолюбие посредственности.

Интерес к Велте поначалу быстро упал, к тому же она и не выражала никаких поползновений к тесному общению или дружбе с кем бы то ни было. Но меня эта девочка привлекала всё больше и больше. Когда я спросила её, почему она из латышской школы перешла в русскую, Велта с лёгким презрением в голосе категорично заявила:

— Они там все дураки, мне там было неинтересно, да и не учат там ничему, учителя сами мало что знают. У вас другое дело...

Это её мнение и презрительные интонации никак не вязались с той ролью недалёкой и ограниченной скромницы без претензий, которую она играла, и заставили меня присмотреться к ней внимательнее.

Велта, безусловно, была самой богатой девочкой не только в классе, но и, наверное, во всей школе, в которой насчитывалось немало очень бедных детей. Чтобы помочь этим бедным детям, школьный родительский комитет периодически проводил благотворительные мероприятия — собирал для них деньги, одежду и обувь. Велтина мама всегда вносила очень крупные по тем временам суммы денег. И одевалась Велта дорого, но безвкусно. Как сейчас

помню её зимнее пальто, ставшее на долгое время предметом наших насмешек. В те годы необыкновенно модными были черно-бурые лисы. Из них делали большие воротники, муфты, накидывали на плечи вечерних туалетов. Стоили они неимоверно дорого и были предметом вожделения многих женщин, в том числе и моей мамы. И вот однажды Велта явилась в школу в новом пальто с огромным воротником из чернобурки. Долгополое, плохо пошитое, неуклюже подпоясанное пальто с роскошной лисой нелепо смотрелось на девочке-подростке.

Её равнодушное, даже пренебрежительное, отношение к учёбе тоже удивляло. Она плохо читала, хотя говорила по-русски совсем как русская, царапала неразборчивым почерком, часто не выполняла домашние задания, а на строгие вопросы учителей по этому поводу пожимала плечами и невозмутимо отмалчивалась. Сколько помню, сидела она всегда на последней парте, никогда не поднимала руки и не выражала желания, в отличие от всех нас, поделиться своими знаниями. Отвечая с места или у доски, она, низко опустив голову и ни на кого не глядя, что-то тихо и невнятно бурчала себе под нос, вызывая смех в классе, но сама при этом нисколько не чувствовала себя смущённой. На уроках — на всех — ей было откровенно скучно. И этого я тоже не понимала. Мне учиться было интересно, тем более что наши преподаватели школы № 10 были настоящими асами своего дела, великими тружениками, влюбленными каждый в свой предмет и стремящимися на уроках донести до нас его содержание во всей привлекательности. Проработав сама в восьмидесятые-девяностые годы учителем в одной из лучших школ Петербурга и имея возможность сравнить уровень преподавания, я пришла к выводу о полной деградации этой профессии.

Именно став сама учителем, я с особой благодарностью стала вспоминать тех, кто учил меня. Старенького, но всегда подтянутого и вылощенного учителя истории, обязательно с указкой в руке, которой он артистично манипулировал, как дирижёр оркестром, вдохновенно повествуя нам об истории Древней Греции и Древнего Рима — благодаря ему я помню мифологию и имею представление о культуре и искусстве древнего мира. Строгую, на первый взгляд неприступную, учительницу географии, увлечённо раскрывающую перед нами карту нашей планеты, романтическую историю географических открытий и легендарных первопроходцев, неповторимые облики разных материков, стран и народов. Именно на уроках географии мы в полной мере осознали величие и захватывающее дух многообразие

своей родины от Балтики и до Тихого океана, от Арктики и до самой южной точки страны со смешным названием — Кушка. Тогда не было телевидения, красочных журналов и альбомов, но Тамара Григорьевна, которая объездила всю страну, приносила на уроки свои любительские чёрно-белые фотографии с изображением Алтайских и Кавказских гор, озера Байкал, мечетей Бухары и Самарканда и живо, эмоционально делилась с нами своими впечатлениями. Математика и русский язык всегда считались основными предметами, и в нас их вколачивали прочно, классически основательно и системно, впрочем, как и остальные науки. И если ты был готов, мог и хотел получить знания высокого качества, ты их получал. И не было нужды ни в каких репетиторах. Если же не мог или не хотел, то, как теперь говорят, это твои проблемы — рабочие профессии в советской стране пользовались тоже большим уважением. Тем не менее обязательными и бесплатными были дополнительные занятия для отстающих и часто болеющих детей, которые проводились после основных уроков и к которым учителя относились с полной ответственностью. Велта их не посещала, предлагаемую товарищами помощь отклоняла, и, судя по всему, плохие оценки её не беспокоили.

— Глупая, — вынесла приговор новенькой Таня.

Но я не хотела с ней соглашаться. От Велты исходили волны какой-то притягательно-магнитной силы. Эти волны каким-то парадоксальным образом воздействовали на окружающих. То, что с общепринятой, здоровой точки зрения считалось негативным, в её исполнении выглядело оригинально-привлекательным, особенно, видимо, потому, что всё её поведение было органично-естественным и исполненным внутреннего достоинства. Это поведение как бы говорило: я не такая, как вы, но уж какая есть, и меня это вполне устраивает, а к чужому мнению я глубоко безразлична. Думаю, что именно вот эта её внутренняя независимость и лёгкое презрение к окружающему мнению резко выделяли Велту из всех нас. Мы ведь пребывали в русле определённым образом сформированного положительного стереотипа, были закомплексованы догмами и нормами коллективного воспитания, всё наше поведение строилось с оглядкой на авторитеты. Индивидуальная, столь разительная непохожесть Велты на остальных вызывала у меня жгучий интерес. Впервые среди своих ровесников я ощутила чужое внутреннее превосходство. Не в уме, не в эрудиции и начитанности, не в способностях и таланте (они у Велты явно отсутствовали), а в чём-то другом, совершенно мне непонятном, да в общем-то так до конца и не понятом до сих пор. Скрытое и

необъяснимое обаяние её личности скоро стало оказывать непосредственное влияние на всех, причём буквально на подсознательном уровне. Почти все перестали поднимать руки, гордиться успехами в учёбе. Выходя к доске, небрежно делали книксен и, опустив головы, почти шёпотом, спотыкаясь и путаясь в словах, говорили что-то маловразумительное. Учителя были в шоке.

— Что с тобой, Короткова? — удивлённо и раздражённо восклицали они, апеллируя чаще ко мне, потому что всегда хвалили меня за красивую речь, чёткие ответы и хорошо поставленный голос.

Я загадочно усмехалась и многозначительно молчала, ловя одобрительные, сочувственные взгляды одноклассниц. Но так как ответы мои были верными, оценки мои от такой новой манеры ответов не страдали. Учителя, наверняка понимающие, откуда ветер дует, скоро махнули на нас рукой. Иметь дело с дочкой министра просвещения было небезопасно. Метаморфозы, происходящие с нами, можно было объяснить и переходным возрастом. Скорее всего, так оно и было.

Наше сближение с Велтой происходило постепенно. Когда нас перевели в первую смену, мы стали после уроков подолгу гулять по городу, прежде чем идти домой. Во время этих прогулок мы с Таней и Велтой подружились окончательно. Так как я жила далеко от школы, мы «забрасывали» портфели к Велте на квартиру и отправлялись бродить по улицам Риги.

— Тоже мне — три мушкетёра! — иронизировала над нами Ира.

— Присоединяйся, — часто предлагала я ей, но она отказывалась наотрез:

— Ваши игры и забавы не для меня.

Действительно, наши прогулки, игры и развлечения были довольно своеобразными для девочек из приличных семей. Мы лазали по деревьям, рыскали по проходным дворам, подвалам и чердакам, забирались на крыши сараев и флигелей и зимой с разбегу прыгали с них в сугробы, на ходу запрыгивали и спрыгивали с трамваев (тогда у них были открытые задние площадки), бросались под самым носом у машин на мостовую, испытывая свою смелость и выдержку, — в общем, вели себя как отъявленные мальчишки-сорванцы.

Больше всего мы любили играть в войну. Это и неудивительно для детей моего поколения. Ведь духом войны была пропитана вся жизнь. Самые талантливые, самые мощные силы искусства и литературы были брошены на создание героической мифологии времён Великой Отечественной войны. Мы, дети, не могли знать правды о войне, а те взрослые, что знали её, нам её не говорили. Почему?

Почему папа, конечно же, часто вспоминая о военном лихолетье, в те послевоенные годы рассказывал мне об этом с приподнятой романтической ностальгией? Не знаю. Был в этом, наверное, какой-то особый психологический феномен. Ведь папа всегда был со мной искренен и говорил мне только правду. И только много позднее он вдруг стал иногда вспоминать отдельные страшные детали военного времени: об окружении и разгроме их армии осенью 41-го, когда голодные и оставшиеся без командования солдаты толпами шли сдаваться, а немцы их кормили из полевых кухонь и махали руками: мол, идите отсюда; о том, как почти двое суток, спрятавшись в придорожном кювете, ждали двух замешкавшихся товарищей, а те не могли перейти шоссе, по которому мимо них днем и ночью сплошным потоком, без перерыва двигались на восток моторизованные, отлично вооруженные и экипированные, казавшиеся несокрушимыми части вермахта; о том, как под Сталинградом мёрзлыми трупами, и нашими, и немецкими, вперемешку, мостили зимой непроезжие дороги, так плотно один к другому, что машина лишь слегка подпрыгивала на трупах, словно на обычной гребенке; о том, как у него на глазах в беспощадной ярости маршал Жуков растоптал сапогами маленьких котят с кошкой, которых приютили солдаты в землянке («Жуков был не лучше Сталина, — обмолвился он как-то в другой раз. — Вот Рокоссовский, Баграмян, те пытались сократить наши потери, а этот потерь не считал, целыми дивизиями жертвовал не задумываясь, как разменными пешками»); о том, как, взрезая ножами консервные банки, неделями ели одну американскую тушёнку. «Если бы не американская тушёнка, мы сдохли бы не от пулю, а с голоду», — был уверен папа.

Военная мифология создавала своих молодежных идеализированных героев: Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Гулю Королёву, Сашу Дубинина, Олега Кошевого и других членов подпольной организации «Молодая гвардия» из города Краснодона, погибших на войне. Они были нашими кумирами. Мы жалели, что поздно родились и не смогли принять участие в войне, чтобы совершить свои подвиги. Потребность эта выливалась в игры. Мы создавали штабы, оборудовали подвалы и чердаки, выискивали «вражеские» объекты, на самодельных картах разрабатывали планы операций по наступлению и уничтожению «фашистов». Мы были то разведчиками, то партизанами, то подпольщиками. Мы распределяли роли и занимали определенные позиции. Придуманная и продуманная игра требовала многих участников, и мы привлекали

других своих одноклассниц. Желаящих было много. На углу улиц Дзирнаву и Стрелниеку, рядом со школой, располагалась какая-то маленькая воинская, очевидно хозяйственная, часть. Небольшой двор был огорожен забором, внутри находились деревянный двухэтажный дом-казарма, бетонированное складское помещение, большой захламленный сарай и различные спортивные снаряды. Вход туда был запрещён, но солдаты во дворе появлялись редко, а ворота обычно не запирались. Вот эту воинскую часть мы и облюбовали в качестве своего противника. Тайком пробирались на «вражескую территорию», рассредоточивались по закоулкам и проводили свои «военные операции». Здесь было всё: прыгая с крыши сарая, «спускались с парашютом»; пробираясь ползком среди сугробов, «брали языка», а затем допрашивали его в «штабе» с помощью «переводчика». Иногда нас самих брали в плен, допрашивали с пытками и угрозами, но мы держались стойко, товарищей не выдавали и порой героически «погибали». Со спорами, а иногда и слезами происходило деление на «наших» и «фрицев». Лучше всего роль свирепого немца получалась у Тани. «Как твой фамилия, русский Иван?» — рычала она, строя страшные рожи и стуча кулаком по какому-нибудь ящику в подвале или сарае. Велта была великолепным разведчиком, она бесстрашно пробиралась в «стан врага», однажды даже умудрилась незаметно проникнуть в солдатскую казарму, стащила оттуда чью-то пилотку и благополучно выбралась. Я же, как правило, была начальником штаба, потому что придумывала правила игры, всеми руководила и подсказывала, как суфлёр, ситуативные ходы. Увлечение наше военными играми продолжалось около года, а закончилось в силу двух обстоятельств. Одна из участниц игры, толстенькая, абсолютно неспортивная Таня Тихвинская, которая тоже страстно хотела «воевать», «спускаясь на парашюте» с крыши сарая, сломала ногу. Нас вызвали к директору школы, категорически запретили ходить на территорию воинской части и играть в «дурацкие игры». Подчиняться этому запрету мы не собирались, но солдаты, которые, безусловно, и раньше нас замечали, но игнорировали, теперь стали категорически выгонять со своего двора и грозили милицией. А затем последовало поразительное для нас всех — романтиков войны — заявление Велты. Мы сидели в одном из подвалов на ящиках при свете свечей и обсуждали, какие пытки, разумеется понарошку, могут применить фрицы к нашему пленному. Вдруг Велта, как-то странно хихикнув, сказала:

— А я бы пыток не выдержала.

Её слова нас поразили. Самая ловкая, самая отчаянная, и вдруг такое...

— Я бы сразу выдала вас всех! — вызываяще продолжила она.

Мы смотрели на неё с презрением, настроение у всех испортилось, мы сникли и в грустном отрезвлении молча разошлись по домам. Осмысливая дома вечером поведение Велты, внутренне не соглашаясь с ней, я не могла не признать мужественной честности её слов, и к моей глубокой симпатии приросло чувство уважения к ней.

Наш триумvirат, благодаря Велтиной независимости и непокорности, изощренным выдумкам Тани и моим успехам в учёбе, становился всё более авторитетным в классе. И если Велта продолжала оставаться глубоко равнодушной ко всяким регалиям и демонстративно сторонилась общественных должностей, то мы с Таней не чурались лидерских претензий и испытывали психологическое удовлетворение от того, что нас дружно избирали всюду, куда только можно было. С Ирой мы тоже продолжали общаться, но дружба наша постепенно стала затухать.

Большую роль в моем отношении к Велте играл домашний уклад их жизни. Велта жила на улице Кирова в доме № 21 на втором этаже. Мне очень нравилась их квартира, огромная, многокомнатная, очень теплая, светлая, уютная, в которой всегда пахло чем-то вкусным. Мягкие диваны и кресла, ковры, книжные стеллажи, сверкающий светлый паркет и замечательный комнатный сад в глубоком эркере гостиной комнаты. Стиль этой квартиры резко отличался от привычного нашего, русского, главным в котором было или пренебрежение эстетическим комфортом и благоустройством, как например, в семьях офицеров, или, наоборот, стремление украсить своё бедное жилище настенными ковриками, кружевными салфеточками, обязательными слониками на комодах, вазочками и статуэтками, цветками герани и фикуса на подоконниках, ставшими на долгие годы символом советского мещанства.

Квартиру населяло большое семейство: родители, четыре дочери (Велта была младшим и поздним ребёнком) и маленькая сгорбленная приживалка Эмуце. Она закупала продукты и готовила еду. По-русски Эмуце не говорила, или притворялась, что не говорит, на нас бросала мрачные, враждебные взгляды, и мы её побаивались. Но Велта её любила, называла ласково Эмуцитой и утверждала, что она необыкновенно добрый, хотя и несчастный человек, которого они приютили у себя из жалости.

Велтин отец, Карл Янович, держал себя с нами строго и неприступно. Он был далеко не молод, даже стар, весь седой, рослый, с прекрасной подтянутой фигурой и правильными, мужественными чертами лица — один из тех типичных прибалтов, про которых говорят: «интересный мужчина». Велтина мама была тоже типичной прибалтийской женщиной, которые очень часто страдают отсутствием изящности и женственности. Немолодая, высокая, слегка сутулая, ширококостная, с большими руками и ногами, простонародными чертами лица, выдававшими её крестьянское происхождение, грубоватым голосом, она не очень хорошо говорила по-русски и с нами была необщительна. Но дружбу нашу поощряла, старалась быть приветливой, и мы без стеснения слонялись по всей квартире, иногда даже заглядывая в кабинет министра и сживая на его кожаном диване.

Самая старшая сестра Эльза, старая дева, рослая, худая и нескладная, с некрасивыми лошадиными зубами, как будто навечно приклеенная к креслу, постоянно что-то вязала на спицах. Другая старшая сестра — Изольда, миловидная и улыбчивая, училась в институте. У неё был русский жених — симпатичный чернявый Валентин, работник МГБ. По-моему, он тоже жил в их квартире, так как иногда мы заставляли его в домашней пижаме. Велта утверждала, что он любимец семьи, сама была в него тайно влюблена и восторгалась тем, что он чекист. Много позднее, спустя года два-три, как-то на уроке Таня придвинула мне записку: «Изольда разошлась с Валентином». — «Да?!» — удивилась я. На перемене, улучив момент, я поинтересовалась этим у Велты.

— Мы его выгнали, он оказался жидом и подлецом. Чекист воюющий! — с откровенной ненавистью ответила она.

В смущении я отступила от дальнейших расспросов. Самой очаровательной среди сестёр была Лайма. Красивая, весёлая, очень подвижная, она училась в музыкальной школе и мечтала поступить в консерваторию, что и осуществила впоследствии. У неё была отдельная комната, наполовину занятая большим роялем, на котором она постоянно играла. Велта скептически относилась к музыкальным способностям Лаймы и с раздражением жаловалась на головную боль от её экзерсисов. Сама Велта в те годы представляла собой угловатого долгового подростка. Она чуть сутулилась, косолапо загребала ногами при ходьбе, но при этом отличалась какой-то лёгкостью и воздушностью. У неё были красивые светлые волнистые волосы, изящный прямой носик, большой рот с чуть вывернутыми губами и прелестные ямочки на щеках.

У Велты в доме мы проводили много времени. Играли в карты, лото, просто болтали о чем-нибудь или кувыркались на ковре, исполняя всяческие физкультурные фигуры: шпагаты, стойки, мостики. Иногда, услышав за окном цокот лошадиных копыт, Велтина мама прерывала наши занятия властной командой на латышском языке. Велта тяжело вздыхала, брала в прихожей ведёрко и совок, шептала нам «Я сейчас» и убегала на улицу подбирать с мостовой конский навоз для удобрения комнатных растений. Конные экипажи в роли такси существовали в Риге много лет.

В те годы семья Страздынь была настроена прорусски и просоветски. Велта утверждала, что её отец был из латышских стрелков, старый большевик и революционер. Она даже уговаривала нас произносить её фамилию иначе — не Страздынь, а Страздина, чтобы больше походить на русскую. Помню, Таня тогда съехидничала:

— Может, тебя вообще называть Скворцовой? Ведь страздс по-русски — скворец.

Таня по-прежнему считала Велту глупенькой, но не могла устоять перед определённым обаянием её личности и искренне её любила, всегда называя Велтыней.

Велта была для меня всё-таки непостижимым существом. Казалось, что она ни к чему не стремилась, ни о чём не мечтала и не имела никаких сильных и острых желаний. Нас с Таней к ней тянуло, и она вроде с удовольствием с нами общалась, но никогда не была инициатором встреч и совместного времяпрепровождения. Я не помню случая, чтобы она сама позвонила и пригласила в гости, или в кино, или на прогулку. Но охотно принимала наши предложения и была очень гостеприимной у себя дома. Иногда, правда, лениво отнекивалась: «Неохота что-то...» На вопрос, чем она занимается, меланхолично отвечала: «Ничем, валяюсь на диване, пасьянс раскладываю».

Как и Таня, Велта была остра и зла на язычок, категорична и безапелляционна в суждениях. Но если Таня всегда могла своё мнение аргументировать, то Велта даже не считала нужным к этому прибегать. Припечатает — и всё! И ни тени сомнения. Меня её поведение порой ставило в тупик, перед её самоуверенной напористостью я легко отступала, не доверяя себе, а Таня объясняла всё очень просто:

— Она дура, не обращай внимания.

Самым поразительным в ней для меня было её абсолютное безразличие к тому, что о ней думают и говорят другие. Я же всегда: и в детстве, и позднее — была чрезвычайно озабочена тем, какого мнения обо мне окружающие, обострённо-чутко воспринимала все нюансы

взаимоотношений, и если чувствовала чью-то неприязнь, недовольство или вражду, довольно болезненно реагировала на это. Для меня всегда было важным, чтобы окружающие любили и уважали меня. Что это: честолюбие или комплекс неполноценности? Не знаю.

Если Велту тогда привлекало всё русское, то меня, как раз наоборот, привлекало всё латышское. Я с удовольствием учила латышский язык, который нам преподавали в обязательном порядке со 2-го класса. Учительница меня хвалила за хорошее произношение, переводы и беглое чтение. Мне нравились латышские народные песни. Летом, на празднике Лидо, я всегда надевала латышский национальный костюм, который мама купила мне на рынке. Она всячески поощряла мое влечение к латышскому. «Правильно, Талочка, нам здесь жить», — говорила она. На бытовом уровне я вполне сносно могла общаться с латышами на их языке, и многие из них принимали меня за латышку. Любила читать латышских писателей, а вот латышские сказки мне не нравились, они были слишком примитивными, с какими-то надуманными героями-батраками и тяжеловесными тупыми богатырями, не увлекательными, без волшебства и полёта фантазии. Любимой латышской книгой был роман Вилиса Лациса «Сын рыбака».

Выяснилось, что лето Таня проводит тоже на даче в Дзинтари, совсем по соседству со мной. Таким образом, и в летние каникулы мы были вместе. Конечно, много времени проводили на пляже, а на обратном пути домой, чувствуя истому в теле после купаний и загорания, неспешно, с приятностью ступая босыми ногами, облепленными пляжным песком, по теплым известняковым плитам тротуара, строили планы на завтра, придумывая разные занятия и развлечения. Конечно, часами стояли в длинных очередях за билетами на очередную серию самого популярного американского кинофильма тех лет «Тарзан». У меня никогда не было велосипеда, но Таня научила меня кататься, отдала в пользование велосипед своего брата, и мы совершали с ней долгие путешествия по окрестностям Дзинтари и Майори. Особенно любили бывать в яхт-клубе на реке Лиелупе. Длинные, далеко уходящие над водой мостки и причалы, завораживающей красоты узкие корпуса многочисленных и многообразных яхт и стройные мачты, как будто из отшлифованного, отполированного дерева. Спортивные фигуры молодых, загорелых, красивых мужчин. И только латышская речь. В прозрачной, чистой воде скользят рыбы и рыбёшки.

Мы купили удочку, одну на двоих, и решили заняться рыбалкой. Удочка была длинная, мы никак не могли с ней справиться и заки-

нуть крючок подальше в воду. Решили просто. Одна из нас держит в руках удилище, другая сзади неё на расстоянии — крючок. По команде «Раз, два, три!» одна взмахивает удилищем, а другая отпускает крючок. В результате крючок оказался вонзённым в Танин палец, да так глубоко, что вытащить его сами мы не смогли и отправились через всё Дзинтари (а путь был неблизкий) в поликлинику. Несмотря на то, что Тане было больно, а мне её очень жалко, к поликлинике мы подошли совершенно изнурённые приступами неудержимого, до колик в животе, почти истеричного смеха над собственной глупостью. Палец пришлось разрезать, а увлечение рыбалкой на этом закончилось.

Однажды, гуляя вдоль реки по кромке берега и воды, кто-то из нас обратил внимание на черепки фарфоровой посуды в воде среди песка и галечника. Мы стали рассматривать их и были поражены красотой узора и прозрачной тонкостью фарфора. Так началось наше новое увлечение — игра в археологов с собиранием осколков старинной фарфоровой посуды в реке Лиелупе. Часами бродили мы по берегу, напряжённо вглядываясь в воду и радостными возгласами оповещая о новой находке. Затем мы раскладывали на берегу найденные сокровища и подолгу любовались изысканной красотой узоров и росписи, пытаясь угадать, частичками какого рода посуды — чашки, вазы или тарелки — могли они являться. Мы представляли себе, какими же красивыми они были в своей целостности (в то время подобной красивой посуды в магазинах не продавали и в наших домах ничего похожего не было), и никак не могли понять, каким образом и почему в речной воде их было такое разнообразное множество.

Иногда мы на велосипедах ездили навещать Велту, дача которой находилась в Лиелупе — самом тихом, малонаселённом, полностью лишённом инфраструктуры местечке. Со всеми бытовыми проблемами нужно было ездить в соседний дачный посёлок Дубулты. Был, правда, небольшой продуктовый магазин на железнодорожной станции, но сама станция находилась в трёх километрах, а поэтому дачников как таковых в Лиелупе почти не было. Зато именно в Лиелупе располагались самые роскошные и комфортабельные виллы и коттеджи. Большая часть их была отдана в ведение санатория Министерства обороны, а оставшиеся распределены между крупными чиновниками республики. Так, здесь на даче обитала семья министра юстиции Латвии — Бастина. Его жена Рая, прокурор Риги, была в Самаре маминной одноклассницей, а её младшая сестра Ада одноклассницей Гали — младшей сестры мамы. Все они дружили между собой и часто встречались, особенно когда Галя приезжала к нам в гости.

У Бастиных была дочь Наташа, намного младше меня, впоследствии она стала актрисой Русского драматического театра в Риге.

Дача Страздыней располагалась в прекрасном месте, прямо на берегу залива. Она представляла собой стоящий на некотором возвышении белый двухэтажный каменный коттедж с большими окнами почти от пола до потолка и красивой открытой террасой, на которую вели из сада широкие, выложенные известняком ступени. Этот величественный дом с огромным холлом, наполненным светом, воздухом и запахом моря, в котором в углу стоял белый рояль Лаймы, с широкой, обрамлённой перилами полукруглой лестницей, ведущей на второй этаж, со множеством светлых просторных комнат, думаю, и сегодня был бы предметом зависти многих наших «новых русских». Весь участок перед домом стараниями Велтиной мамы был превращён в цветущий сад. Между деревьев и кустарников искусно разбиты цветники разных видов и конфигурации. Розы, лилии, георгины, клематисы, гортензии — каких только цветов там не было! Вся та эстетика, которая только теперь активно внедряется в наш российский загородный быт через многочисленные глянцевого журналы, телевизионные передачи и рекламу — всё это уже тогда в полной мере существовало в жизни латышей, имеющих возможность создать своё бытовое окружение в соответствии со своими вкусовыми и личными запросами.

Но интересно другое. Это сейчас, уже на старости лет, вспоминая, я нахожу в этом быте достоинства и очарование. Тогда было совсем не так. Может быть, я ошибаюсь и чего-то не помню, но бытовая эстетика латышей воспринималась приезжими русскими с равнодушием и долгое время не оказывала на них влияния. Это было что-то чужое и нам не свойственное. Русские долгое время не возделывали в Латвии ни садов, ни огородов, ни цветников. Может быть потому, что ощущали себя здесь временщиками? Русского обывателя тоже, конечно, занимали и волновали заботы бытового обустройства, но они никогда не выступали на первый план и уж никак не определяли смысла жизни. Зато все те русские, которых я знала, много читали, активно посещали театры, очень любили кино, собирались большими дружескими компаниями, пели и танцевали, горячо обсуждали все события, происходящие в стране, интересовались международной политикой, с энтузиазмом ходили на демонстрации по праздникам, летом устраивали загородные пикники, лодочные прогулки по Лиелупе, зимой с удовольствием катались на коньках, а осенью ездили в леса за грибами. Это был очень открытый общественный уклад жизни. Как и чем жили латыши, мы не видели и не знали. Публичными

и коллективными они представляли только во время национального праздника Лидо и на конкурсах республиканского хорового пения. Всё остальное время они жили какой-то своей скрытой, запрятанной от чужих глаз, бытовой жизнью. Разумеется, я не имею в виду творческую латышскую интеллигенцию, я говорю о простых людях. Но ведь даже в семье Велты, отец которой занимал такое высокое общественное положение, явственно ощущались нехватка духовной культуры, узость интересов, отсутствие образованности и эрудиции. Мне кажется, что сама Велта это чувствовала и поэтому длительное время так тянулась ко всему русскому и даже будто стыдилась, что она латышка. У неё совершенно не было латышских друзей, во всяком случае она ни разу о них не упоминала.

* * *

Лето кончилось, мы вернулись в Ригу, и тут выяснилось, что в школе нас ждали большие перемены. Раздельное обучение отменили, к нам влились мальчики из других школ, и вместо одного пятого класса стало два: с английским и немецким языком. Ира Ильгисонис выбрала английский, я — немецкий. Она перешла в другой класс, и постепенно у каждой из нас сложился новый круг общения. Её новые подруги мне были неинтересны, а ей мои — Велта и Таня — откровенно неприятны. И хотя мы ещё некоторое время периодически общались (нас продолжало тянуть друг к другу), дружба наша постепенно и незаметно сошла на нет.

Первая группа мальчиков, которых перевели в нашу школу, представляла собой «трудных подростков». Среди них были и второгодники, и те, кого называли хулиганами и шпаной. Многие из них были старше нас на два-три года. Они собирались стайками во дворах, резались «в ножички», курили, дрались, писали на заборах неприличные слова, а иногда и лазали по чужим карманам. Но в школе вели себя прилично. Поначалу мы держались изолированно, настроенно и даже испуганно приглядываясь к ним, но очень скоро поняли, что нас они боятся больше, чем мы их. Будучи хозяевами, мы первые пошли на сближение, стали заботливо предлагать им помощь в учёбе, втягивать их в общественные мероприятия и соревнования, даже приглашать домой на дни рождения. Они смущались, краснели, потели и пыхтели, грубовато отнекивались, но были явно довольны нашим вниманием. Прошло время, и мы почувствовали их ответную благодарность. Местные хулиганы перестали к нам приставать

и задирались на улице, на катке нас больше никто не пытался «подрезать», не толкал, не подставлял подножек. Откуда-то рядом вдруг возникали наши «рыцари» и уводили обидчиков «поговорить».

Школа пополнялась мальчиками постепенно, и их количество улучшало их качество. Велта с самого начала любое мужское общение отвергла, Ира сразу, правда ненадолго, влюбилась в Витю Ханова — коренастого, большоголового, грубоватого второгодника («он такой мужественный и смелый»), а мы с Таней быстро установили с ними товарищеские отношения. Но через год и меня не миновала первая школьная любовь.

Его звали Валерий Московский. Он долгое время держался особняком от всех, да и впоследствии ни в чём не принимал участия, учился неплохо, но к учёбе был равнодушен. Всегда чист, аккуратен, подтянут, хорошо воспитан и немногословен. Однако на улице мы часто встречали его курящим, и компанию он водил с уличными ребятами, много старше по возрасту. Я считала его самым красивым в классе: блондин, но при этом с выразительной монгольской лепкой лица, чуть раскосыми серо-голубыми глазами и длинными, пушистыми, высоко загнутыми ресницами, с тонким прямым носом и красиво очерченными губами. Когда спустя много лет я впервые увидела на экране американского актёра Грегори Пека, моё сердце дрогнуло — это был возмужавший Валерий Московский. Мы почти не общались с ним в школе. Однажды, когда я в одиночестве пешком возвращалась домой, он неслышно возник рядом и спросил:

— Нам, кажется, по пути?

Вскоре он показал рукой на невысокий жёлтый дом и сказал: «А я живу здесь», но при этом продолжил путь и проводил меня до самого дома. С тех пор я пыталась отделаться от других попутчиц из школы, и всякий раз, когда бывала одна, он тут же неожиданно появлялся около меня, и мы вместе, не торопясь, шли до моего дома. Валерий был остроумен и ироничен. Он был тонким психологом, эмоциональным рассказчиком и галантным кавалером. Я совершенно не помню, о чём мы разговаривали, потому что главным было другое — волнующее присутствие и близость человека, который тебе нравится и с которым тебе удивительно приятно и хорошо. В те годы слово «любовь», применительно к нашему возрасту, считалось смешным и неприличным, так же, как считались развратными романы Мопассана. Увидев у меня в руках его роман «Жизнь», мама схватилась за голову и впервые категорично запретила мне читать. Разумеется, я ослушалась и продолжала чтение, пряча книгу под

одеялом. Другой такой запретной книгой был «Декамерон» Боккаччо. Когда сегодня на уроках дети увлечённо листают глянцевые журналы с откровенно сексуальными, а порой и порнографическими иллюстрациями, это кажется, наверное, смешным и глупым. Мы же были на редкость целомудренными недотрогами, и то чувство, которое мы называли любовью, носило платонический, интимно духовный, а не плотский характер.

— Не хочу, чтобы наступали летние каникулы, — однажды признался Валерий.

— Почему? — притворно удивилась я, замерев в ожидании откровенного признания.

Он достал из кармана маленький перочинный ножик.

— Прошлым летом этим ножичком я изрезал целую рошу. Берёзы плакали, но я их всех заставил носить твоё имя. Я так и прозвал эту рошу — «Наташа». Говорил себе: «Пойду к Наташе». Очень скучал.

Сердце моё заколотилось, щёки вспыхнули. Это было очень красивое признание. Впоследствии только ещё один мужчина так красиво признался мне в любви — тёплой, звёздной украинской ночью он наклонился над бездонным колодцем и тихо, медленно почти прошептал:

— Люблю тебя.

И безмерная глубина колодца глухо и мощно обдала меня эхом: «Люблю!» В этом было что-то колдовское. Этот мужчина стал моим мужем.

— А ты летом вспоминала обо мне хоть иногда? — не глядя на меня, спросил Валерий Московский.

«Не иногда, а постоянно, не просто вспоминала, а тосковала», — бился из меня ответ, но я искусственно рассмеялась и проговорила:

— Не помню. Угадай сам.

— Ты для меня загадка, которую я разгадать не могу, — тяжело вздохнул он.

От Таниной наблюдательности не ускользнули наши с Валерием отношения, хотя мы и скрывали их ото всех. Она загрустила. Но тут появился ещё один новенький — Валерий Седов. Кудрявый брюнет, с желтоватым цветом лица и ярко сверкающими чёрными большими глазами. Судя по всему, он был второгодником не первый год, так как выглядел уже юношей. Над верхней губой пробивались черные усики, а на синеватых щеках лёгкие волоски. Среди остальных он выделялся взрывным, темпераментным характером и обострённым чувством справедливости. Это был очень принципиальный и ответ-

ственный мальчик, болезненно переживающий из-за своих неудач в учёбе. Он хорошо рисовал и был прекрасным шрифтовиком. Мы с Таней привлекли его к выпуску классной стенной газеты, и он делал прекрасные заголовки и очень выразительные рисунки и карикатуры, а потом Таня самоотверженно стала вытаскивать его из двоек. Она приходила к нему домой, и они вместе делали домашние задания под любящим и заботливым присмотром его мамы — маленькой, седой женщины, беспомощной и уже тогда робевшей перед своим сыном. Отца у Валерия не было.

Так нас стало четверо, и мы часто свободное время проводили теперь вместе. Бродили по городу, открывая для себя окраины Риги, ходили друг к другу в гости. У Валерия Московского была удивительно милая и приятная мама. Они были похожи, и сразу было видно, что любят и с полуслова понимают друг друга. До сих пор у меня сохранилась фотография, где они вместе. Эту фотографию мне подарил не он, а его мама — Любовь Прокофьевна. Она любила нас с Таней и была нам благодарна за то, что мы помогли избавиться её сыну от плохого влияния улицы. Наш дружеский союз четырёх с перерывами длился несколько лет, вплоть до моего отъезда из Риги. А потом ещё какое-то время я переписывалась со всеми тремя.

Всё было у меня хорошо, и я чувствовала себя счастливой. Я жила, лелея в душе мамины слова: «Ты, Талка, лучше всех!» Отношение ко мне одноклассников, близких друзей и учителей подпитывало и подтверждало это самоощущение. Неприятности и беды обрушились на меня неожиданно, как нож в спину.

* * *

Шёл 1955 год. Папу командировали в Москву учиться в военной академии, а затем, присвоив звание полковника, направили служить в Минск заместителем начальника артиллерийского училища. Мама была чрезвычайно расстроена этим обстоятельством, она не хотела покидать Ригу. К счастью для неё, нам с ней переезжать было некуда. Минское училище располагалось за чертой города, в трёх километрах от автобусной остановки, большинство офицеров жило в общежитии, как правило, без семей. Папе обещали предоставить квартиру в ближайшее время, а пока он уехал в Минск один. Раз в полгода мама ездила к нему на один-два месяца, а я оставалась под присмотром бабушки Машонкиных, Марьи Васильевны, которая на это время поселялась в нашей квартире.

Мы прожили врозь с папой два года, до тех пор, пока он не получил наконец квартиру. Я по нему очень скучала, мне его не доставало. Но самое страшное случилось, когда однажды мама, очень смущаясь и волнуясь, сказала мне:

— Талочка, нам надо с тобой серьезно поговорить.

Мама в те годы была молодой и красивой женщиной. Естественно, ей хотелось развлечений и мужского внимания. Не знаю, где и каким образом она познакомилась с военным лётчиком, полковником Николаем. Я уже говорила о том, что мама вышла замуж за папу не по любви, она этого не скрывала, и папа это прекрасно знал. И вот, впервые в жизни она влюбилась, сильно, даже страстно, по-настоящему.

— Ты должна меня понять, — говорила она мне. — Твой папа очень хороший и благородный человек, он меня понял и простил. Мы решили развестись. Но твоё слово будет решающим.

Я заплакала. Мир для меня рухнул. Мама тоже плакала и всё время повторяла:

— Будет так, как ты скажешь.

Мне было жалко всех: и себя, и папу, и маму.

— Я всё понимаю, — сказала я маме, — но за тебя решать не могу. Поступай как знаешь. Мы с папой не пропадём.

Полгода длилось наше общее страдание. Мама тянула с решением, папа почти смирился, Николай терпеливо ждал. Однажды он пришёл к нам домой, и мама нас познакомила. Безусловно, это был очень достойный и красивый человек.

— Мне он понравился, — сказала я маме, — но я его никогда не полюблю.

Материнская любовь оказалась сильнее, и мама принесла мне в жертву своё счастье. Об этом я никогда не забывала и всю остальную жизнь была ей за это благодарна. Когда мы уже жили в Минске, одна из маминых подруг написала ей, что Николай умер от разрыва сердца.

В это же время мне пришлось перенести ещё одну сильнейшую душевную травму. Как-то одна из наших новеньких одноклассниц, Элла Иванюта, приехавшая с Дальнего Востока, где служил её отец — морской офицер, пригласила группу ребят к себе на день рождения. Среди них были и мы с Велтой и Таней, и Валерий Московский, и ещё несколько человек, самых активных в классе, с которыми я общалась наиболее часто и тесно. Нам было уже по 13-14 лет — тот трудный переходный возраст, когда начинается самоутверждение личности во взрослом мире. Было как всегда: праздничный стол, игры и самое

волнующее и привлекательное тогда для нас — танцы (танго, вальс, фокстрот). Элла жила в одном из дворов улицы Дзирनावу в одноэтажном флигеле. В какой-то момент мальчики вышли во двор и закурили. Я на это даже не обратила внимания. На другой день в школе кто-то из учителей попросил меня отнести в учительскую стопку тетрадей. У директорского кабинета я столкнулась с родителями одной из своих одноклассниц Киры Р. Маленькая невзрачная парочка выходила от директора под руку с важным выражением лица. Увидев меня, они почему-то смутились и, отвернувшись, не ответили на мою «здравствуйте». Я удивилась, потому что мы были очень хорошо знакомы, я неоднократно бывала у них дома в огромной коммунальной квартире, пропитанной неистребимым запахом керосинок и горелого жира, вызывающим тошноту. Я удивилась ещё и потому, что родители в школе вообще появлялись очень редко, разве что если их «вызывали». Сама Кира была малоприятной остроносенькой, очень хитрой и льстивой девчонкой, она плохо училась, была совсем не умна, но жива и подвижна. Она оказалась в нашей компании, потому что от своей старшей сестры научилась хорошо танцевать и у неё было много модных по тем временам пластинок. Мы собирались у неё дома, и она выступала в роли угодливой учительницы танцев.

В тот же день после уроков весь класс задержали, и к нам вместе с классной руководительницей пришли директор и завуч. Они подняли с мест всех мальчиков, которые накануне были гостями Эллы Ивановны и устроили им разнос за то, что те курили. Курящие мальчики в те годы считались чуть ли не малолетними преступниками. Всем поставили двойки за поведение, пригрозили исключением из школы и вызвали родителей. Мы были потрясены суровостью наказания.

А на другой день для меня начался кошмар, о котором я много лет всё ещё вспоминала с горьким недоумением и который многое изменил не только в моих взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями, но и в самой себе. Началось с того, что Таня демонстративно пересела от меня на другую парту. На переменах от меня презрительно отворачивались. Я не могла понять, в чём дело. Всё разъяснилось после уроков. Когда я вышла из школы, меня окружила толпа одноклассников и стала скандировать: «Бойкот! Бойкот!» — «За что?!» — ничего не понимая, растерянно воскликнула я. И тут они как с цепи сорвались. На меня посыпался град издевательских оскорблений, среди которых я уловила главные: «Предательница! Доносчица!» Мне так никогда и никто из них впоследствии не сумел объяснить, на основании чего они сделали такой страшный для

меня вывод. Кто-то якобы предположил: «А не Короткова ли это?», и все вдруг согласились. Травля длилась долго, слишком долго. Мне не давали покоя нигде: ни на уроках, подбрасывая злобствующие записки, ни на переменах, окружая меня и выкрикивая оскорбления, ни после школы, когда постепенно истощающейся стаей меня преследовали до самого дома, строя рожи и кривляясь, пытаясь толкнуть и ушипнуть. Даже звонили домой по телефону и говорили гадости или по-дурацки мяукали. Я всегда была очень гордым человеком — в маму. А толпа в своей ненависти жаждет унижения и проявления слабости того, кого травит. Вот этого они от меня не дождались. Наверное, именно поэтому их столь жестокое развлечение, от которого они получали необыкновенное удовольствие, длилось так долго. Глядя в их кривляющиеся, искажённые лица, я презрительно улыбалась, по дороге домой молча уворачивалась от их рук, по телефону, выслушав в свой адрес все немыслимые гадости, так же молча клала трубку. Но в душе моей стояла ночь. Меня травилы мои лучшие друзья в классе, те, с кем я больше всего общалась, кому никогда не сделала ничего плохого, а наоборот, всегда стремилась помочь и быть полезной. Самым ужасным для меня была мысль о том, как Таня, Велта, Валерий и другие, так хорошо меня знавшие, могли даже допустить предположение, что я способна на предательство и доносительство.

Но не все оказались такими жестокими в своей несправедливости, как мои близкие друзья. Ко мне вдруг потянулись другие девочки, общением с которыми раньше я пренебрегала: Таня Тихвинская, некрасивая, маленькая и круглая, как колобок, тихая и скромная, рыжеволосая Женя Эйдельман, ласковая и мягкая, красивая Бэла Бим, живая и непосредственная Нина Быстрова. И они предстали не менее интересными и содержательными, чем моё прежнее окружение.

Я никому не жаловалась и своё горе несла в одиночестве. Мама долго не замечала моего подавленного состояния, но однажды поинтересовалась:

— Что-то давно я у нас не видела твоих друзей.

И тут я не выдержала и разрыдалась. Мама сначала испугалась, потом, когда я рассказала ей о своей беде, стала меня успокаивать, а на другой день пришла в школу. Класс опять задержали после уроков. Помню, как мама чуть дрожащим голосом с красными пятнами на щеках обратилась к классу. Как сейчас помню её слова:

— Многие из вас меня знают, бывали в нашем доме. Я даю вам честное слово, что моя дочь не совершила того, в чём вы её

обвиняете. Но кто-то это сделал, и если он не трус и подлец, пусть встанет и признается.

Никто не встал. Тогда мама обратилась к классной руководительнице:

— Я требую от вас, Мария Александровна, чтобы вы сказали детям правду.

Мария Александровна, преподаватель латышского языка, смутилась, суетливо задёргалась и беспомощно посмотрела на присутствующую тут же завуча Тамару Михайловну. Стоявшая в сторонке у дверей, та выдвинулась на передний план и, чеканя слова, заявила:

— Никто ничего не собирается вам объяснять. Тот, кто сказал нам об этом хулиганском поступке, выполнил свой долг. Но предупреждаю, что если вы не прекратите это безобразное и недопустимое издевательство над Коротковой, то мы примем соответствующие меры.

Я понимала, что это собрание показало мою слабость, ведь в глазах моих теперешних врагов я прибегла к защите мамы, и это не может не вызвать новых насмешек и издевательств с их стороны. Так оно и получилось. Но пыл их уже угас, и не потому, что они испугались угроз завуча или поверили словам мамы. Они неожиданно для себя обнаружили, что я больше не нуждаюсь в их обществе, что у меня появились новые друзья и мне с ними хорошо и интересно, а вот им вдруг стало скучно с самими собой.

Конечно, меня занимал вопрос, а кто же действительно был тем, чью вину взвалили на меня. И тут я вспомнила встретившихся мне у кабинета директора родителей Киры, выражение чувства исполненного долга на их лицах и всё поняла. Но доказательств у меня не было.

Несколько лет спустя случайно мы встретились с Кирой на улице в Минске, где я тогда жила и куда она приехала к своим родственникам. Кира бросилась мне на шею. И тут я спросила её в упор:

— Скажи, это ты тогда рассказала родителям?

Глазки у неё забегали. Смущённо захихикав, она небрежно ответила:

— Столько времени прошло, нашла о чём вспоминать.

Я повернулась и ушла.

Всё, что случилось со мной, заставило меня о многом задуматься. Я пыталась понять причины происшедшего, найти этому объяснение. Но я ещё слишком мало знала и не обладала жизненным опытом. Я спросила у мамы. Она сказала мне:

— Есть такое страшное чувство — зависть. Никогда никому и ни в чём не завидуй. Но старайся, чтобы и тебе люди не завидовали.

Я не понимала.

— Но в чём мне можно завидовать? — удивилась я.

Она засмеялась:

— Просто ты лучше, чем они.

— Так что же, я должна стать хуже?

— Нет, но не надо демонстрировать другим своё превосходство, люди этого не любят, их это обижает.

Чувства зависти я не знала никогда. Чужим успехам радовалась, чужими талантами восхищалась, поэтому мне трудно до сих пор понять психологию завистников. А вот слова мамы о превосходстве заставили меня задуматься. Я вспомнила, как мне иногда говорили одноклассники: «Ну и зазнайка ты, Короткова!», и поняла, что в чём-то виновата сама. Это чувство собственной вины заставило меня простить своих обидчиков, и когда Таня вдруг снова села рядом со мной за парту, а Велта как ни в чём ни бывало подошла ко мне на перемене, я не отвернулась, а повела себя так, как будто ничего не случилось и ничего не было. Но это проявилось чисто внешне, в глубине же моей души я не могла примириться с их изощрённой жестокостью, которая принесла мне столько горя. Наши отношения возобновились, но они уже не были прежними. У меня появились другие друзья, с которыми теперь я и проводила свое свободное время. Общаясь с ними, я сделала много новых для себя открытий.

Однажды одноклассница Женя Эйдельман пригласила меня после школы к себе домой. Она открыла квартиру ключом, мы пошли по длинному коридору, и я поняла, что это густонаселённая коммунальная квартира. Женя подошла к одной из комнат и вставила ключ в замочную скважину, но дверь открылась сама. Недоумевая, Женя вошла в комнату, и я услышала её радостный крик: «Папа! Ты приехал?!» В небольшой, тесно заставленной комнате за накрытым столом на диване сидели Женина мама, яркая, красивая, с сияющим лицом, такая же рыжеволосая, как дочь, и крупный, красивый морской офицер в чёрном военном распахнутом кителе. Женя кинулась в его объятия. Я догадалась, что её отец вернулся из долгого плавания. Смутившись, я хотела уйти, но меня непустили, усадили за стол, о чём-то расспрашивали, я стеснялась, мне казалось, что я мешаю семейной встрече. Потом Женин папа взял в руки гитару и сильным, приятным баритоном стал петь незнакомые мне флотские песни. Женина мама, не сводившая с него любящих восхищённых глаз, начала ему подпевать. Он был весел, радостно возбуждён, иногда подмигивал нам с Женей, прерывался, чтобы отпить из бокала вино или поцеловать жену. Это

был необыкновенно привлекательный, артистичный и обаятельный мужчина. Я пришла от него в полный восторг. Через некоторое время он достал из бумажника деньги, протянул их Жене и сказал:

— Ну, Жека, сходите-ка с подружкой в кино, полакомьтесь мороженым, а мы тут с мамой поскучаем вдвоем.

Они с женой посмотрели друг на друга, и я буквально ощутила, как задрожал воздух между ними от сжигающего их любовного пламени. Такое я видела впервые в жизни.

— Женька! — с восхищением воскликнула я, когда мы вышли на улицу. — У тебя потрясающий отец! И мама такая красивая.

Она с гордостью кивнула:

— Все так говорят.

А потом вздохнула и грустно добавила:

— А я вот некрасивая...

Действительно, Женя была незаметной и своей внешностью никогда в классе не привлекала внимания, разве иногда, поддразнивая, мы называли её «рыжиком». Но тут я довольно бесцеремонно стала её разглядывать и увидела под тонко нарисованными бровями большие тёмно-рыжие в крапинку, совершенно необыкновенные глаза, удивительно чистую, с кремовым оттенком матовую кожу — ни у кого такой не было — и убеждённо возразила:

— Неправда! Ты необычная и очень даже симпатичная, а станешь, если не красавицей, то очень интересной женщиной, вот увидишь!

Я говорила совершенно искренне, она это поняла и с благодарностью посмотрела на меня.

Пригласила меня к себе домой и другая моя одноклассница — Нина Быстрова, маленькая, худенькая, шустрая девочка, которую мы про себя звали «зайчиком», потому что на новогоднем празднике в роли зайца она очаровала всех, обыгрывая свой маскарадный костюм. Она пришла к нам в класс, оставшись на второй год, держалась робко и стеснённо, и мы про неё ничего не знали. Однажды на уроке физкультуры из-под футболки у неё выскочил крестик, который она носила на шее. Это вызвало у всех недоброжелательное удивление и презрительный смех. Ведь большинство из нас были пионерами, готовились к вступлению в комсомол и в бога не верили, более того, как пионеры и будущие комсомольцы мы были обязаны осуждать и даже «бороться» с такими «пережитками прошлого», как религия. Нина покраснела, потом заплакала и выбежала из спортзала. Так как пионеркой она не была, «прорабатывать» её не стали, но отношение к ней установилось пренебрежительное.

Оказалось, что она живёт по соседству со мной, и мы иногда вместе возвращались домой из школы. Отзывчивая и смешливая, Нина резко грустнела, когда речь заходила об учёбе.

— Не получается у меня, я стараюсь, а мама бьёт меня, — пожаловалась она как-то.

Я была поражена:

— Как бьёт? А отец?

— У меня нет отца, — тихо ответила Нина.

Мне стало её жалко, и я предложила ей вместе делать уроки. Она стала приходить к нам домой. Мы вместе обедали, потом занимались и часто по вечерам гуляли около дома. Она исправила двойки, приободрилась, повеселела и как-то сказала:

— Бабушка хочет с тобой познакомиться.

Жила Нина на первом этаже в полуподвальном помещении, окна которого выходили в узкий мрачный двор-колодец. Помню, был ясный солнечный день, но в квартире было темно. Бедность их жилища меня поразила. Всё было ветхим и убогим: примитивная мебель, незастеленные кровати без постельного белья, тускло горящие лампочки без абажуров, вылинявшие ситцевые занавески на окнах. Сырой, затхлый воздух. Мама Нины, худенькая миловидная женщина с опухшим лицом алкоголички приветливо встретила меня, смущенно отворачиваясь одной стороной лица с большим синяком под глазом.

— Очень рада, что у Нины теперь такая хорошая подруга, — хрипловатым, прокурренным голосом сказала она.

Откуда-то из тёмного угла появился подросток-кореец, постарше нас с Ниной, кивнул мне.

— Это Пак, мой брат, — представила его Нина.

В комнату вошла, подслеповато щуря глаза, маленькая старушка.

— А вот и бабушка, — сказала Нина. — А это Наташа, — познакомила она нас.

Я растерялась. Всё здесь было для меня странным и непривычным, и обстановка, и эти люди производили гнетущее впечатление. Я была подавлена, и мне хотелось поскорее уйти.

— Вот так я живу, — тихо произнесла Нина и посмотрела на меня извиняющимся, но одновременно испытующим взглядом.

Я огляделась и спросила:

— А где ты делаешь уроки?

Бабушка засуетилась:

— Пойдем, Наташенька, в нашу с Ниночкой комнату.

И мы пошли во вторую комнату, такую же убогую и тёмную. Войдя, я остолбенела. Один угол был весь завешан иконами, и перед ними горела маленькая свечка. Старушка подошла к ним и, истово перекрестившись, обернулась ко мне:

— Ты пионерка, в бога не веруешь, но я за тебя молюсь и буду молиться. Дочь моя пьяница и проститутка, Пак — хулиган и воришка, одна Ниночка свет в окошке. Она тебя любит и уважает, не бросай её, дружи с ней.

Я потрясённо молчала. Она меня перекрестила.

В тот же вечер я спросила у мамы:

— Может быть, Бог всё-таки есть?

— Нет, — ответила она.

— А как это можно знать наверняка? — не унималась я.

— Наверняка никто ничего не знает.

— Тогда почему ты так уверена?

— Потому что это не доказано. Кто верит, для того он есть, кто не верит, для того его нет.

— А почему ты не веришь?

— А потому что в детстве меня бабушка с ремнём заставляла учить молитвы и бить поклоны. А под ремнём к Богу не придёшь.

— А если не ходить в церковь, не знать молитв, можно верить?

— Можно.

Больше на эту тему мы с ней не говорили, и вопрос о Боге так и остался для меня на долгое время за семью печатями.

Близко сошлась я с ещё одной своей одноклассницей — Бэлой Бим. Её родители были учителями в какой-то другой русской школе. Наверное, поэтому Бэла всегда очень вежливо и предупредительно общалась с нашими преподавателями и идеально вела себя на уроках. Это была статная, эффектная девочка с ярко выраженными красивыми еврейскими чертами лица, единственная среди нас, общавшаяся с чужими, старшими по возрасту мальчиками за пределами школы. Нам она не нравилась, мы часто её дразнили «подлизой» и подхалимкой, иногда даже доводили до слёз. Были и такие, кто позволял себе в её адрес антисемитские высказывания. В общем, классную нелюбовь к себе она испытала в полной мере. И именно Бэла в самый разгар моей травли, первая, очень мягко и деликатно оказала мне поддержку и протянула руку дружбы.

Узнав её ближе, я со стыдом осознала, как жестоки и несправедливы были все наши выпады в её адрес. Наверное, главными чертами её характера были абсолютная безвредность и полнейшая

безобидность. Ни разу я не слышала от неё плохого или осуждающего слова по отношению к кому-либо, хотя посплетничать она любила, но делала это беззлобно, с доброжелательным любопытством. Ко мне относилась исключительно чутко и сердечно. У неё был хороший голос, а я уже вполне сносно играла на рояле, и мы с ней вдвоём у меня дома часто пели и музицировали. Пели и задорную «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер», и грустную «Эх, дороги, пыль да туман», любимую мамину «Прощайте, скалистые горы». Но больше всего любили неаполитанские песни и романсы, у Бэлы особенно хорошо получалась «Санта Лючия», она её выучила даже на итальянском языке. Иногда к нам присоединялась и мама. Все мы получали от этого большое удовольствие.

Как-то я не выдержала и сказала ей:

— Бэлка, я перед тобой очень виновата.

Она удивилась.

— Ну, помнишь, как мы тебя дразнили и вообще...

Она покраснела. Тут мне стало совсем нехорошо.

— Прости меня, — пролепетала я. — Теперь я тебя так хорошо понимаю.

Бэла ответила серьёзно и лаконично, но с удивительно мягкой интонацией:

— Я рада.

Так же сердечно ко мне отнеслись её родители и бабушка, которая всегда стремилась меня угостить чем-нибудь вкусным, как она говорила, «нашим, национальным». Обидеть отказом я не могла, но оценить её кулинарные еврейские изыски была не в состоянии, особенно рыбные блюда, так как у нас дома, кроме селёдки и шпрот, рыбу не ели. До сих пор с ужасом вспоминаю, как застревали у меня в горле её фирменная фаршированная щука со сладкой морковкой и какие-то особенные, насквозь пропитанные подсолнечным маслом, жареные пончики.

Как и Ира Ильгисонис, Бэла была очень женственной, уделяла внимание своей внешности, следила за модой. В это время уже начали появляться первые «стиляги»: юноши в брюках-дудочках, в клетчатых, широкоплечих пиджаках, с пёстро разрисованными галстуками и обязательным коком на голове; девушки с причёской «конский хвост», узкими в обтяжку юбками и декольтированными блузками. На общем сером и скромном привычном фоне их яркий внешний вид казался вызывающим. Карикатуры на «стиляг» заполонили страницы не только самого популярного тогда сати-

рического журнала «Крокодил», но и всех остальных изданий. Их обвиняли в подражании «тлетворному духу загнивающего капитализма», им объявили настоящую войну. Особенно неистовствовали комсомольцы-дружинники, совершавшие вечерами рейды по городу. Они задерживали ненавистных им «стиляг», приводили их в свой штаб и, вооружившись ножницами, резали их брюки. «Стиляги» были фактически беззащитны, но держались стойко и сдаваться не собирались. Нам была тогда ещё непонятна психологическая подоплёка их противостояния, но мы им сочувствовали, хотя их внешний вид, возможно под влиянием карикатур, нам не нравился, но зато мы были в полном восторге от их любимого танца — буги-вуги. Загораживающая необычность ритма, экстравагантность музыки, бешеный темперамент раскрепощённых партнёров сводили нас с ума. Танцевать буги-вуги — это был высший пилотаж. Кроме Бэлы, этого не умел никто из нас. Бэла раньше всех из девочки превратилась в девушку. На улице на неё стали обращать внимание юноши, и в этом отношении я остро чувствовала её превосходство.

Под влиянием Бэлы я стала часто смотреться в зеркало, и оно меня не утешало. Неопределённый, какой-то пепельный цвет волос — ни брюнетка, ни блондинка, узкие «чувашские», но почему-то не карие, как у папы, а зелёные глаза, крупные губы, бледный цвет лица...

— Я совсем некрасивая, да? — спросила я у мамы.

— С чего это ты взяла? — удивилась она.

— Мне так кажется.

— Видишь ли, Талочка, — провела она со мной беседу, — красота — понятие относительное. Вот Рая Чернова или актриса Алла Тарасова отличаются классической красотой. Но таких мало. Типы красоты есть самые разные, судить о том, какой тип лучше, бесполезно, это дело вкуса. На мой взгляд, главное — это какая-то особенность, своеобразие, а этим ты как раз обладаешь. Так что за свою внешность не переживай.

Но мамины слова меня не успокоили. Кроме того, главное беспокойство мне стал доставлять мой рост. К седьмому классу я почти переросла всех мальчишек-ровесников. Решив смириться, я успокаивала себя тем, что внешность не основное в человеке.

В один из летних дней мы с Бэлой прогуливались по главной улице Дзинтари. Навстречу нам шла компания молодых людей. Они громко разговаривали и смеялись. Подойдя к нам ближе, замолчали и уставились на нас, а потом кто-то из них негромко произнёс:

— Посмотрите, какая девка! Восторг!

«Бэла опять привлекла внимание», — подумалось мне, и я подавила грустный вздох. Когда компания осталась позади, Бэла, смеясь глазами, толкнула меня в бок:

— Ты произвела впечатление.

Сначала я даже не поняла её слов, а потом не поверила и обиделась:

— Глупая шутка!

— Какая шутка? Я серьёзно. Они говорили про тебя, честное слово!

— Ты думаешь? — недоверчиво протянула я.

— Тут и думать нечего! Это абсолютно точно.

Бэла остановилась, развернула меня лицом к витрине магазина и ласково произнесла:

— Посмотри на себя, если не веришь.

В тёмном стекле витрины я, разумеется, ничего не могла рассмотреть, но в душе моей что-то ликующе завибрировало. Бэла, конечно же, говорила правду, ей незачем было меня обманывать. Самым важным было то, как она открыто и щедро, без малейшей уязвлённости порадовалась за меня. Это так очевидно отразилось на её лице, что я была растрогана почти до слёз.

Этот мелкий и, казалось бы, незначительный эпизод я часто вспоминала впоследствии. Бэла стала как бы крёстной матерью момента моего превращения из гадкого утёнка в привлекательно-го лебедя. Никакие другие многочисленные комплименты по поводу моей внешности, которые мне позднее расточали художники, скульпторы, режиссёры, не могли сравниться по силе испытанного мной чувства внутренней удовлетворённости с этой случайно брошенной на улице фразой.

Домой я летела как на крыльях. Мама сидела, увлечённо читая какую-то книгу.

— Меня называли девушкой Восторг, — закричала я с порога.

Она подняла голову, посмотрела на меня и сказала:

— Тебе очень идёт загар.

* * *

Дом, в котором мы жили на улице Карла Маркса, находился в районе Риги, который нельзя назвать представительским. Народ здесь жил поскромнее, и латышей было больше, чем русских. С соседями мы почти не общались, русских среди них было мало. Через дворника

мама нашла среди соседей помощницу по домашнему хозяйству, которая приходила к нам убирать квартиру, стирать, мыть окна. Её звали Зента. Некрасивая, мужеподобная, с большими натруженными, всегда красными руками, она плохо говорила по-русски, но с мамой они понимали друг друга. Зента очень старалась угодить маме, делала свою работу тщательно и добросовестно. Жизнь у неё была нелёгкой. Муж погиб на войне, воюя на стороне немцев, и она одна, не имея никакой профессии, растила сына, зарабатывая где можно. Мама её жалела, держалась с ней запросто, но Зента поначалу на сближение не шла, все время чего-то опасалась, с мамой вела себя чрезвычайно почтительно и даже униженно, называя её не иначе, как мадам Мария. Впрочем, так вела себя вся латышская обслуга. Затем она освоилась, осмелела и даже позволяла себе иногда шутить, громко заливаясь грубым смехом. Сын её был старше меня года на два, крепкий, коренастый, с простым грубоватым лицом, он верховодил всеми латышскими дворовыми мальчишками в нашем квартале, и звали его Адольф. Имя по тем временам многозначительное и даже опасное.

— Да, — призналась Зента маме, — этот дурак, его отец, так назвал его в честь Гитлера. Он ему поклонялся. А теперь и сам погиб, и сын страдает. Будь он проклят, этот Гитлер!

В один из зимних вечеров совершенно неожиданно Адольф вдруг подошёл ко мне на улице, когда я возвращалась из школы.

— Познакомимся? — чуть вызывающе спросил он.

— Познакомимся, — заинтригованно ответила я ему.

Впервые за все годы жизни в Латвии я, что называется, вступала в дружеский непосредственный контакт с одним из представителей латышской молодежи.

— Меня зовут Адольф, — важно представился он. — А тебя Наташа, так?

— Так, — смеясь, подтвердила я.

— Моя мать у вас работает, — посчитал нужным пояснить он, видимо, не зная, что ещё сказать.

— Знаю, — кивнула я.

Изобразив, что польщён, он нарочито удивился:

— Ты меня знаешь?! Йохайды!

— А что означает это слово — йохайды? — поинтересовалась я.

Он засмеялся, согнулся и хлопнул себя по бедрам:

— Ты не знаешь?!

Я отрицательно покачала головой. Тогда он смутился и, помешав, сказал:

— Ну, как это по-русски? Ёлки-палки?

Мне показалось, что он врёт. Наверное, это было какое-нибудь латышское ругательство. Хотя Велта уверяла меня, что в латышском языке ругательств, а тем более мата нет вообще.

С этого вечера он часто поджидал меня за несколько кварталов от дома и провожал до самой двери квартиры. Первое время мы осторожно, с любопытством прощупывали друг друга, а потом у нас установились хорошие товарищеские отношения. Иногда на расстоянии за нами следовала стайка его приятелей, они явно пытались на латышском языке издевательски подшучивать над нами, он, оборачиваясь, беззлобно грозил им кулаком, а мне говорил:

— Не обращай внимания, они неплохие пацаны, завидуют просто.

— А что они говорят? — интересовалась я.

— Ну, как это по-русски? Жених и невеста? Дурачки!

Когда он первый раз взял в руки мой портфель, то удивился:

— Какой тяжёлый! Много учишься? Ты, наверное, отличница.

А я вот плохо учусь.

— Почему? — спросила я.

— А зачем мне? Я скоро работать пойду.

Ему очень понравилось, когда я предложила ему говорить между собой на латышском языке, чтобы мне лучше и быстрее его освоить. Но то ли он оказался неважным учителем, то ли я плохой ученицей, но мы вскоре снова перешли на русский.

Я никак не могла и не хотела называть его Адольфом.

— Можно я буду называть тебя Адик? — спросила я как-то и добавила бестактно: — А ты не хочешь поменять своё имя?

Он вздохнул:

— Да, папочка подложил мне свинью, это так. Но отец есть отец. Нет, имя менять не буду.

Конечно, у меня с ним было мало общего, но не меньше, чем с любым русским дворовым парнишкой. Скоро он, действительно, бросил школу и устроился работать на какой-то завод. Теперь мы виделись редко, но искренне симпатизировали друг другу и тепло расстались, когда я уезжала в Минск.

* * *

Последнее яркое впечатление от моего пребывания в школе № 10 — это новогодний Ситцевый бал.

После седьмого класса многие мои одноклассники, завершив обязательное среднее образование, покинули школу: кто продолжать учёбу в техникумах и училищах, кто начинать свой трудовой путь. Остальные, перейдя в восьмой класс, влились в когорту старшеклассников. Теперь мы были полноправными участниками школьных вечеров в основные праздники года: 7 ноября, Нового года и 1 мая. В такие вечера все старшеклассники собирались в просторном актовом зале школы с большими, широкими окнами, высоким потолком, огромной красивой люстрой, с блестящим светлым паркетом и большой настоящей сценой, на которой стоял старинный чёрный рояль. Сначала была торжественная часть, где директор, Надежда Николаевна Ликсашина, называла лучших учеников и вручала им похвальные грамоты и подарочные книги с её собственноручной, безупречно каллиграфической, благодарственной надписью. Затем был самодеятельный концерт, как правило, очень нами любимый, потому что в школе было много талантливых ребят. Ну, а потом — танцы.

Новый 1957 год в школе решили отметить по-новому. Всю организацию вечера доверили десятиклассникам — выпускникам этого года. Учителя ни во что не вмешивались, только одобрили саму идею Ситцевого бала. Это означало, что всем ученицам школы необходимо было прийти на бал в ситцевых вечерних платьях, сшитых самолично и по собственному фасону. Во время парадного марша-прохода по залу члены жюри должны были выбрать победительниц этого праздничного конкурса с вручением им особых призов. Впервые в школу пригласили со стороны студенческий музыкальный джазовый ансамбль, исполняющий все самые захватывающие дух новинки не только нашей, но и западной эстрады, в основном американской. Всё это было необычным не только для нашей школы, но и вообще для школьной жизни города. Наступившая после смерти Сталина «оттепель» пришла и в нашу школу.

Мода тех лет была необыкновенно женственной. Круглое или треугольное глубокое декольте, пышные рукава, плиссированные или с оборками расклёшенные юбки, стянутые на талиях разноцветными яркими широкими поясами, изящные туфли-лодочки на высоком каблуке и капроновые, с тонким декоративным швом чулки. Стремительно ворвалась в моду юбка-колокол, особенно после фильма «Карнавальная ночь», где блистала Людмила Гурченко. И вот всё это модное великолепие предстало перед нами на школьном балу. Всеобщее приподнятое настроение, азарт, восхищение, аплодисменты, размягчённые, помолодевшие, весёлые лица учи-

телей. Ну, а потом танцы. Сначала вальс, в котором закружились все, дальше больше, и, наконец, — долгожданные буги-вуги. Вся школа ходила ходуном. Учителя только головами качали. Сегодня этим никого не удивишь, но в то время директор школы пошла на большой риск. О «безобразии, которое творилось в школе № 10», написали в газете. В результате она получила выговор, и её чуть не сняли с должности. Об этом я узнала, уже находясь в Минске, из письма, которое мне прислала Таня.

Встретила новый год я в Риге, но жить мне уже предстояло в Минске. Папа, наконец, получил квартиру, и мы решили переехать на новое место жительства в зимние каникулы.

Было, конечно, немного грустно расставаться с Ригой и друзьями, но я радовалась, что мы теперь будем снова с папой, и с любопытством предвкушала новые впечатления, связанные с переменами в нашей жизни. Мама грустила, даже плакала, и, расставаясь с многочисленными друзьями и знакомыми, всем говорила:

— Мы вернёмся.

В тот год зима стояла тёплая и мягкая, с дождями и почти без снега. Поэтому было решено, что мы с папой поедem в Минск на машине, а мама приедет позднее на поезде вместе с багажным контейнером. Мы продали мебель, рояль и уезжали налегке.

Прощай, Рига, прощай, Латвия! Впереди нас ждал Минск — Белоруссия.

Часть вторая

Оттениль в провинции

Минск, 1957–1963

В один из первых дней января 1957 года рано утром мы с папой на нашем новом «Москвиче» выехали из Риги. Нам предстояло проехать до Минска 600 километров. Провожая нас, мама волновалась. Папа же был радостно возбуждён.

— Муся, не беспокойся. Самое позднее в восемь вечера мы уже будем в Минске, утром получишь от нас телеграмму, — успокаивал он маму.

Я тоже радовалась предстоящему путешествию: проехать через три республики, увидеть новые города, вдвоём с папой, да ещё в надежде сменить его за рулём — всё-таки путь неблизкий.

Было ещё темно, когда мы выехали из Риги. Моросил мелкий дождь. Дорога блестела в свете фар. Потом дождь перестал, но день был пасмурным, и в воздухе висела изморось. Узкое шоссе было пустынным, и папа ехал на скорости 80 км/час, почти максимальной для первого советского «Москвича» — точной копии немецкого «Опель-Кадекета».

На подъезде к Литве папа остановил машину и сказал:

— Сходим в кустики. Дальше лучше не останавливаться на дороге.

— Почему? — удивилась я.

— Всех военных проинструктировали: в Литве до сих пор балуют «лесные братья», на дорогах бывают засады. Это тебе не Латвия...

— Ну уж... — не поверила я.

— Не ну уж, а бережёного Бог бережёт.

Небо постепенно светлело, прояснялось, и иногда даже проглядывало солнце. Стало подмораживать. Дорога блестела. Я как сейчас помню это место. Мы одолели подъём и ехали по открытому, похожему на виадук шоссе, пересекающему глубокую долину. Папа решил снизить скорость и слегка притормозил. Нас резко раскрутило и бросило в сторону. Затем последовал сильный удар. Машина замерла на самом краю обочины, у кромки обрыва. Мы вышли и, поскользнувшись, чуть не упали. Блестящий асфальт, который мы считали мокрым, представлял собой сплошной ледяной каток. Нас спасло чудо — молоденькая берёзка — одна-единственная на всём пустом, открытом пространстве шоссе. Как, каким образом она выросла здесь, чтобы спасти нашу жизнь, знает один Бог. Машина врезалась в неё задним бампером точно посередине. Когда я посмотрела вниз, у меня закружилась голова и задрожали колени.

— Да-а, — дрогнувшим голосом заметил папа, — тут костей не собрать было бы.

Он удивлённо качал головой, глядя на тонкий ствол берёзки, задержавший машину и предотвративший тем самым нашу неминуемую гибель. Потом сказал мне:

— Запомни: никогда не тормози на скользкой дороге.

— Как же мы поедem по этому льду? — со страхом спросила я.

— На цыпочках, — ответил папа.

Мы осторожно тронулись с места, и тут под машиной раздался сильный, неприятный механический стук. В устройстве машины папа не разбирался, а потому меланхолично заметил:

— В Каунасе заедем на станцию техобслуживания.

Так мы и ехали — на скорости 30 км/час, под громкий, непонятный стук по зеркально блестящему льду. Шоссе было по-прежнему пустынным.

В Каунасе нам сказали: повреждён кардан. Был уже вечер, у механиков заканчивался рабочий день.

— Утром сделаем, — заверили они.

— До Минска доеду? — спросил папа.

Они скептически на него посмотрели:

— Ночью? Зимой? На сломанной машине? С ребёнком? Рискуете, товарищ полковник!

— Поехали, — сказал мне папа.

Чем ближе мы подъезжали к Белоруссии, тем становилось холоднее. Потом повалил снег, началась метель. В темноте сквозь крупные хлопья снега мы еле разбирали дорогу. После Вильнюса начались заносы. Периодически нам приходилось останавливаться и лопатой, которую папа всегда предусмотрительно держал в машине, разгребать наметённые сугробы.

Мы въехали в Минск под утро. Вошли в пустую новую квартиру. Папа откуда-то вытащил два матраса и кинул их на пол. Мы повалились на них, укрывшись пальто, и заснули мёртвым сном.

* * *

Встреча с Минском не была для меня первой. Уже дважды мы с мамой проводили здесь мои летние каникулы. Артиллерийское училище, в котором служил папа, на лето выезжало в летние лагеря под деревеньку Волму. В прекрасном белорусском лесу разбивался целый военный лагерный городок. Курсанты и младшие офицеры жили в

больших благоустроенных палатках, а для начальника училища генерала Сластюнина и трех его замов на красивой большой поляне, расположенной поодаль от лагеря, были построены щитовые дачные домики, где они жили вместе с членами семьи. Из детей моего возраста там был только один мальчик Коля Гладких, с ним мы и проводили всё время, в основном блуждая по лесу в поисках ягод и грибов. Однажды, заблудившись, мы обнаружили бывшую стоянку партизанского отряда времён Отечественной войны. Долго обследовали заброшенные землянки и окопы — это было волнующее приобщение к истории. Но вообще мне там было очень скучно. Единственное развлечение — вождение машины по лесным дорогам, когда я, можно сказать, в совершенстве овладела способами езды и по глубоким колеям, и по огромным лужам, и по почти непроезжей грязи.

Во время войны Минск был сильно разрушен. От него мало что осталось: довоенной постройки помпезный Дом правительства, довольно претенциозное здание Академии наук, кусочек ещё дореволюционного центра под названием Немига, по которому можно было представить в общем-то глубоко провинциальный исторический облик этого города.

Восстанавливали и отстраивали Минск с размахом и быстро. Город собирался вокруг центрального проспекта имени Сталина, вскоре переименованного в проспект имени Ленина. При выезде из Минска на Вильнюсское шоссе на этом проспекте стояли два больших длинных жёлтых дома, называемых «сталинскими». Эта была самая окраина города, рядом — конечная остановка троллейбусов. В одном из этих домов мы и поселились. Кругом были пустыри и поля, а напротив — большой лесопарк имени Челюскинцев. К нему примыкал Ботанический сад.

За те пять лет, что я прожила в Минске, он изменился до неузнаваемости, превратившись в крупный, вполне столичный город с большими площадями, гранитной набережной по небольшой реке Свислочь, ухоженными парками и скверами, многочисленными жилыми микрорайонами, новыми современными корпусами заводов, институтов, больниц, гостиниц. Всё это проектировалось и обустраивалось, функционировало и развивалось благодаря большому количеству специалистов самых разных профессий, которых Минск вербовал по всему Советскому Союзу, особенное внимание уделяя молодым кадрам. Им предоставляли прекрасные бытовые и материальные условия, возможности для творческого и карьерного роста. Огромный приток хорошо образованных людей инженерно-

технических и научных, гуманитарных и творческих специальностей, особенно из Москвы, Прибалтики и Ленинграда, позволил в очень короткие сроки создать свою местную минскую интеллигенцию.

Покидая Минск в 1963 году, я уезжала из города, в котором жилось удобно, приятно и цивилизованно. И тем не менее я была рада, что оставляю его. Объяснить почему — трудно. Ну как объяснить, например, почти физиологическое отторжение от местного языка? Каждое утро: «Гаворыть Минск! Таварышы радыёслухачи...»

Мы с мамой так и не сумели полюбить этот город. Ей было особенно тяжело первое время. Помню, как она однажды вернулась откуда-то домой на грани истерики. Сняла своё новое светло-бежевое пальто, испорченное чёрными мазутными пятнами и заплакала. «Где это ты так сумела испачкать пальто?» — удивилась я. Оказывается, в переполненном троллейбусе рядом с ней оказался рабочий в грязной спецовке, измазанной мазутом. Мама сделала ему замечание, что, мол, рабочую одежду надо снимать, а не пачкать ею окружающих, и тогда он специально потёрся об её пальто, а когда она возмутилась, назвал барыней, которой, если не нравится в общественном транспорте, надо ездить в такси. Самым обидным для мамы было то, что пассажиры поддержали не её, а «рабочий класс». И сам факт, и фраза о такси достаточно типичны и характерны для ситуации в общественном транспорте того времени, такое могло случиться в любом автобусе любого города Советского Союза, но только не в Прибалтике. К хорошему быстро привыкаешь, а возврат к плохому переносится болезненно.

От тоски по Риге маму отвлекали хлопоты по устройству квартиры. Постепенно она стала привыкать к новой жизни, которую скрашивали новые знакомства — мои родители обладали счастливым даром быстро обрывать друзьями. Новые впечатления захватили и меня.

Обсуждая на семейном совете вопрос о том, в какую минскую школу мне поступать, мы приняли весьма легкомысленное решение — в ближайшую. Ближайшая школа располагалась в соседнем дворе. Сейчас я даже не могу вспомнить её номера. Время, которое я в ней проучилась, было потерянным временем. Домашние задания я выполняла за полчаса. На уроках достаточно было ответить на пару вопросов, чтобы получить пятёрку. Из всех учителей я смутно помню только очень симпатичного учителя математики и замечательную, совсем молодую учительницу по истории, с которой мы постоянно дискутировали на уроках о внешней и внутренней политике Совет-

ского Союза, а остальные в классе с любопытством нас слушали. Я провоцировала её на разговоры обо всех острых моментах истории, ставших известными после XX съезда, о венгерских событиях 1956 года, об отношениях с Китаем и о том, что узнавала из «вражеских голосов» по радио. Она была молодец. Никогда не уходила от ответов, и во многом мы с ней сходились во мнениях. Кроме того, она обладала чувством юмора, педагогическим тактом и политической смелостью. Я её очень любила. Благодаря этим дискуссиям я нашла в классе своих единомышленников — Серёжу Ханженкова и Линду Трейер, которые постепенно тоже начали активно выступать на уроках по новейшей истории с весьма каверзными по тем временам вопросами.

Линда на долгие годы стала моей ближайшей подругой, а судьба Серёжи сложилась трагически. В школе он считался одарённым математиком, легко поступил в Минский политехнический институт. Там он создал подпольную студенческую антисоветскую группу, которая решила взорвать глушительную вышку в центре Минска, создающую помехи для прослушивания «вражеских голосов». Разумеется, в группе был доносчик, их арестовали в тот момент, когда они приступали к совершению «диверсии». Его осудили, кажется, на 15 лет. Когда всё это произошло, меня в Минске уже не было, об этом со всеми подробностями мне написала в Ленинград Линда.

Здание школы было новым, но эстетически убогим. Стены, выкрашенные серой масляной краской, пол, намазанный грязно-коричневой мастикой, отсутствие актового зала (все мероприятия проводились в коридоре) и хорошей библиотеки, неудобная голая столовая — всё это не способствовало моей привязанности к новой школе.

Одноклассники встретили меня очень дружелюбно и приветливо. Некоторые из них жили в нашем доме, принадлежали к семьям военных. Со многими я сразу стала общаться, ходить вместе на каток, в кино — в общем, от одиночества не страдала, скорее наоборот, но близкой дружбы ни с кем не возникло. Никто в классе не вызывал у меня активного интереса. Большинство моих минских ровесников жили какой-то бездумной, растительной жизнью. Так прошло полгода.

Однажды папа пришёл домой взволнованный. Ему предложили новую должность — командира небольшой воинской части в Германии. Это было очень соблазнительное предложение, сулившее нашей семье материальное благополучие. Мама схватила за голову:

— Опять жить врозь! И зачем же мы уехали из Риги?!

Я тоже расстроилась, но папа сумел нас убедить, что отказываться глупо. Ему 52 года, скоро он сможет выйти в отставку, а три года

службы в ГДР обеспечат нам на долгие годы безбедное существование: ведь его пенсия будет зависеть от величины зарплаты на последней занимаемой должности. Через некоторое время он уехал, и мы с мамой снова остались вдвоём.

Я чувствовала, что жизнь моя проходит как-то неполноценно и непродуктивно. Уже пора было думать о будущей профессии, выбирать институт и факультет. Но в голове у меня царил кавардак. В те годы на страницах самого популярного молодёжного журнала «Юность» развернулась широкая дискуссия о том, кто более нужен стране: «физики» или «лирики». Спор развивался бурно и захватывающе интересно, ни одна сторона не хотела уступать другой, выдвигая в защиту собственной позиции самых ярких и прославленных своих адептов. Как и многие другие, я с интересом читала все материалы этой дискуссии, хотя для себя сделала, наверное уже давно, бесспорный вывод: я «лирик».

Я по-прежнему мечтала стать журналистом. Чтобы лучше разобраться в этой профессии, стала посещать школу юнкоров при газете «Знамя юности», в которой даже напечатали две моих маленьких информационных заметки о каких-то малозначительных событиях школьной жизни. Но на пути к факультету журналистики стояла серьёзная преграда. Принимали только абитуриентов с рабочим стажем не менее двух лет. То же касалось и таких профессий, как театроведение и искусствоведение. Государство почему-то считало, что выпускники школ, не имеющие опыта трудовой жизни, не могут стать в этих областях полноценными специалистами. Между тем конкурсы на эти факультеты были огромными — около 20-25 человек на место. Меня это не пугало, но мои родители были категорически против того, чтобы я теряла два года. «Начнёшь работать, выйдешь замуж и останешься без высшего образования», — вот были их доводы. Тогда я задумалась о профессии переводчика. «Железный занавес» был снят, начали возникать первые контакты с зарубежьем, знание иностранных языков не только входило в моду, но и приобретало жизненно необходимый характер. Интерес к немецкому языку возник у меня и в связи с папиным пребыванием в Германии. В школах иностранные языки преподавать не умели, уроки носили чисто формальный характер, и никто из выпускников школ не владел необходимыми навыками даже бытового разговорного общения. Мама наняла мне частного преподавателя из института иностранных языков.

Занималась я с особым интересом, так как на летние каникулы мы с мамой должны были поехать к папе, и я готовилась к общению с

немцами. Папа написал нам, что у него в части работает вольнонаёмный немец-электрик, у которого дочь — моя ровесница. Эта немецкая семья живёт в собственном просторном доме и будет рада, если я погощу у них и попрактикуюсь в общении на немецком языке. Позднее папа, на всякий случай, решил посоветоваться о таком замысле со своим начальником особого отдела, на что тот, крайне изумлённый, ответил ему: «Вы что, хотите, чтобы вас откомандировали отсюда в три дня?» Пришлось от этого плана отказаться.

Зарплаты офицеров в Западной группе войск были в разы выше, чем в Союзе, и мы уже через несколько месяцев почувствовали изменения в своем материальном положении. Впервые купили телевизор с большим экраном, самый дорогой и роскошный радиоприёмник «Фестиваль» с дистанционным управлением, магнитофон (они только-только появились в продаже) и новое пианино. Я решила продолжить свои музыкальные занятия.

Моим новым учителем музыки стал студент музыковедческого факультета Белорусской консерватории. Его нам рекомендовал сын наших новых знакомых Игорь Турышев, который сам учился в консерватории на композиторском отделении. Звали моего учителя Юрий Васильевич. Маленький, рыжий, конопатый, с мелкими чертами лица. Ему было далеко за двадцать. Он быстро понял, что от него требуется — доставлять своей ученице максимум удовольствия от уроков. С этой задачей он справлялся блестяще. Никакой системы у нас не было. Он разваливался на стуле рядом со мной, закинув ногу на ногу, и, весело поблёскивая живыми глазками, спрашивал к примеру:

— Ну-с, что будем сегодня исполнять?

— Шопена, — подумав, отвечала я.

— Отлично, — соглашался он.

Я начинала играть, а он поправлял или демонстрировал собственным исполнением те места, которые у меня не получались. При этом он иногда очень серьёзно, а иногда артистично и с юмором комментировал и даже изображал мою игру. Он был на редкость весёлым и остроумным человеком, а я безудержной хохотушкой. Мама часто с подозрительным любопытством у меня спрашивала:

— И чего это вы так часто и громко смеётесь?

Скоро у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Попутно, будучи музыковедом, он широко просвещал меня в сфере музыкальной культуры, рассказывая и о композиторах, и о судьбе их произведений, о самых известных исполнителях и особенностях их трактовки, о музыкальных инструментах, знаменитых оркестрах и

дирижёрах. За два года наших с ним занятий я сделала невероятные успехи. Я по-настоящему полюбила классическую музыку, не пропускала ни одного концерта Белорусского симфонического оркестра под управлением Дубровского — талантливого и оригинального дирижёра, которого Юрий Васильевич высоко ценил, посещала самые интересные гастрольные концерты, прослушала весь оперный репертуар Белорусского театра оперы и балета, скупала все пластинки с новыми записями классической музыки, особенно фортепьянной, и постоянно их прослушивала.

Когда Юрий Васильевич был удовлетворён моим исполнением разученных произведений, он откидывался на стуле и говорил:

— Ну-с, начнём что-нибудь новенькое. Есть что-то на примете?

— Да, — отвечала я. — Мне очень нравится... — и я называла какую-нибудь пьесу.

Иногда он одобрительно и согласно кивал и на следующее занятие приносил ноты, а иногда скептически хмыкал и отвергал:

— Это тебе не по зубам.

Но чаще всего он начинал мне играть на выбор, называя имя композитора, я внимательно слушала, а потом говорила:

— Вот. Хочу Рахманинова.

И начиналась работа.

Я с большой любовью всегда вспоминаю Юрия Васильевича. Он не только открыл для меня прекрасный мир музыки, но и оказал огромное влияние в целом на моё художественное воспитание. Как-то раз мы заговорили о поэзии. Я в то время увлекалась Маяковским, мы как раз проходили его в школе, и меня особенно привлекло раннее творчество поэта. На следующий урок Юрий Васильевич принёс небольшой, двадцатых годов издания, потрёпанный сборник стихов.

— Почитай. Это Велимир Хлебников. Слышала о таком?

Я отрицательно покачала головой. Да и откуда в те-то годы я могла о нём знать?

Начав читать, я сначала пришла в недоумение:

Я видел выдел
Вёсен в осень
Зная зной
Тихой сони.
А ты пяты
На мячике созвездия
Полёт бросаешь
В изгиб из губ

Свернув свой локоть
Белого излома.
Весной улики бога
Путь петь.
Сосни летая
Сосне латая
Очами северных бровей
и голубей.
В стае
Сто их...

Но постепенно ритм, слова и мелодика начали меня завораживать. Ничего подобного до сих пор я не читала. В этом надо было разобраться...

Процитированное стихотворение я больше почему-то никогда не встретила ни в одном из многочисленных изданий Хлебникова, которые осуществились в годы перестройки, когда уже и в школьную программу по литературе было включено его имя. Это стихотворение я не переписывала, оно само легло в мою память и сохранилось в ней теперь, наверное, уже навсегда. Я не могу вспомнить наизусть многие из стихотворений Пушкина, которые учила в школе сама, а потом их читали мне на уроках из года в год мои ученики. А вот это стихотворение Хлебникова стало незабываемым. Искусство несёт в себе много загадок...

Вместе с Юрием Васильевичем мы составили мой домашний, любимый и душевный репертуар из музыкальных пьес Шопена и Шумана, Листа и Грига, Бетховена и Мендельсона, Рахманинова и Рубинштейна. Я научилась быстро и легко читать с листа и впоследствии могла уже сама разучивать понравившиеся мне произведения. И теперь я больше никогда не страдала от одиночества, я садилась за инструмент, играла для себя и наслаждалась. И за это я ему безумно благодарна.

Когда по окончании урока мы выходили в прихожую и он, одев своё коротенькое пальто и натянув чёрный берет, шуточно отдавал честь при прощании, я часто про себя думала: «Как жаль, что он такого маленького роста!» Позднее выяснилось, что Юрий Васильевич тоже об этом думал. Игорь Турышев как-то под большим секретом сказал маме: «Рыжий совсем от вашей Наташки голову потерял. Говорит, если бы не мой рост...»

Помню приезд в Минск Вана Клиберна — первого лауреата Первого Московского международного музыкального конкурса.

Сразу после своей блистательной и оглушительной победы он совершал концертный тур по нескольким городам Советского Союза. Билеты на концерт достать было невозможно, но я твёрдо решила, что должна на него попасть. Вместе с моей одноклассницей Лерой Фариной мы днём подошли к рабочему входу во дворе клуба имени Дзержинского, где проходили все музыкальные концерты в Минске. Дверь была открыта. Мы шмыгнули внутрь и, заслышав голоса, в панике стали взбираться по какой-то узенькой металлической лестнице наверх. В результате мы оказались на чердаке прямо над сценой. Там, внизу, настройщик настраивал концертный рояль. Было темно и душно. Мы боялись провалиться в промежутки между балками и, как мышки, просидели на пыльных перекладинах несколько часов. Когда публика стала заполнять зал, мы осторожно спустились вниз и пробрались в гардероб, а затем, почистив себя от пыли в туалетной комнате, с достоинством прошествовали в концертный зал. Он был набит битком. Слушатели не только сидели, но и стояли вплотную в проходах и на галёрке. Нам удалось пробиться в одну из лож, где мы и простояли в тесноте, замирая от восторга, весь концерт.

Юрий Васильевич тоже был на этом концерте. Его мнение меня удивило.

— Ван Клиберн, конечно, очень артистичен, эмоционален, но это не великий пианист. Намного интереснее и сильнее второй американец — Поллак. Тот — настоящий виртуоз.

Юрий Васильевич часто сокрушал общепризнанные авторитеты. Так, он не любил Чайковского, считал его слащавым. Мне было трудно разобраться, прав он или нет, но из подобных разговоров я уяснила для себя одно: для того чтобы иметь право на собственное мнение, надо хорошо разбираться в предмете разговора, и, оказываясь, совсем не обязательно придерживаться общепринятых взглядов и точек зрения.

На память о Юрии Васильевиче у меня остались подаренные им ноты.

* * *

Моей классной руководительницей была учительница немецкого языка Мария Павловна. Она была простой, славной и безобидной женщиной, с особым рвением относящейся к своей работе. При этом отличалась необыкновенно настойчивым, даже настырным, характером и порой шла к намеченной цели неукротимо, как танк.

Считая своим долгом быть в курсе всех дел своих учеников, она часто приходила к нам домой, и мы с мамой порядком от неё уставали. Но обижать её не хотелось, поэтому мама угощала её чаем, и мы терпеливо слушали её воспоминания о партизанском отряде, в котором она пребывала в качестве переводчика.

Вообще партизанское прошлое — это национальное белорусское достояние. Порой складывалось такое впечатление, что в Минске среди белорусов не было ни одной семьи, которая не имела бы своих партизан. Часто, благодаря только партизанскому прошлому, многие в Минске делали большую карьеру и становились влиятельными людьми, не имея для этого никаких профессиональных и деловых качеств.

Мария Павловна задумала осуществить крупное общественное мероприятие — поездку нашего класса в Ленинград в период белых ночей. Так как народ в классе в основном бедный, деньги на поездку надо было как-то заработать. Мария Павловна разыскала на окраине Минска овощную базу и договорилась с начальником, что мы после уроков будем приезжать всем классом и перебирать гниющие овощи. Этот запах гниющей капусты и картофеля я никогда не забуду. В помещениях базы было холодно и промозгло, у нас коченели руки и ноги. Овощи хранились в неглубоких цементных ямах. Мы выбирали их оттуда и сортировали по ящикам. Многие родители были недовольны — мы приезжали с базы уставшие, и нам было не до уроков. Но сами мы трудились если и не с удовольствием, то старательно — в Ленинград поехать хотелось всем. Мария Павловна добилась и того, что наш девятый класс досрочно завершил учебный год.

Мы приехали в этот город в начале июня. Вышли на площадь перед Московским вокзалом. Холод и пронизывающий ветер остудили наше приподнятое радостное настроение. Мы выехали из тёплого лета, в лёгкой одежде, а оказались чуть не в ранней весне. Ленинградцы ходили в пальто и головных уборах. По договорённости нас приняли в Технологическом институте. В спортивном зале на полу постелили матрасы и выдали постельное бельё.

На третий день у меня вдруг по всему телу пошли очень большие фурункулы. Они быстро нарывали, любое движение становилось болезненным. Никогда раньше у меня ничего подобного не было. Помимо Марии Павловны с нами поехали из родителей две мамы. Одна из них, Радовская, была врачом. Она активно принялась за моё лечение, мазала меня какой-то тёмной, вонючей мазью, обклеила пластырем, поила таблетками. Вот такой мгновенной реакцией отозвался мой ор-

ганизм на Ленинград. Поездка во многом была для меня испорчена. Помню, тогда я подумала: «Этот город мне противопоказан».

Прекрасный и всемирно известный город на Неве не вызывал отклика в моей душе. Оставалось ощущение холода, который пронизывал всё вокруг. Холодом веяло от величественных зданий, от Невы, от площадей, даже от самих ленинградцев — серьёзных и сдержанных. После открытых и добросердечных минчан, после привлекательных своим прибалтийским своеобразием латышей они казались то ли чопорными, то ли надменными в своём внешне строгом аскетизме.

В этом мнении мы сошлись с Линдой Трейер, почти одновременно со мной приехавшей в Минск. Она жила и выросла в Таллине, а в Риге. В Ленинграде нам не хватало уютных, сокровенных улочек, переулков, каких-то интимных уголков. И мы начали их искать в совместных прогулках. Линда увлекалась фотографированием, у неё был лучший по тем временам фотоаппарат «Зенит». Ей хотелось запечатлеть не широко известные памятники и дворцы, а что-нибудь особенное, раскрывающее город иначе, не казённо и не общепринято. Оторвавшись от всех, мы бродили по Мойке, по каналу Грибоедова, сворачивали в разные переулки, заходили во дворы-колодцы и в конце концов прониклись особым восхищённым настроением, которое внушал этот город. И тем не менее единодушно решили с ней, что в этом городе жить нам не хотелось бы. Но судьба распорядилась иначе, и через несколько лет мы с ней обе стали ленинградками.

* * *

По моём возвращении из Ленинграда мы с мамой на все летние каникулы поехали к папе в ГДР. Его воинская часть располагалась в маленьком немецком городке Алтеслагерь. Ещё до войны немцы построили здесь большой военный аэродром и при нём военный городок, а после войны здесь обосновалась крупнейшая советская авиабаза. Папина воинская часть находилась по соседству. Для лётчиков и их семей были созданы комфортные условия жизни: отдельные квартиры, Дом офицеров с большим актовым залом, очень хорошей библиотекой, танцзалом и кинотеатром. Они пользовались своими военоторговскими магазинами, где продавались лучшие товары, которых не было даже в немецких магазинах. Но всё-таки жилось там скучно, и все тосковали по дому.

Папа один занимал прекрасную трёхкомнатную квартиру, и мы могли бы жить с ним вместе постоянно, но тогда я вряд ли смогла бы получить такое образование, чтобы попасть в институт.

Папа постарался, чтобы мои впечатления от ГДР были самыми полными. На его служебной машине мы посетили Берлин, который мне не понравился своими огромными и неуютно-голыми новостройками, побывали около рейхстага и в Трептов-парке. Нервируя папу, я, смеясь, побежала от Бранденбургских ворот в сторону Западного Берлина — тогда ещё не было никакой Берлинской стены, а из пограничной будки на меня с улыбкой смотрел постовой. Побывали в Потсдаме, ознакомившись с кайзеровскими хоромами, показавшимися мне бедными и убогими по сравнению с великолепием Зимнего и Царскосельского дворцов в Ленинграде, осмотрели зал заседаний Потсдамской конференции лидеров стран-победительниц, где нам рассказали много интересного о стиле взаимоотношений Сталина, Черчилля и Рузвельта.

По воскресеньям мы ездили в маленькие старинные немецкие города Луккенвальде и Ютербог — своим сохранившимся средневековым они напоминали театральные декорации. Отдыхали на пикниках у живописных немецких озёр, общаясь там с местными жителями, тоже выбравшимися в воскресный день за город, чтобы позагорать и искупаться, а также совершали вояжи по магазинам. У меня неплохо получалась роль переводчика, хотя были и трудности — немцы говорили на многих диалектах, и, когда я старательно выговаривала литературные слова, многие недоумённо пожимали плечами и с трудом меня понимали. Но в общем деньги, потраченные на домашнего учителя, не пропали даром.

Но самыми интересными для меня оказались поездки в Лейпциг и Дрезден. Туда я поехала уже без родителей. Папа выделил мне в сопровождение вольнонаёмную русскую девушку Зину, которая безропотно выполняла все мои пожелания. Мы поехали на поезде, останавливаясь и ночуя в специальных маленьких военных гостиницах для командированных офицеров.

Дрезден был сильно разрушен во время войны, эти разрушения даже спустя много лет бросались в глаза. Но то, что сохранилось, произвело на меня впечатление своим архитектурным своеобразием, которого мне не приходилось видеть ранее. Мы с Зиной посетили знаменитый Цвингер, куда совсем незадолго, по решению советского правительства, были возвращены всемирно известные шедевры изобразительного искусства из Дрезденской галереи. Об этом тогда много писали и говорили, и вот я смогла их увидеть воочию на их родном месте. Изобразительное искусство было для меня тогда сферой запретельной, я не знала его и совсем не разбиралась в нём. Мною

двигало любопытство и желание увидеть то, о чём было столько разговоров. Но прекрасные полотна не оставили меня равнодушной. Глядя на них, я чувствовала, как во мне возникает какое-то возбуждение, внутри что-то начинает трепетать и вибрировать. Что именно в картинах вызвало во мне такое душевное волнение, я, конечно, объяснить не могла в силу своего невежества, но это совершенно новое моё ощущение, которое я в шутку впоследствии назвала про себя «мандражом», много лет ещё, пока наконец я не стала вполне осведомлённым человеком, возникало у меня не раз при встрече с подлинно талантливыми произведениями искусства. Этому ощущению внутренней дрожи я очень доверяла, оно меня никогда не подводило, как будто какой-то внутренний камертон диктовал мне, что хорошо и что плохо.

Как общение с Юрием Васильевичем приобщило меня к классической музыке, так посещение Дрезденской галереи вызвало интерес к изобразительному искусству и подвигло меня к его изучению и увлечению им.

В Лейпциге мы посетили знаменитую Лейпцигскую ярмарку, но она не произвела на меня впечатления, а вот сам город мне очень понравился, и не только своим европейским архитектурным обликом. Он предстал передо мной как «настоящая заграница», в нём живо чувствовался неведомый мне ранее, чужой, но очень привлекательный стиль жизни. Люди были активны, жизнерадостны и приветливы. В их манерах, жестах, движениях проявлялись культура и достоинство. Многие отличались породистой внешностью, даже аристократичностью. Помню большую компанию мужчин и женщин в кафе, куда мы зашли перекусить. Элегантные, солидные, они вели себя весело, но не громко, раскрепощённо, но не развязно, свободно и увлечённо о чём-то разговаривали, казалось, не замечая остальных. Но тут же любезно и предупредительно реагировали и отзывались на любое внешнее вторжение, будь то официант или другие посетители кафе. Это были какие-то удивительно красивые, необычные для меня люди. Забывшись, я заворожено наблюдала за ними. Один из мужчин заметил это, улыбнулся мне и подмигнул. Я смутилась.

Был вечер, час пик. На одной из трамвайных остановок я с любопытством наблюдала, как люди спокойно стояли в очереди и ждали следующего трамвая. Когда, переполненный, он подходил к остановке, с подножки соскакивал кондуктор, он внимательно наблюдал за выходом и посадкой, помогая отдельным пассажирам и через слово

учтиво приговаривая: «Битте зеер» и «Данке шён», затем последним вскакивал на подножку и посылал разрешающий жест водителю — поехали! «Да-а», — многозначительно подумала я, вспоминая минских кондукторов, грубо орущих на пассажиров: «Куда прѣшь?! Местов нет», и пассажиров, штурмом берущих автобус и отталкивающих женщин и стариков.

Мы гуляли по Лейпцигу целый день. На перекрёстках у уличных продавцов покупали необыкновенно вкусные горячие булочки с сочными сосисками, обильно намазанными непривычной по вкусу кисло-сладкой горчицей, которая мне очень понравилась. На небольших пивных площадках, типа бара, потягивали из кружек чёрное дамское пиво. На одной из улиц я увидела длинные книжные и нотные букинистические развалы и надолго застряла около них, купила для мамы ноты оперетты Кальмана «Сильва», которую она очень любила, для себя — «Ноктюрны» Шопена и пару книг на немецком для своей классной руководительницы Марии Павловны.

Однажды папа взял меня с собой в одну немецкую деревню, где жил мебельных дел мастер. Папа заказал ему мебельный гарнитур, остатками которого мы пользуемся до сих пор. Он решил проверить, как подвигаются дела, а заодно показать мне, как живут немецкие сельские жители. Мы ехали по шоссе, обсаженному высокими яблоневыми деревьями, и эта характерная деталь, типичная для дорог Германии, была для меня ещё одним свидетельством отличия от действительности советской. По бокам расстилались поля, но не сплошные, а разделённые межами. Папа пояснил, что в ГДР разрешена мелкая частная собственность, в том числе и на землю.

— Ну, вот и приехали, — сказал папа, и я удивлённо стала осматриваться по сторонам.

— Это деревня? — не поверила я.

Кругом стояли красивые каменные дома, окружённые фруктовыми садами и цветниками. Люди, которые нам встречались, были одеты по-городскому, даже модно. Навстречу пронеслась на мотороллере девушка в купальнике, её «конский хвост» развевался на ветру. Вот появился и трактор, ярко-синий, настолько чистый, как будто только что сошёл с конвейера. Управлял им светловолосый парень в светлой рубашке и синем комбинезоне, тоже чистенький и аккуратный. Я вспомнила белорусские покрытые толстым слоем засохшей грязи трактора и замызганных трактористов в запачканных ватниках, с чумазыми лицами и руками с въевшейся в них, казалось, навечно, грязью.

Когда мы вошли в нужный нам дом, меня поразила его городская обстановка: полированная мебель, ковёр на полу, камин, пианино. Я не могла поверить своим глазам. Потом мы прошли в большую мастерскую, примыкающую к дому, где хозяин выполнял заказы. В завершение и довершение ко всему, по просьбе папы, он показал нам хлев для коров — кирпичный, чистый, цементированный, со стоком для навозной жижи и грязной воды.

— Почему они так хорошо живут? — стала я расспрашивать папу на обратном пути. Он ответил очень лаконично:

— Культурная, трудолюбивая нация.

Надо заметить, что если папа не любил латышей, то к немцам относился с большим уважением, несмотря на то, что ему пришлось с ними воевать.

* * *

К началу учебного года я вернулась в Минск, полная новых и ярких впечатлений. Меня ожидал десятый класс — последний, выпускной. Как прошёл этот учебный год, я помню плохо. Помню только, что я наконец осознала, что до сих пор полтора года в школе валяла дурака, получая пятёрки ни за что, что ни о каком МГУ мне даже мечтать нельзя, дай бог, если сумею поступить в Белорусский университет. Надо навёрстывать упущенное.

Режим дня у меня сложился довольно своеобразный. Придя домой из школы, я после обеда заваливалась спать до шести-семи вечера, а затем вечером и ночью, часов до трёх-четырёх утра, делала уроки и занималась дополнительно тем, что считала необходимым для собственного самообразования. Мама была очень недовольна таким моим образом жизни, но мне самой он доставлял удовольствие. Ночь, тишина. Я сижу в своей комнате за большим письменным столом, горит любимая зелёная лампа. Справа магнитофон, слева светящийся радиоприёмник, в котором живёт весь мир, передо мной книги, тетради. Поработав, почитав, я ищу интересные зарубежные радиоголоса. На магнитофон записываю немецкую речь, чтобы отшлифовать своё произношение, или модную западную музыку. Вот так, наверное, современные старшеклассники проводят ночное время в Интернете у компьютера, только возможности у них шире и интереснее.

Линда Трейер была прекрасной лыжницей, я же на лыжах кататься не умела. Она взялась за моё обучение. По воскресеньям мы с ней отправлялись в парк Челюскинцев, являвшийся по сути неболь-

шим лесным массивом, за которым простирались холмистые перелески и поля. От этих лыжных прогулок мы получали колоссальное удовольствие. Яркое солнце, искрящийся снег, чистый морозный воздух, простор и никого вокруг.

Линда была очень весёлой и компанейской девушкой. Чувство юмора у неё было просто блистательным, при этом оно сопровождалось некоторой долей цинизма, что придавало её репликам и рассказам особую остроту и парадоксальность. У неё был технократический склад ума и очень практичный склад характера. Эти качества для меня были новыми, и я с интересом общалась с ней. Она была типичным «физиком». И неспроста.

Её отец, Вальфрид Николаевич Трейер, эстонец по национальности, был крупным учёным. Его пригласили в Минск из Таллина на должность проректора нового Политехнического института, ставшего впоследствии одним из самых престижных вузов Белоруссии. Он был доктором наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук. Позднее возглавил институт кибернетики. Дома в его кабинете над письменным столом висела большая фотография, где он стоял вдвоём с Норбертом Винером. Вальфрид Николаевич был необыкновенно интересным человеком. Исключительно привлекательный мужчина, рослый, крупный, с типично прибалтийской внешностью. Прекрасно образованный и воспитанный человек, владеющий несколькими иностранными языками, хорошо играющий на фортепьяно. Он был великолепным и остроумным рассказчиком, знал невероятное количество анекдотов и забавных историй, которыми с удовольствием и охотно делился.

У них была машина «ЗИМ» — самый роскошный советский лимузин того времени. Как-то Линда мне сказала: «Мама уехала в санаторий. Папа предлагает нам с тобой на выходные проехать через Беловежскую пушу в Брест». Я, конечно, с благодарностью согласилась. Это была незабываемая поездка, и совсем не потому, что мы побывали в интересных местах, а исключительно благодаря общению с удивительно интересным, просто блестящим и неотразимым Вальфридом Николаевичем. Мы с Линдой улеглись на широком заднем сиденье и лакомились шоколадными конфетами, а Вальфрид Николаевич, сидя за рулём, всю дорогу развлекал нас занимательными рассказами и историями. Их у него было в запасе несметное количество. Мы вдохновляли его тем, что или слушали затаив дыхание, или корчились от смеха, однажды даже свалившись на пол. И в пути, и в ресторане, и во время экскурсий, где он сам исполнял роль гида, он

вёл себя с нами не как с девчонками, а как с молодыми женщинами, продемонстрировав нам полный джентльменский набор светского льва и кавалера. Я была покорена, очарована и шепнула Линде: «Слушай, кажется, я влюбилась в твоего отца». Она лукаво подмигнула мне и шепнула в ответ: «Я сама в него влюблена».

Линда не была красавицей, но обладала тем неуловимым прибалтийским своеобразием, которое выделяло её из общей среды. Чем-то она была похожа на отца, но совсем не походила на красавицу мать. Оказалось, что жена Трейера приходилась Линде и её старшему брату, тоже Вальфриду (дома его звали Федей), — студенту физического факультета МГУ, не матерью, а мачехой. Но Линда называла её мамой, и они хорошо ладили друг с другом.

Учебный год подходил к концу, а я всё ещё не могла определиться с выбором будущей профессии. Линда агитировала меня поступать вместе с ней в Политехнический институт. «Папа гарантирует тебе любовью факультет», — уговаривала она меня, но я категорически отказалась. В результате я решила поступать на филологический факультет БГУ.

На русское отделение принимали тридцать человек, из них только десять после школы, остальные, с трудовым стажем, имели преимущества. Проскочила я на вступительных экзаменах чудом, чуть не завалилась на истории. Недаром говорят, что экзамены — это лотерея. Я вытащила билет, из которого хорошо знала первый вопрос и совсем не знала второго — об опричнине Ивана Грозного. Первым побуждением было положить билет обратно и уйти, чтобы не позориться. Решила всё-таки рискнуть. Выслушав мой ответ на первый вопрос, пожилая, интеллигентного вида преподавательница сказала вдруг: «Ну, второй вопрос вы, конечно, знаете. А вот скажите, пожалуйста, каких поэтов стран Латинской Америки вы можете назвать?» Я опешила. Этот вопрос не имел отношения к истории и был задан явно на засыпку. Но он же меня и спас. Дело в том, что как раз накануне из любопытства я купила в книжном магазине сборник стихов незнакомого мне поэта Рубена Дарио, названного в предисловии «лебедem Никарагуа», смерть которого «оплакивала вся Латинская Америка». Самих стихотворений я прочитать не успела, а вот с предисловием ознакомилась. Упомянув коммунистов Жоржи Амаду и Пабло Неруду, о творчестве которых я понятия не имела и про которых слышала только потому, что им в своё время была присуждена Сталинская премия и об этом много писалось и говорилось, когда я жила ещё в Риге, я перешла к Рубену Дарио, старательно пересказывая текст пре-

дисловия. Преподавательница была поражена моей литературной эрудицией, поставила мне пятёрку и заявила: «Приятно будет иметь таких студентов, как вы».

Линда поступила в Политехнический институт на какое-то «бродильное» отделение, связанное с производством пищевых продуктов. Меня удивил её выбор, но она объяснила: «Если будет война — я и моя семья не умрём с голоду». Да, она отличалась поразительным практицизмом.

Чтобы как-то ознаменовать наше поступление в институт, мы выразили своим родителям желание поехать в Москву. В столице жила мамина сестра Галя, муж которой Николай Кузьмин к тому времени уже работал в ЦК, а потому я могла остановиться у них на жительство и рассчитывать на билеты в любой московский театр и на любое мероприятие. Аналогичная ситуация была и у Линды. Её родственники тоже располагали большими возможностями.

Кузьмины как раз недавно получили небольшую трёхкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной. Мы не виделись много лет, и я впервые смогла познакомиться с двоюродными сестрёнками: школьницей Леночкой и годовалой Настенькой. Жили они тогда скромно, Галя погружена в домашнее хозяйство и заботы о детях, а Николай очень много работал и приходил домой практически только ночевать. Никаких льгот, привилегий или преимуществ в их образе жизни я тогда не заметила.

Но по мере того как Николай поднимался по иерархической партийной лестнице, их жизнь менялась, и к восьмидесятым годам стала совсем другой. В этом я убедилась, когда спустя почти двадцать лет снова навестила их, приехав в командировку из Ленинграда. Теперь Кузьмины жили в самом центре Москвы в прекрасной, большой четырёхкомнатной квартире. В подъезде сидел бдительный консьерж, пропустивший меня только после телефонного звонка хозяевам квартиры.

Большая квадратная прихожая вся была заставлена книжными стеллажами от пола до потолка. Я с интересом рассматривала содержание этого книжного обилия. Собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма, тома Большой советской энциклопедии и Всемирной истории, собрания сочинений русской и зарубежной классики: Пушкин, Тургенев, Гончаров, Толстой и Чехов, Бальзак, Стендаль и Мопассан, Шекспир, Диккенс и Вальтер Скотт... — и ни одной книги современных советских и зарубежных авторов. Может быть, они хранились где-то в другом месте?

Кузьмины посещали Большой театр, театр им. Ермоловой и Советской Армии, не признавали «Современника» и театра на Таганке, терпеть не могли Высоцкого и восхищались Ильёй Глазуновым.

Галя с воодушевлением рассказывала мне о регулярных поездках за границу: во Францию, Италию, на отдых в Сицилию.

— Это же, наверное, очень дорого? — поинтересовалась я.

— Для нас эти поездки бесплатны. Они организуются по приглашению братских компартий. Приём замечательный, условия комфортные, экскурсии очень интересные. Столько новых впечатлений! У них там совсем другая жизнь.

Старшая дочь Кузьминых Лена к этому времени окончила институт, стала биологом и работала в научной лаборатории. Рассказывая о себе, она жаловалась на трудности в работе:

— Не хватает элементарного оборудования, пробирок, в страшном дефиците белые мыши. Тут недавно я сумела достать их целую партию, так коллеги решили, что мне помог папа. Обидно, что мои личные заслуги во всём приписываются влиянию отца. А ведь это совсем не так, я никогда не прибегаю к его помощи. Плохо иметь влиятельных родителей.

Как родители Кузьмины были озабочены устройством личного счастья Леночки.

— Мы сейчас ищем ей мужа, — по секрету рассказывала мне Галя.

— Зачем? — удивилась я. — Лена — умная и красивая девушка, сама найдёт. Вспомни, как ты вышла замуж.

— Ну, тогда было совсем другое время, и мы были другими людьми, — возразила Галя. — Лена не может выскочить за кого попало. Это должен быть человек только нашего круга. Вот недавно Гейдар Алиев предложил Коле своего сына в зятя, но зачем нам азербайджанец? Нет, её муж должен быть русским и во всех отношениях с безупречно советской биографией.

Чуть позднее Лену выдали замуж за сына какого-то ответственного работника ЦК, но её брак оказался неудачным и распался.

Сам Николай Кузьмин, прошедший всю войну и имевший за храбрость много боевых наград, превратился в очень осторожного человека, ежеминутно помнящего о своей высокой партийной должности. С одной стороны, он любил шегольнуть своими большими возможностями, но в то же время в нём явственно ощущалась нарастающая пугливая напряжённость, боязнь сказать или сделать что-то не то и не так, и потому он стал производить впечатление самого за-

урядного, недалёкого и ограниченного человека. А ведь именно он и его окружение писали аналитические записки и тексты докладов для членов Политбюро, о чём он сам мне рассказывал.

В мой последний к ним приезд мы как-то разговаривали на кухне. Я завела разговор о политике, о войне в Афганистане, целесообразность которой не могла понять. Он испуганно прижал палец к губам и бросил выразительный, предупреждающий взгляд на вентиляционное отверстие. Поманив меня пальцем, увёл в детскую комнату и там, понизив голос до шёпота, сердито заявил:

— Ты такие разговоры брось. Это не нашего с тобой ума дело.

Я была поражена. Ведь ничего особенного я не сказала, откуда же такая боязнь? И почему такой осведомлённый человек, даже если он считает, что его квартира прослушивается, не мог хотя бы попытаться объяснить мне ситуацию с официальной точки зрения, хотя для меня, конечно, и неубедительной. У меня подрастал сын, впереди его ждала армия, и мысль о том, что он может оказаться в этой бессмысленной бойне, меня и ужасала, и возмущала.

С грустным чувством и тяжёлыми мыслями я возвращалась домой. Вспоминала Галю и Николая молодыми, безоглядно порывистыми, раскрепощёнными. В детстве я их очень любила, и когда они гостили у нас в Риге, мне казалось, что их жизнь всегда будет открытой и радостной. Теперь же, несмотря на всю их благоустроенность, самодовольство и удовлетворённость, мне стало их жалко, ведь они потеряли самое главное — внутреннюю свободу и независимость, возможность развития, возможность распоряжаться собой. Их мир стал для меня не только чужим, но и неприемлемым. Впрочем, они, конечно, узнав мои мысли, со мной не согласились бы.

Но вернусь в лето 1959 года — разгар хрущёвской «оттепели». Это было бурное обновление и крутой поворот на подъёме в жизни страны, но не через «минуты роковые», не через катаклизмы, политические крушения и экономические потрясения, а через естественно-логическое, насущно оправданное, новое миропонимание. Конечно, разоблачение культа личности Сталина на 20 съезде, от которогоистики ведут отсчёт «оттепели», было чрезвычайно важным событием, но не менее важным, мне кажется, то умственное и психологическое состояние общества, которое и позволяет совершать прорывы к будущему. Правда о массовых репрессиях была как ушат ледяной воды — это так. Но эта оглушительная правда не окрыляла.

Сегодня, уже привыкнув, мы спокойно говорим о самом главном и определяющем завоевании человечества в 20 веке — проник-

новении в космос. Никогда не забуду, как в Минске было воспринято сообщение о запуске первого человека. На улицы высыпали толпы людей, оставив свои рабочие места и учебные аудитории. Лица светились счастьем и радостными улыбками. Люди смотрели на небо, кричали «ура», поздравляли друг друга, обнимались и целовались, будучи совсем незнакомыми. В те годы, о которых я пишу, полёт Гагарина явился не только фантастическим техническим достижением. Он стал детонатором мощнейшего прозрения в умах людей пятидесятых — шестидесятых годов. Ведь Гагарин в космосе воспринимался не как представитель одной страны — Советского Союза. Во всём мире с любовью и восторгом он воспринимался как первый посланец человечества от всей планеты Земля. Пришло вдруг ощущение общего Земного Дома, понимание каких-то вечных общечеловеческих, совсем не идеологических или экономических, ценностей. И мама сказала мне: «Ты счастливая, Талка. Войны больше не будет».

«Железный занавес» не мог не рухнуть, удержать его было уже невозможно, потому что он рухнул в сознании людей. Жадный интерес друг к другу, желание мира и дружбы, согласия и взаимопонимания, казалось, охватили все страны и народы. Казалось, все из них жаждали поделиться друг с другом своими успехами и достижениями: международные фестивали, конкурсы, выставки, гастроли, спортивные соревнования. Они были лишены какой бы то ни было коммерциализации, им не нужны были пиар и «раскрутка» — люди сами прекрасно во всём ориентировались и, пользуясь собственными, а не навязанными критериями, широко общаясь друг с другом и делясь информацией, могли ночами стоять в очереди за билетами и приезжать из других городов, ночуя на вокзалах, чтобы только посетить, приобщиться, увидеть и услышать. Казалось, всё вокруг было пропитано духовными поисками и интеллектуальным напряжением. Ведь «наступила новая эра в развитии человечества», и в этой новой эре нам предстояло жить вместе в мире и дружбе.

Ни гласности, ни свободы слова, у нас, разумеется, не было, но очень быстро прежняя идеология стала восприниматься как догматическая и непродуктивная. Переводы западных авторов в журнале «Иностранная литература», романы Ремарка, Хэмингуэя, Моэма и других крупнейших писателей Америки и Европы переворачивали наши представления и о человеческих взаимоотношениях, и о нормах жизни. Этому же способствовали заграничные кинофильмы. Раскрепощая индивидуальное начало, они в то же время покоряли своей гуманностью.

Моё поколение семнадцати-восемнадцати лет уже ничего не боялось, и мы с жадным любопытством поглощали любую новую для нас информацию, любое новое явление, событие, имя. Мы быстро догадались, что если информация носила остро критический, официальный характер, то её надо воспринимать от противного, извлекая только интересующие тебя факты. Ну, например. Представить себе, что такое абстракционизм, мы могли только по ругательным брошюрам с примитивными доводами, что абстрактные картины пишут сумасшедшие, топчущие холсты башмаками, запачканными в краске. В подтверждение своих доводов авторы предлагали иллюстративный материал, а это и было для нас самым ценным. Или ещё — большое количество политических брошюр с ниспровержением, к слову, таких фигур, как Имре Надь или Иосиф Броз Тито. Обвиняя их в ревизионизме марксизма-ленинизма, авторы в то же время приводили их мнения и высказывания, примеры и факты их деятельности, и, ознакомившись с ними, выводы можно было делать уже самостоятельно.

Минск был очень лояльным городом, жизнь в нём протекала спокойно и умиротворённо. Никаких громких интеллектуальных и общественных потрясений, отсутствие у населения активного интереса к политике, переменам и важным событиям, происходящим в стране и в мире в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Наверное, самой характерной особенностью Минска, как мне казалось тогда, была его безликость. На гребне хрущёвской оттепели Минск оставался городом консервативным, советски идеологизированным, без каких бы то ни было примечательных событий в творческой и общественной жизни. Не ощущалось здесь и ярко выраженного национального колорита, даже белорусский язык не использовался в обиходе. В качестве формального государственного языка он звучал лишь в новостных передачах на радио и телевидении, со сцены Белорусского академического драматического театра и на белорусском отделении филологического факультета. Почти всё население было русскоговорящим, и в моём восприятии Минск был городом русским, где-то на задворках которого ютилась его исконно национальная сущность.

Белорусы, с которыми мне приходилось общаться и которые, наверное, всё-таки определяли характер жизни в республике, отличались флегматизмом, покладистостью и незлобивостью. Это очень непритязательный, мирный, тихий и стойкий народ.

В то же время представлять Минск тех лет городом сугубо провинциальным было бы неверным. Он был выгодно географи-

чески расположен, являясь транзитным центром, связующим Москву с Восточной Европой, и это ощутимо сказывалось как на его экономическом развитии и лучшем в стране снабжении, так и на общественно-духовной жизни. Ставленник Хрущёва, Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Мазуров был умным, деловым и современно мыслящим руководителем, и Минск рос и активно развивался на глазах, превращаясь в один из крупнейших городов СССР как в промышленной, так и в культурной сфере.

Несмотря на то, что в те годы в самом Минске не наблюдалось каких-либо крупных, значительных в масштабах страны имён и творчески резонансных явлений (они появились позже), тесные связи с Москвой благотворно сказывались на общей атмосфере культурной и духовной жизни города. Многочисленные систематические гастроли самых разных, широко известных творческих коллективов, артистов и музыкантов позволяли минской интеллигенции держать руку на пульсе времени, чувствуя свою сопричастность к нему. Когда были построены новый телевизионный центр и здание новой киностудии «Беларусьфильм», на их площадки в Минск устремились московские режиссёры и актёры, и это тоже не могло не сказаться на творческих и интеллектуальных умонастроениях. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что мыслящая, передовая интеллектуальная прослойка в Минске была всё-таки немногочисленна. Регулярно посещая самые разные концерты и спектакли, я обратила внимание, что вижу почти всегда одни и те же лица. На умонастроения в Минске большое влияние оказывала также Польша. В университете на филфаке было обязательным изучение польского языка. В открывшемся магазине «Книги стран народной демократии» был большой выбор художественной и политической литературы, книг и альбомов по архитектуре, искусству и быту, в которых мы могли почерпнуть много нового и ранее неизвестного и недоступного. Можно было даже подписаться на некоторые «демократические» газеты и журналы. Увлёкшись изобразительным искусством, я подписалась на польский журнал «Пшеглэнд артистичны» («Художественный обзор»), в котором публиковалось много материалов по современному изобразительному искусству как польскому, так и международному. Известно, что свобод в странах Восточной Европы было больше, чем у нас, и уровень жизни выше, поэтому эти страны вызывали интерес, и магазин пользовался популярностью. Польша — ближайшая соседка Белоруссии с давними связями, и интерес к ней был особенно велик. Польское кино, польская литература отличались в те годы свободомыслием,

новаторскими поисками, смелостью и достижениями. Польские импортные товары, особенно косметика, польская мода — всё это также в Минске любили и ценили.

Но, повторяю, главные токи обновления исходили от Москвы.

Московское лето 1959 года было значимым многими событиями, но основными, безусловно, являлись Американская выставка в Сокольниках и Первый Московский международный кинофестиваль. Нашей с Линдой целью было попасть на эти мероприятия. С помощью влиятельных родственников нам это удалось.

По замыслу устроителей Американская выставка, впервые в истории Советского Союза, должна была представить советским людям со всей возможной полнотой все аспекты духовной и бытовой жизни простых американцев. Эта выставка должна была, с точки зрения американцев, поразить воображение простого советского человека, живущего в коммунальной квартире, едущего в переполненном общественном транспорте, скромно питающегося и бедно, немодно одетого. Эта выставка должна была наглядно продемонстрировать преимущества капиталистического общества перед социалистическим. Здесь было всё: от точного макета-копии типичного американского частного жилого дома с подогреваемыми ковровыми полами, современной мебелью и кухонной утварью до последней марки роскошного автомобиля. От сельскохозяйственной мини-техники до эффектного театрализованного парада мод. От выставки современного изобразительного искусства из коллекций американских музеев до щедрого и бесплатного угощения кока-колой. Выставка была отлично организована. Разработан сценарный переход от одного павильона к другому, от одной экспозиции к другой. Привлекательные русскоговорящие гиды в красивой униформе предупредительно и услужливо давали необходимые пояснения.

Позднее в наших газетах, делая выводы насчёт произведённого выставкой впечатления, большинство журналистов писало, что расчёты американцев на обольщение капитализмом провалились. Насколько это было действительно так, сказать трудно. Но мои собственные впечатления и наблюдения это мнение подтверждают. Определяющей чертой советского менталитета тех лет было «не хлебом единым». Как правило, внимательно ознакомившись с экспозицией, зрители устремлялись к гидам — живой американец представлял тогда собой экспонат не менее значительный, чем красивый автомобиль. Повсюду на территории выставки толпились группами зрители вокруг «живых американцев». Вопросы, споры, порой целые

дискуссии. Мы с Линдой последовательно переходили от группы к группе — разговоры везде были одинаковыми, слова и доводы тоже. Если свести их к общему знаменателю, то выглядело это примерно так.

— Вам понравился наш образ жизни? — спрашивали американцы. — Вы хотели бы жить так же, как мы?

— Хорошо живёте, — соглашались зрители. — Но ведь это не вся правда о вашей жизни.

Американцы делали большие удивлённые глаза. И тогда в их адрес бросали упрёки и обвинения.

— У вас общество поделено на богатых и бедных.

— У вас много безработных.

— У вас большая преступность.

— У вас платное образование и здравоохранение.

— Вы плохо относитесь к неграм, у вас есть суд Линча, негры до сих пор на положении рабов.

— Вы сбросили на японцев атомную бомбу.

— Вы развязали войну в Корее.

— Разве это хорошо — жить в кредит? А если тебя уволят?

Они разводили руками:

— У всех есть свои недостатки. Но ведь богатыми быть лучше, чем бедными.

Им отвечали:

— Мы бедны, потому что наша страна пережила войну, которая принесла нам страшные разрушения и унесла двадцать миллионов жизней, но в которой мы победили, и спасли тем самым мир от фашизма. Мы не только восстановили всё разрушенное, но и много строим нового. У нас бесплатное образование, медицина, санатории и дома отдыха для всех трудящихся. У нас нет безработных и преступности. У нас лучшая в мире наука, мы первые в освоении космоса. У нас дружба народов, мы не делим людей на белых и чёрных. Да, мы бедны, но жизнь наша справедливее, а вас мы ещё догоним и перегоним.

Американцы вежливо улыбались. Чувствовалось, что они измотаны этими разговорами и даже огорчены: советские люди казались им непробиваемыми.

Конечно, выставка была интересной, но на меня не произвели впечатления ни американский дом, своей архитектурой ассоциирующийся у меня почему-то с временным, типа сарая, жилищем, хотя и комфортабельным внутри; ни красивые автомобили, потому что я считала их средством передвижения, а не роскоши; ни знаменитая кока-кола, попробовав которую, я выплюнула и сказала: «Какая га-

дость!» А вот выставка современного искусства произвела на меня очень сильное впечатление. Я впервые сумела наконец познакомиться и с импрессионизмом, и с кубизмом, и с абстракционизмом в их подлинном качестве и испытала тот внутренний трепет, который говорил мне: это настоящее.

На просмотре фильмов Первого Московского кинофестиваля мы с Линдой увидели кинофильм французского режиссёра Алена Рене «Хиросима, любовь моя». Всё в этом фильме: художественная стилистика, композиционная структура и содержание оказались непривычными, неожиданно новыми и сложными для меня, и я смотрела его с огромным напряжением. События исповедальных рассказов о трагической любви французской женщины к фашисту, оккупанту, любви, воспринятой как предательство, любви-позоре, любви без вины виноватой, и о трагедии Хиросимы переплетались с современными событиями и любовью между француженкой и японцем. Откровенные любовные сцены были сняты изысканно и символично трагически. Безупречно красивые обнаженные тела посыпал пепел Хиросимы...

Советское искусство на девяносто процентов формировалось на антивоенной тематике, с обязательным патриотическим пафосом в качестве главного акцента и оптимистической нотой в финале. Ничего подобного не было в фильме Рене, его сочувствие принадлежало героине, которую заклеили как предательницу, но именно поэтому обличительная сила антивоенного протеста была поднята до пронизывающей высоты философской мысли о защите любого человека, его права на личное счастье, человеческое достоинство и независимость. Война преступна не только ужасом смерти и трагедией потерь, но и искалеченностью человеческой души. Этот фильм открыл для меня новое понимание гуманизма, в корне отличного от того, который в нашей стране назывался «социалистическим гуманизмом».

В это же время у нас были созданы такие трагические советские фильмы, как «Летят журавли» и «Баллада о солдате», признанные во всём мире безусловными шедеврами и потрясавшие глубиной и красотой чувств, теплотой человечности. Они были целомудренны и просты в своей доступной каждому зрителю истине: война приносит горе и несчастье, война — это трагедия. Они обращались к сердцу человека. Фильм Алена Рене — к его разуму.

Посещение Москвы стало для меня очень важной ориентировочной вехой. Я сразу полюбила этот город, в первую очередь, конечно, из-за самих москвичей. В них пульсировал живой, активный,

свободный жизненный тонус. Они были улыбчивы, открыты и дружелюбны. Легко общались и быстро знакомились друг с другом и в транспорте, и на улице, и в кафе, и в очередях. Жадно следили за новостями и в политике, и в искусстве и темпераментно, но неагрессивно обсуждали их между собой, порой впервые увидев друг друга.

В последующие годы мы с Линдой неоднократно приезжали в Москву на студенческие зимние каникулы, чтобы побывать на выставках и в музеях, новых громких спектаклях, просмотрах и гастролях, чтобы просто побродить по её улицам и надышаться особым, раскрепощённым и заразительным московским воздухом. Духовная жизнь концентрировалась, создавалась, развивалась именно здесь, в Москве, и уже отсюда мощной волной разливалась по стране.

Главным генератором преобразований был, конечно, Никита Сергеевич Хрущёв. Что бы про него ни говорили, обвиняя в «перегибах», время хрущёвского правления представляется мне одним из самых светлых периодов советской истории. Так как политика привлекала меня с детства, я с пристальным интересом следила за всеми происходящими событиями, читала все периодические издания и не отрывалась от телевизионных новостей, а жизнь была наполнена этими новостями.

Энергия, которая была в Хрущёве ключом, заряжала страну. А страна находилась на подъёме, и те стратегические замыслы и грандиозные планы, который он выдвигал, вызывали воодушевление и не подвергались сомнению. Хрущёв, безусловно, был очень перспективной, сильной и яркой личностью. Перспективной потому, что он, как мне кажется, мог легко сбросить с себя оковы догматизма и предубеждения. Да, он был малокультурен и малообразован, порой с шокирующими манерами, с плебейским чувством юмора, малопривлекательной внешностью. Но это, как ни странно, не производило отталкивающего впечатления, наверное, потому, что он был искренен и не претенциозен, прост, доступен массовому пониманию и, как это ни покажется странным, очень демократичен по своей сути. Все его звали между собой просто Никитой, и в этом, казалось бы, фамильярном обращении, если и не было любви, то не было и пренебрежения, скорее, симпатия, ощущение, что он свой, «нашенский», плоть от плоти народный. И его жена, простая, открытая, с доброй, приветливой улыбкой дополняла ему народной симпатии.

Помню приезд Хрущёва в Минск. По пути следования кортежа — толпы людей. Хрущёв, стоя, ехал на маленькой скорости в открытой машине с поднятыми в приветствии руками. Люди, улыбаясь и скандируя

«Никита! Никита!», с тротуаров двинулись на проезжую часть и облепили автомобиль, который, буквально раздвигая толпу, с черепашной скоростью пробирался вперёд. Хрущёв на ходу пожимал протянутые руки, в том числе и Линде.

Но главным в нём была восприимчивость ко всему позитивно новому, которое он со всем своим неумным темпераментом начал внедрять в стране. Чрезвычайно важным, на мой взгляд, событием была его поездка в США, за которой мы пристально следили и которая широко освещалась в прессе и на телевидении. Его восторженно принимали тысячи простых американцев, и оттуда он вернулся явно полным впечатлений и преисполненным новых замыслов и свершений, которыми он широко делился в своих частых публичных выступлениях. Девиз «Догнать и перегнать Америку», который он выдвинул, насколько я помню, касался в первую очередь материального уровня жизни советских людей. И никому это не казалось неосуществимым. А почему бы и нет? Мы восстановили разрушенную войной страну, добились фантастических успехов в науке и космосе, наше искусство получило всемирное признание, наша оборона несокрушима, двухсотмиллионный, многонациональный народ един и монолитен, а наша социалистическая система справедлива и по сравнению с капиталистической системой имеет много достижений по защите прав трудящихся. И если мы справились с такими сложными государственными задачами, то почему не сможем преодолеть свою личную бедность? Так рассуждали очень и очень многие, с надеждой глядя в будущее. Нравственное состояние общества тоже располагало к успешной реализации этих планов. Люди привыкли и умели трудиться, честно и ответственно относились к своей работе. В стране практически не было преступности, прочно держались семьи, выпивали только по праздникам.

Власть в лице Хрущёва, как никогда, была близка к народу. Мы не слышали ни о каких привилегиях и льготах, зато ходила история о том, как Хрущёв затребовал список членов правительства и Политбюро с данными по их заработной плате. Якобы, просмотрев список, в котором сам фигурировал первым, он вычеркнул сумму своей зарплаты и сверху написал другую, много ниже — 1500 рублей (к примеру, оклад моего папы составлял около 300 рублей), а затем вернул его. Разумеется, после этого никто не мог получать выше этой суммы. Об этом рассказал мне папа, но сказка это или быть, не знаю.

Во всех сферах жизни, особенно в искусстве и литературе, появилось множество молодых талантливых людей. Литература, музыка,

театр, кино, изобразительное искусство, балет, эстрада — везде засверкали новаторски многообещающие имена, ставшие сегодня классикой советского искусства периода шестидесятых-семидесятых годов.

После поездки Хрущёва в США стали очень обнадеживающе складываться отношения с этой страной, несмотря на многие негативные политические моменты типа Карибского кризиса. Идея «догнать и перегнать Америку» не стала национальной, а вот желание мира и дружбы со всеми народами, в том числе и с американским, идеи общечеловеческого гуманизма были, наверное, основополагающими. Никакой вражды к Америке люди не испытывали, наоборот, быстро вспомнили, что мы были союзниками во время войны. Горячий приём, оказанный Хрущёву, продемонстрировал нам взаимную доброжелательность американцев. Мы с огромным интересом читали появившуюся современную американскую литературу, знакомясь с произведениями Хэмингуэя, Фолкнера, Стейнбека, позднее — Сэлинджера, Сарьяна и многих других. Мы с удовольствием смотрели американские кинофильмы, такие как «Великолепная семёрка», «Война и мир», «Римские каникулы», «Двенадцать рассерженных мужчин». Мы с наслаждением слушали американскую джазовую музыку и танцевали рок-н-ролл. Новый молодой президент США Джон Кеннеди нам очень импонировал, а когда его убили, мы с глубоким переживанием смотрели по телевидению в прямой трансляции из Америки его похороны, возмущаясь и сочувствуя одновременно.

Жизнь резко менялась не только в Москве. Хрущёв обещал каждой семье отдельную квартиру — и всюду началось невиданное строительство массового жилья. Он не обещал каждому личного автомобиля, как в Америке, но в Минске, например, был открыт пункт проката легковых машин, которым я лично тоже воспользовалась после того, как получила автомобильные права. Вообще пункты проката самых разных вещей (пишущих машинок, велосипедов, холодильников, детских колясок и т.п.) по очень низким ценам стали удобным и популярным явлением бытовой жизни, так же, как и открывшиеся прачечные и химчистки. В магазинах появились первые импортные товары: одежда, обувь, сумки, косметика, ювелирные изделия.

В деревнях, вместо колхозов, стали создавать совхозы — по аналогии с промышленными предприятиями. Помню, как Хрущёв в своих выступлениях убедительно доказывал, что ни к чему крестьянам тратить свои силы на собственном непродуктивном подворье, когда, работая на современном государственном сельхозпредприятии и получая там зарплату, они смогут на заработанные деньги покупать

молоко и яйца в магазине, как это делают горожане. Действительно, почему не сделать из наших захиревших деревень благоустроенные посёлки с цивилизованным образом жизни?

Настоящая революция совершалась в эстетическом сознании людей, в том числе и бытовом. Началась она с кампании против «сталинского ампира», «излишеств в архитектуре», а охватила собой весь образ жизни. Выбрасывание на помойку старой мебели и утвари, часто имеющей антикварную ценность, превратилось в символическое утверждение нового, современного миропонимания, потребность в котором остро ощущалась всеми.

Деятельность Хрущёва наибольшей поддержкой и симпатией пользовалась среди молодежи и интеллигенции, а это являлось гарантией её успеха. Очень жаль, что он не сумел преодолеть груз изжившей себя большевистско-диктаторской идеологии, соблазна создания собственного культа при поощряющем проявлении народной любви, что он счёл себя вправе вмешаться в самую тонкую и сложную сферу духовной жизни, доступную в полной мере неширокому, но очень влиятельному по воздействию на окружающую жизнь кругу людей, — сферу профессионального творчества. Его дикие обвинения и угрозы в адрес талантливых молодых поэтов и художников, его нелепые, дремучие высказывания по вопросам искусства и культуры, его безапелляционность и самомнение свидетельствовали о завышенной самооценке зарвавшейся и непредсказуемой, малокультурной политической фигуры, и тогда, испугавшись и разочаровавшись, его разлюбила и покинула та интеллигенция, опираясь на которую, он мог действительно совершить серьёзные реформы в стране.

* * *

Вернувшись в Минск к началу учебного года в предвкушении студенческой жизни, мы узнали неприятную новость. Все первокурсники со школьной скамьи должны первый год учиться заочно, совмещая учёбу с работой «по профилю». Эта нелепая затея была отменена уже через год, но нам она доставила много психологических неприятностей.

Линда устроилась рабочей на кондитерскую фабрику, а меня через каких-то знакомых взяли архивариусом в Центральный государственный архив, который располагался на Немиге в здании бывшей церкви.

Это была наиболее унылая и тоскливая пора в моей жизни. Темные, без окон, хранилища, где находилось моё рабочее место, не-

большой женский коллектив, состоящий исключительно из старых дев. И всё-таки одно яркое впечатление осталось.

Однажды одна из сотрудниц доверительно положила мне на стол картонную коробку с архивными материалами под грифом секретности и сказала: «Почитай, а то ты тут совсем у нас закисла». Я открыла коробку и достала из неё связку писем. Начав их читать, уже не могла оторваться. Эти письма были написаны женщиной Натальей Шиляевой и предназначались они любимому мужчине Антону Евстафьевичу Адамовичу. Время написания — с конца 30-х годов до мая 1941 года. Письма были длинными, большими, каждое насчитывало несколько листов, а все вместе они представляли собой захватывающий, прекрасный любовный роман двух удивительно интересных, неординарных и красивых людей. Их автор была наделена не только ярким литературным талантом, блестящим умом, начитанностью, но и силой и чистотой чувств, редкостным женским благородством, которые сквозили в каждом слове, в каждой строчке. Уже этого одного было бы достаточно, чтобы её письма глубоко взволновали. Но это было не всё. Делясь с любимым человеком мыслями и событиями своей жизни, она постоянно обращалась к воспоминаниям об их встречах и проведённом вместе времени, и поэтому вся история их взаимоотношений разворачивалась в последовательном повествовании, и история эта была необычной.

Совсем юной, ещё несовершеннолетней, будучи ученицей 9-го класса, она приехала из Москвы на каникулы к своей бабушке в одну из деревень Кировской области. Судя по всему, её бабушка не была простой крестьянкой, потому что по вечерам у неё собирались люди, которых, наверное, можно считать сельской интеллигенцией. В один из таких вечеров Наташа и познакомилась с Адамовичем. Он был политическим ссыльным из Минска. Она подробно вспоминает свои впечатления от этой первой встречи, его внешность, как он вошёл и что говорил, и как мгновенно она ощутила в себе сразу вспыхнувшее в ней чувство «с первого взгляда». Он был человеком нелёгкой судьбы и намного старше её, но они подружились и стали вместе проводить время. Перед отъездом она первая смело призналась ему в любви. С тех пор и началась их переписка. Я, конечно же, не помню всех перипетий и подробных деталей её жизни, хотя они и были интересны. Помню только, что позднее она стала студенткой исторического факультета Московского пединститута, вышла за Адамовича замуж и родила ребёнка. Накануне войны Адамовичу разрешили вернуться в Минск. Но их счастье было недолгим. В первые же дни войны На-

таша с ребёнком эвакуировалась из Минска, а он остался, и больше они не встретились.

Взволнованная и заинтригованная, я стала расспрашивать своих сослуживцев, которые, разумеется, все читали эти письма, что им ещё известно о судьбе Натальи Адамович и её мужа. И вот что они мне рассказали, ссылаясь на одного из разговорчивых сотрудников КГБ, который однажды приходил в архив и внимательно изучал письма. Адамович был литературным критиком, видным белорусским националистом, за что его и сослали во второй половине 30-х годов в Киров. (Меня это очень удивило, я не подозревала о существовании белорусских националистов). Когда в Минск пришли немцы, он стал с ними сотрудничать, издавал газету. С ними же и ушёл при отступлении, видимо, в спешке, не успев взять с собой бережно хранившиеся им много лет письма любимой жены. Так они попали в секретную часть архива. Сразу после войны его жена Наталья приехала в Минск, чтобы узнать о судьбе мужа. Чекисты с ней побеседовали и отпустили. Она уехала в Москву. В КГБ есть сведения, что Адамович жив и находится в Германии.

Эта история меня потрясла своей реальной жизненной правдой, которая была намного глубже и сложнее, чем любой художественный вымысел.

Моя зарплата архивариуса составляла 45 рублей, это были мои карманные деньги. Все их я тратила на книги, которые в те годы были очень дешёвыми, за исключением редких изданий и альбомов по изобразительному искусству издательства «Скира», а также полных собраний сочинений русских и зарубежных классиков, которые я приобретала в букинистическом магазине. Кроме того, я получала много книг по подписке, в частности, десятитомную Всемирную историю и Большой энциклопедический словарь. В результате меньше чем за год у меня образовалась большая библиотека, которой я очень гордилась, и мама заказала для неё в мебельном ателье большой книжный стеллаж от пола до потолка. Позднее, уже в Ленинграде, из-за материальных затруднений мне пришлось почти всю её распродать.

Зимой мама поместила объявление об обмене нашей квартиры в Минске на Ригу. Как ни странно, но предложений из Риги поступило много. Мама выбирала.

— После службы в Германии папа уйдёт в отставку, и мы будем свободны. Зачем нам оставаться в Минске? — сказала она.

Я не возражала, а папу она уговорила. Было только одно препятствие — моя учёба.

— Попробуем перевести тебя в Рижский университет. Знакомых много — помогут, — так думала мама.

* * *

После летней экзаменационной сессии мы с мамой поехали в Ригу, решив совместить деловую поездку с отдыхом на Рижском взморье. Мы сняли комнату в Лиелупе, и я снова встретилась с Велтой. Она необыкновенно похорошела, стала очень женственной и модной девушкой, но по-прежнему пренебрегала мужским вниманием и «гоняла на велике» по всему взморью. Мы обе были рады встрече, а наше с мамой желание вернуться в Ригу Велта восприняла с энтузиазмом. Сама она в институт не поступала, никак не могла определиться в своих желаниях, а зимой работала в каком-то институте лаборанткой. Лето у неё было свободно, и мы практически с ней не разлучались.

Периодически мы с мамой выезжали в Ригу и смотрели предложенные для обмена квартиры. Наконец мы нашли то, что хотела мама, — просторную, трёхкомнатную, в центре города. Её русский хозяин, художник, получил заманчивое и перспективное приглашение на работу на киностудию «Беларусьфильм», новый большой корпус которой был совсем недавно сооружён почти рядом с нашим домом в Минске. Очень довольная, мама теперь приступила к решению второй проблемы — моему переводу в Рижский университет. Она обратилась за помощью к своей приятельнице, прокурору Риги, Раисе Бастиной. «О чём разговор? — воскликнула та. — Моя лучшая подруга — декан этого факультета. Всё будет в порядке!» Мы обрадовались, но, оказывается, рано. Через некоторое время Раиса смущённо сказала маме:

— Муся, всё не так просто. Декан согласна, но ректор категорически против.

Расстроенная, я пришла к Велте.

— Отец сейчас на пенсии и помочь тебе не сможет, — задумчиво сказала она, — но я попробую своими силами. Пошли!

И она потащила меня к забору, через который мы ловко перелезли и очутились на территории соседней дачи. Я молча, недоумевая, следовала за ней. На открытой террасе за столиком сидел немолодой солидный мужчина и в одиночестве пил чай, просматривая газеты. Увидев нас, он удивлённо поднял брови, но, узнав Велту, приветливо заулыбался. Велта торопливо и взволнованно заговорила с ним на

латышском языке. Он слушал её, изредка бросая на меня внимательные взгляды. Потом поднялся и ушёл в дом. Вернулся он с ручкой и листом бумаги.

— Садитесь, — пригласил он меня. — Пишите заявление на имя ректора о приёме на второй курс русского отделения филологического факультета.

Я написала. После этого он в верхнем углу на латышском языке написал резолюцию и широко расписался.

— Лудзу, — сказал он, — желаю успеха.

— Палдиес, — смущённо присела я в книксене.

Велта с довольным видом наблюдала за нами. Когда мы опять направились к забору, он укоризненно окликнул её и с улыбкой показал рукой на калитку.

— Вот, — сказала Велта, — здесь написано: принять тебя вне очереди на второй курс. И подпись. Он министр высшего образования, друг моих родителей, меня знает почти с рождения. Так что — поздравляю! Дело в шляпе.

Я бросилась ей на шею.

К встрече с ректором я тщательно готовилась. Мне хотелось произвести хорошее впечатление, чтобы не подвести министра и Велту.

В приёмной строгая секретарь взяла у меня заявление и пошла с ним в кабинет. Через некоторое время она вышла:

— Проходите.

Волнуясь, я переступила порог огромного кабинета. Из-за стола поднялся очень крупный, широкоплечий, мастодонтистый мужчина с резкими, словно вырубленными из камня чертами лица и седым коротким ёжиком волос. Он подошёл ко мне, держа в руках моё заявление, и, неприязненно глядя на меня, холодным голосом спросил:

— Каким образом вы получили эту резолюцию?

Я растерялась и сбивчиво стала объяснять, что встретила с министром благодаря моей бывшей однокласснице Велте Страздынь.

— Мы не можем вас принять, — сурово заявил он мне. — Вы не знаете латышского языка.

— Я жила в Риге с сорок пятого года и семь лет учила латышский язык. Сейчас я, конечно, многое забыла, но даю вам слово, что в течение самого короткого времени я выучу язык, это мне легко даётся, учительница меня всегда хвалила... — стала я торопливо уверять его.

Он высокомерно пожал плечами и непримиримо ответил, как отрезал:

— Мы не можем вас принять. У нас нет свободных мест.

С этими словами он вернул мне моё заявление и, повернувшись спиной, направился к своему столу. Продолжать разговор было бессмысленно. Я вышла, чувствуя себя глубоко униженной.

— Может быть, папа прав? — сказала я маме. — Латыши нас не любят, и делать нам здесь нечего.

Она тяжело вздохнула:

— Значит, не судьба...

Велта тоже огорчилась и смущённо мне сказала:

— Знаешь, пока тебя не было, здесь многое изменилось.

В том, что здесь многое изменилось, я убедилась в этот приезд ещё не один раз. В Риге открылось экскурсионное бюро, и я решила съездить на экскурсию в Таллинн, о котором мне так много рассказывала Линда. Войдя в уютное, современно оформленное помещение бюро, я поздоровалась по-латышски: «Лабдиен!» Две очень милые девушки, приветливо улыбаясь, по-латышски поинтересовались, чем они могут быть мне полезны. И тут я перешла на русский. Их лица окаменели. Одна из них ледяным тоном отчеканила:

— Все путёвки проданы. Ничем не можем помочь.

Но самое большое потрясение я испытала, когда мы с Велтой, приехав в Дзинтари навестить Таню Яссон, шли по улице и к нам обратились два очень симпатичных молодых человека, по виду студенты и москвичи. И они явно хотели с нами познакомиться. Велта, высокомерно отвернув от них голову с поднятым подбородком, с враждебной презрительностью по-латышски произнесла столь характерную для националистически настроенных латышей фразу:

— Я ничего не понимаю по-русски, только по-латышски. (Эс нэка нэ сапрот кревиески валода, тикай латвиески).

Смущённые юноши отпрянули как ошпаренные, а я потеряла дар речи. Наконец, придя в себя, я произнесла:

— Велта, что это значит? Ведь я же тоже русская.

Она смутилась. Её объяснения прозвучали маловразумительно:

— Видишь ли, русские есть разные. Вот ты, например. Таких мы уважаем, ты мой друг. Но большинство русских некультурны, не умеют себя вести, красиво держать, харкают на улице, сморкаются, мусорят. У нас без них город был бы чище.

— Но эти-то ребята чем тебя не устроили? Интеллигентные, привлекательные. Наверняка московские студенты.

Не ответив, она неопределённо пожала плечами.

Я спросила её:

— Скажи, а твои родители, старые большевики, тоже так настроены?

— Конечно, — уверенно подтвердила она.

— Но почему?! — отказывалась я понимать.

— Вы нам не даёте свободы. Мы всё должны делать по указке из Москвы. Мы могли бы жить лучше. Вот недавно этот шут гороховый (так она выразилась о Хрущёве) снял с должности нескольких наших министров. Знаешь, за что? Они приняли решение о бесплатном питании детей в школах и детских садах и бесплатном проезде. Так в Москве завопили: что за самодеятельность?! Вы что в другом государстве живёте?! По вашему примеру и другие этого же захотят! Нам ни в чём не доверяют. Если директор завода — латыш, то при нём парторг, профорг обязательно русские, и за каждым его шагом следят. Вас, русских, в Латвии уже стало больше, чем нас, латышей. Кругом всё на русском, а наш язык, между прочим, красивее вашего.

— Ну ты даёшь! — не удержалась я.

Но Велту было уже не остановить. Она стала сыпать примерами:

— Щ-щастье, день, вечер, мя-аса...А у нас — лайме, диенас, вакар, галя... Красиво, мелодично.

— Ну ладно, это несерьёзно, — пыталась я возразить ей. — В конце концов, я тоже могу найти оскорбительные доводы. Хрущёв — это Хрущёв, а причём тут такие русские, как я? Мне тоже не нравится всё то, что не нравится тебе.

— А в тебе русского ничего и нет, — заявила вдруг Велта. — Ты выросла и жила сначала в Латвии, теперь в Белоруссии.

— Здравсьте! — опешила я. — Так кто же я по-твоему?

— Ты? Космополитка! — весело выпалила Велта и рассмеялась.

Я от неё отмахнулась. Но что-то в её словах было. Действительно, а что во мне русского, кроме языка? Я в настоящей России и не жила никогда и не знаю её, кроме того, чему о ней в школе учили. Могла бы я стать, например, русской националисткой? Вон даже в Белоруссии они, оказывается, существовали... И ответила себе: нет, не могла бы. И вообще: какая чушь — этот национализм!

* * *

Я очень быстро разочаровалась в студенческой жизни. Учиться было неинтересно. Из преподавателей, кроме кафедры зарубежной литературы (профессора Лapidус и Факторович, молодой до-

цент Адамович), вспомнить некого. Однообразные, формально-схоластические, а порой откровенно тупые (по истории КПСС и марксизму-ленинизму) лекции с конспектированием под диктовку не вызывали ни вдохновляющего интереса, ни творческого соучастия, а лишь наводили тоску и порождали учебную апатию. В стипендии я не нуждалась, а поэтому кое-как сдавала зачёты и экзамены, чтобы только не отчислили за неуспеваемость. Профессиональных перспектив тоже никаких — по советским законам выпускники вузов были обязаны отработать два года «по направлению». В моём случае — учителем в деревенской школе. От подобной участи девушек могло спасти только замужество, поэтому были распространены фиктивные браки. Так как филфак состоял в основном из представительниц женского пола, его в шутку называли «факультетом невест».

Невест было много, а вот с «женихами» дела обстояли плохо. На нашем курсе, например, было всего двое юношей, оба из деревни — Толя Метельский и Коля Гаврюченко. И если Толик обладал живым умом, чувством юмора, доброжелательностью и восприимчивостью к городской жизни, то Гаврюченко был сущим монстром. Он отличался не только отталкивающей внешностью, но и патологической ненавистью ко всему, что выходило за рамки его понимания, а понимать он мог только самые примитивные вещи. Но при этом, будучи намного старше всех (ему было уже под тридцать), активно занимаясь общественной и комсомольской работой (он был тогда кандидатом в члены партии), он бдительно следил за нашим поведением, моралью и политической сознательностью и считал своим общественным долгом поучать и воспитывать нас, а также докладывать в деканат обо всём, что происходило на нашем отделении. Я вызывала у него особое раздражение, и он цеплялся ко мне по любому поводу.

В первых числах сентября нас отправили «на картошку». Это было одно из самых характерных явлений советской действительности — направлять горожан, в первую очередь студентов, на уборку урожая. Многие пытались избежать этого самыми разными способами, чаще всего, прибегая к липовым медицинским справкам. Но мне почти месячное пребывание в деревне тогда нравилось. Я получала удовольствие даже от грязной и тяжёлой физической работы на картофельном поле, не говоря уже о сборе яблок во фруктовых садах и смётывании и складировании сена. Сельская жизнь, сельская природа с просторами полей и просёлочными дорогами, по которым иногда мы ездили в телегах, сами управляя лошадьми, лёгкие утренние заморозки и по-летнему тёплые солнечные дни, напоённые осо-

бым осенним состоянием, незнакомый мне ранее деревенский быт и уклад жизни — все эти новые впечатления были для меня привлекательными. Ну, а кроме того, здесь всегда сколачивалась дружная и весёлая компания, не только в соревнующемся азарте вкалывающая на поле по щиколотку в земле, но и весело развлекающаяся после работы. Не в университетских аудиториях, а именно здесь, в деревне, мы по-настоящему определились в своих симпатиях друг к другу и передружились.

В первую же «картофельную» поездку у нас с Гаврюченко произошла серьёзная стычка. По предложению куратора мы выбрали его старостой группы. Однажды, назначив меня дежурной по кухне, он подсел ко мне, внимательно наблюдая, как я чищу картошку.

— Давно хотел с тобой поговорить, Короткова, — начал он с важным выражением лица.

— Давай, — согласилась я.

— Вот смотрю на тебя и поражаюсь. Какая-то ты не наша девушка.

— Да ну! — хмыкнула я иронически. — Это почему же?

— Слишком модно одеваешься, надо быть скромнее. Глаза красишь. Будильник какой-то на руках носишь.

— Какой будильник?! — поразила я. — О чём ты?

— Перстень у тебя такой большой, очень неприличный.

Я действительно носила перстень, который мне купила мама в Германии, — крупный квадратный аквамарин в строгой серебряной оправе. Недорогой, но изысканный в своей скромной художественной простоте. Я очень любила этот перстень, носила его много лет и очень огорчилась, когда где-то случайно его оставила, сняв с руки. Он всегда привлекал внимание художников, особенно ювелиров.

«Вот дурак!» — подумала я про Гаврюченко, но вслух сказала:

— Кому что нравится. Дело вкуса.

— Вкус у тебя какой-то не советский, — многозначительно заметил он. — И картошку ты чистить не умеешь, не бережёшь народный труд. Зачем так много кожуры счищаешь? Вот учись!

Он достал из кармана маленький складной ножик, провёл пальцем по острию и самодовольно сказал:

— Специально заточенный для экономной чистки. Смотри!

Взяв в руки картофелину, он ловко и быстро стал её чистить, тоненько снимая кожицу.

— Достойное умение для мужчины, — фыркнула я.

Он вспыхнул, лицо его исказила откровенная злоба.

— Умная очень, да? Что ты о себе воображаешь? Простой народ презираешь?! О том, что такое труд рабочих и крестьян, такие, как ты, и понятия не имеют. Белоручка!

Тут я уже разозлилась.

— Ты дурак, понял? Ду-рак! — бросила я ему прямо в лицо.

От ненависти он буквально затрясся.

— Ах, так?! Ну, погоди, Короткова! Я этого так не оставлю. Ты меня ещё плохо знаешь!

Он сложил свой ножичек, повернулся и ушёл. Я пожала плечами, но какое-то неприятное чувство осталось.

Через несколько дней после возвращения «с картошки» наш куратор, маленький, невзрачный преподаватель истории КПСС, объявил группе, что после занятий состоится внеочередное комсомольское собрание по просьбе Коли Гаврюченко. На душе у меня стало как-то тревожно, я догадалась, что Гаврюченко объявил мне войну, и подумала, что за «дурака» придётся, конечно, извиниться, но меня всерьёз обеспокоило, какова будет реакция моих сокурсников, среди которых многие являлись выходцами из деревень, на его демагогические обвинения о моём якобы презрении к простому трудовому народу. Но, оказывается, я плохо знала своих сокурсников. Когда Гаврюченко встал и важно-серьёзным тоном заявил, что нам необходимо «рассмотреть вопрос о недостойном поведении комсомолки Коротковой», кто-то с места поинтересовался, а в чём собственно дело. Гаврюченко, гордо подняв голову и прокурорски указав на меня пальцем, с неподражаемой обидой произнёс:

— Она обозвала меня дураком.

Больше он уже не смог произнести ни слова: аудитория грохнула от дружного смеха. Засмеялся и наш куратор. Мне, правда, было не смешно. Гаврюченко попытался что-то ещё сказать, но ему не дали, а мне кто-то крикнул:

— Наташка, да извинись ты перед этим дураком, и пойдём скорее домой.

Я извинилась.

Через полгода для других студентов общее комсомольское собрание факультета закончилось драматически, и не последнюю роль в этом сыграл тот же Гаврюченко. Нас всех собрали в актовом зале. На повестке дня — осуждение недостойного поведения группы четверокурсников, не совместимого со званием комсомольца и студента Белорусского университета. За столом президиума собрания с неприкосновенными лицами сидели декан, парторг и несколько преподавате-

лей. То, что происходило на этом собрании, напоминало дурной сон. Трёх девушек и двух юношей обвиняли в антисоветском и аморальном поведении. С места по очереди вставали выступающие и с возмущением и негодованием в голос приводили доказательства их вины. Они были абсурдны, нелепы и сводились к следующему: эти студенты преклоняются перед современными западными писателями, увлекаются идеологически вредными философскими идеями типа французских экзистенциалистов, критикуют в разговорах советскую действительность, читают стихи и распевают песни таких антисоветских авторов, как Евтушенко, Вознесенский и, как подчёркивалось особо, самого вредного и опасного для советской молодёжи поэта — Булата Окуджавы. Выступавший Гаврюченко обвинял их в приверженности к рок-н-роллу, развязном и безнравственном поведении, которое вызвало сожаление в том, что они курили и выпивали в стенах общежития.

Решение собрания многих из нас ужаснуло — их исключили из университета. Ни за что. Вернее, только за то, что они были умнее, развитее и независимее остальных. Я не была знакома с этими ребятами, так как только полгода пребывала на дневном отделении, но хорошо помню их приятные интеллигентные лица, их полное достоинства поведение на этом мерзком и абсурдном судилище. Они поступили очень умно: все пятеро уехали работать учителями в сельские школы на Сахалине. Через два года они с прекрасными характеристиками вернулись в Минск, уже почти как герои, и возобновили занятия в университете.

Филологический факультет располагался в отдельном здании в самом центре Минска рядом с Белорусским академическим театром, Домом офицеров и Публичной библиотекой. В этой библиотеке я проводила много времени, выписывая из фондов интересующую меня литературу и журналы и занимаясь самообразованием. Пристально следила за периодикой и публикациями в литературно-художественных журналах, таких как «Иностранная литература», «Новый мир», «Искусство кино» и «Театр». На самые интересные номера приходилось записываться в очередь. Так, около месяца я дождалась «Нового мира» с повестью Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», которая тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Тогда же, на втором курсе, я открыла для себя Достоевского, перечитала все тома только что изданного собрания его сочинений. На это ушло несколько месяцев, и все это время я была как больная — такой потрясающей силы воздействия я больше никогда не испытывала. Достоевский остался на всю жизнь самым любимым моим писателем

и по духу, и по мощи интеллекта, и по страстному накалу чувств. Удивительно, но в университете о его творчестве нам сказали всего лишь несколько слов. Так же, обмолвками, упомянули о некоторых поэтах начала 20 века, уделяя внимание лишь Блоку, Есенину и Маяковскому, а всех остальных скопом негативно причисляя к декадентам. А ведь тогда жила ещё Ахматова, но мы, студенты филфака, даже не подозревали о существовании такого поэта в России.

Всё вместе взятое не способствовало моей любви к альма-матер. Я стала относиться к пребыванию в университете как к неприятной необходимости, получая удовольствие только от общения со своими однокурсниками, среди которых были и умные, и самобытно-яркие личности. Со всеми у меня сложились добрые отношения, но самой близкой студенческой подругой стала Вика Добролюбова, которая перевелась к нам из театрального института.

Невысокого роста, с неброской внешностью, она первое время с замкнутым лицом отчуждённо присутствовала на лекциях, холодно присматриваясь к окружающим. В ней чувствовалась какая-то напряжённость. Но потом она оттаяла, расслабилась, и мы увидели очень обаятельную, умную и общительную девушку. Позднее она рассказала мне, что уход из театрального института явился для неё хоть и осознанно-добровольным шагом, но внутренне тяжёлым и даже мучительным. Она стала сомневаться в своём артистическом таланте и решила, что лучше быть хорошим филологом, чем бездарной актрисой. Ещё позднее я узнала, что Вика сказала мне неправду. На самом деле она считалась в институте одной из самых талантливых, а причиной ухода стала некрасивая любовная история. Если судить по тому, как лгала Вика, а делала она это, как выяснилось впоследствии, очень часто и не по мелочам, а по-крупному, то она и в самом деле была прекрасной актрисой.

Она была сложным и противоречивым человеком, но глубоким и содержательным. С одной стороны, очень рациональна и расчётлива, с другой — глубоко эмоциональна, щедра и отзывчива. Иногда я чувствовала, как она комплексовала, несмотря на то, что тщательно это скрывала. Думаю, что она переживала из-за своей скромной внешности, так как в глубине души по-прежнему лелеяла надежду стать актрисой. Она, конечно, не была красавицей, но обладала особой женской привлекательностью и, если хотела, могла обворожить многих. Страдала она и от своей бедности, так как не могла позволить себе ни модной одежды, ни дорогих удовольствий. При этом она остро осознавала своё внутреннее превосходство над многими окру-

жающими и не прощала им, если они этого не понимали. Я же это превосходство видела, понимала и ценила, может быть, поэтому она искренне любила меня, а так как была немного старше и опытнее, играла роль любящей старшей сестры. Когда у неё спустя несколько лет родилась дочка, она дала ей имя Наташа и, не скрывая, что сделала это под влиянием дружеских чувств ко мне, называла её Талочкой, как звала меня моя мама.

Общение с Викой сыграло важную роль в моей жизни. У неё был тонкий художественный вкус и острый ум. Она хорошо разбиралась в людях и отличалась редкой проницательностью. С профессиональных позиций оценивала произведения театрального и киноискусства. Вика выросла в театральной семье, её отчим, Кузьма Львович Кулаков, был известным артистом в Русском драматическом театре, а старший брат Игорь учился во ВГИКе на режиссёрском факультете в мастерской Михаила Ромма. Приезжая в Минск, Игорь Добролюбов рассказывал нам много интересного из мира кино. В частности, он как-то сказал:

— У нас учится потрясающий парень, из алтайской глубинки. Немножко чудак, но потрясающе талантлив. Запомните имя — Вася Шукшин.

В городе у Вики было большое количество приятелей и знакомых, особенно в театральной и телевизионной среде. Благодаря ей круг моих знакомых и друзей в Минске значительно расширился.

Линда тоже не испытывала удовлетворения от пребывания в Политехническом институте и жаловалась на отсутствие интересных знакомств. Она была общительным человеком, и у неё было много знакомых и приятельниц, но, кроме меня, ни одной близкой подруги. Я ввела её в круг моих новых друзей, и она вписалась в него легко и органично. Линда по-прежнему с увлечением занималась фотографированием и делала большие успехи. Однажды, когда мы сидели у неё дома, она предложила мне сфотографироваться. Долго устанавливала фотоаппарат и лампу-вспышку. Я дурачилась, а она терпеливо щёлкала. Через некоторое время был мой день рождения. Линда пришла меня поздравить с большим плоским свёртком в руках. Развернув, я увидела собственную фотографию. Это был выразительный, мастерски скомпонованный большой портрет, наклеенный на картон. В углу написано: «Н.К. от Л.Т. 12 декабря 1961 г.» Портрет этот до сих пор висит у меня дома и вызывает восхищение у каждого, кто его видит.

Кроме Линды, я поддерживала отношения с ещё одной моей бывшей одноклассницей — Таней Барейко. Она пришла к нам в 10-й класс

второгодницей. Мария Павловна попросила меня помочь ей в учёбе, чтобы Таня смогла окончить школу. Я действительно ей помогла, и по окончании школы она поступила в институт физкультуры.

Мы с ней были слишком разными людьми, чтобы стать близкими подругами, но так как жили по соседству, то часто встречались, а это способствовало нашему общению. Она считала меня очень умной и серьёзной, а я её очень легкомысленной и поверхностной, и, может быть, как раз в силу этого, мы испытывали друг к другу взаимное любопытство.

У Тани была необыкновенно привлекательная внешность: блондинка с волнистыми волосами, большими серо-голубыми глазами, классически точёным носом и красиво нарисованными губами, которые всегда соблазнительно блестели.

Отец её погиб на войне, и мать, учительница начальных классов, одна растила двух дочек: старшую Галю и младшую Таню. Жили они очень бедно, но Таня каким-то удивительным образом одевалась всегда по самой последней моде, причём настолько впечатляюще, что обращала на себя всеобщее внимание. И с интеллектом, и со вкусом дела у неё обстояли неважно, но зато она обладала целым рядом таких качеств, которые мне были абсолютно не свойственны. Мама Таню очень полюбила. Я недоумевала: за что? Мама ответила просто:

— Очень славная девочка.

— Но одевается?! Форменный попугай.

Мама засмеялась:

— А ты ей подскажи.

Я и «подказала». Так прямо и заявила:

— Танька, ты одеваешься, как форменный попугай.

Она смутилась:

— Язва ты, Короткова.

Но не обиделась. Более того, часто перед ответственными свиданиями она звонила мне и говорила:

— Ты дома? На минутку надо забежать.

Забегала и, покрутившись, интересовалась:

— Ну, как? Так ничего?

Я придиричиво оглядывала её. Иногда доставала что-нибудь из своих «тряпок», и мы вносили изменения в её туалет.

Мама дала ей очень точную характеристику: «славная». Жизнерадостная, весёлая, общительная, никогда не унывающая, беззлобная, ни на кого и ни на что не обижающаяся, доброжелательная настолько, что видела в людях исключительно их достоинства и не замечала недостатков. Общение с ней было лёгким и приятным, доставляло

удовольствие и никогда не обременяло. Жизненная энергия была в ней через край и действовала заразительно на окружающих. Мужчины липли к ней, как осы на сладкое. Едешь ли с ней в автобусе, идёшь ли по улице — обязательно кто-нибудь да «приклеится». Для меня это было непостижимой загадкой. Она могла одновременно встречаться с несколькими молодыми людьми и всеми была одинаково увлечена. Я часто упрекала её в неразборчивости, она соглашалась, но ничего не могла с собой поделать — такая уж у неё была натура. Мне казалось, что она, как красивая бабочка, бездумно порхает по жизни в поисках радости и удовольствий.

Но было в её жизни то, к чему она относилась серьёзно и ответственно, — это спорт. Таня занималась фехтованием. Как и почему она выбрала такой редкий и аристократический вид спорта, не знаю, но, наблюдая её на соревнованиях, куда она часто меня приглашала, я проникалась к ней уважением. Передо мной представала другая Таня — волевой, смелый и напористый боец с целеустремлённым сильным характером.

Заканчивался второй курс. Впереди были летние каникулы. На Рижское взморье ехать уже не хотелось, а под Минском не было привлекательных курортных и дачных мест, поэтому многие минчане летний отдых проводили на юге. Я давно мечтала побывать на Чёрном море и Кавказе. Мама не возражала, но одну меня отпустить боялась, а у всех моих подруг на лето были другие планы. Я предложила поехать вместе со мной Тане. У неё загорелись глаза, но тут же она грустно отказалась:

— Мне не потянуть, слишком дорого.

Мама предложила Тане оплатить её поездку, ведь мы тогда не нуждались, а ради того, чтобы любимая дочь получила удовольствие, мама ни перед чем не останавливалась. И мы с Таней поехали в Сочи.

На прощанье мама, слегка нервничая, сделала мне несколько наставлений и напутствий, главным из которых было ни в коем случае не общаться с грузинами.

— Говорят, они очень любят блондинок, похищают их и увозят в горы. Будьте, девочки, очень осторожны и чаще пишите, чтобы я не волновалась.

На вокзал Таня пришла с большим алюминиевым гимнастическим обручем.

— Зачем он тебе? — удивилась я.

— Это хула-хуп. Последний писк моды.

— Какой же это хула-хуп? Хула-хуп пластмассовый, меньше и легче. Видела я их в Германии.

— Ну, так то в Германии... Не всё ли равно? Главное животом крутить.

Я только недоумённо пожала плечами.

Приехав в Сочи, мы легко и быстро нашли и сняли маленькую комнатку в центре города и на другой день на битком набитом автобусе отправились на центральный пляж по подсказке хозяев квартиры.

То, что я увидела, привело меня в совершеннейший ужас: неслетная человеческая масса — тело к телу на берегу и голова к голове в воде. В воздухе шум, гам, крики. Таня чуть ли не на ходу стала раздеваться, но я вцепилась в неё и почти завопила:

— Идём отсюда немедленно! Это же кошмар!

— Ты чего? — удивилась она. — Сейчас найдём свободное местечко, не волнуйся.

— Нет, здесь не останусь, — категорически заявила я на грани истерики. — Давай искать другой пляж.

Она посмотрела на меня как на ненормальную, но, видя, что я действительно нахожусь почти в невменяемом состоянии, стала меня умоляюще уговаривать:

— Ну давай хоть часок здесь побудем, жарко же, искупаемся, а потом поищем другое место, хотя я думаю, что так будет везде.

Она смотрела на меня просящими глазами, и я согласилась. Присела, не раздеваясь, на горячие камушки и загрустила. И ради чего мы сюда приехали? Большой город, весь в раскалённом асфальте, толпы распаренных, потных людей, слипшихся в очередях. А море? Тут и трёх шагов не проплывёшь, чтобы кого-нибудь не задеть локтями. Наверное, пока не поздно, надо уехать в какое-нибудь другое место, где не так много отдыхающих.

А где же Татьяна? Я увидела её метрах в двадцати пяти посередине пляжа. Вокруг неё столпились зеваки, а она в упоении демонстрировала им свой хула-хуп. Делала она это виртуозно, поднимала обруч почти от щиколоток до шеи. Под аплодисменты, сияющая, она вернулась ко мне.

— Иди купайся, и мотаем отсюда, — почти со злостью сказала я ей.

— А ты?

— Я не хочу.

— Ну, и я тогда не буду, — расстроено вздохнула она.

Так и не искупавшись, молча, мы направились к выходу.

— Вот уж не думала, что у тебя такой капризный характер, и то тебе не так, и это не эдак, — сердито заметила Таня.

Объяснять ей, что всё здесь в Сочи мне кажется пошлым и вульгарным, было бессмысленно. Обижать Таню тоже нехорошо, она материально от меня зависит, и потом я сама пригласила её в эту поездку. Я поняла, что мне оставалось одно: смириться и как-то приспособиться.

Высокий симпатичный блондин догнал нас и отозвал Таню в сторону. Они о чём-то долго и оживлённо говорили, потом она, довольная, догнала меня.

— У нас вечером свидание, — со счастливой улыбкой объявила она.

Судя по всему, Таня свою сексуальную революцию совершила ещё в школе. Насколько я помню, она никогда не употребляла слово «любовь», а только восхищённое: «Такой мужчина! Устоять невозможно!» Для неё слова «любовь» и «секс» были синонимами. Я относилась к этому совсем иначе. Разумеется, я не разделяла домостроевских предрассудков, но любовь, в моём представлении, являлась чем-то романтическим и духовно-возвышенным, а мой любимый мужчина, о котором я, конечно же, втайне мечтала и которого жаждала встретить, должен быть личностью необыкновенной. Сильный и мужественный, умный и благородный, но самое главное — яркий и талантливый. Мужская внешность (кроме роста) значения для меня не имела, более того, красивые мужчины, особенно со смазливymi чертами лица, вызывали у меня отторжение. В своих запросах и требованиях к будущему избраннику я, наверное, не была оригинальна, а вот внутренней настроенностью, убеждённой — только так или никак, невозможностью поступиться своей мечтой я, кажется, отличалась от всех своих подруг. И уж во всяком случае, разменивать себя на сомнительные курортные связи никак не могла и не собиралась. Широта и неразборчивость Таниной натуры в условиях курорта меня стали настораживать. Поэтому, когда она ближе к вечеру напомнила мне о предстоящем свидании и, раскрыв чемодан, стала выбирать подходящий туалет, я решительно заявила, что останусь дома и буду читать книгу.

На какое-то время Таня от изумления потеряла дар речи. Потом, всерьёз разозлившись, спросила:

— Мы зачем сюда приехали?

Я пожала плечами:

— Купаться, загорать, развлекаться. Пойми, я не против знакомств и общения, но не с первыми же встречаемыми, вот так сразу.

Она всплеснула руками:

— А как?! Знаешь, Короткова, ты, оказывается, дикая, старомодная зануда, вот уж не ожидала... С такими данными, а можешь

остаться старой девой. И вообще — за кого ты меня принимаешь? Этот Гена, между прочим, очень приличный парень, оператор с московского телевидения, а его друг — актёр московской оперетты. Они приехали сюда из Москвы на машине. Покатают нас, покажут все достопримечательности.

В который раз подивившись уникальным способностям Тани к столь быстрому завязыванию интересных знакомств, я сказала:

— Ну, ладно. Только предупреждаю: никаких вольностей.

Она как-то странно на меня посмотрела, подумала, а потом уже вполне серьёзно произнесла:

— Не волнуйся. Ничего с тобой не случится. У нас законы на этот счёт строгие. Положись во всём на меня.

Так началась наша невероятно весёлая, полная забавных эпизодов, головокружительная южная курортная жизнь.

С 1968 года Таня живёт в США. Она вышла замуж за американца, добилась больших успехов в спорте, стала чемпионкой США по фехтованию в 1973 году и входила в состав олимпийской сборной США. Её имя внесено в суперпрестижное издание «Кто есть кто?», а также в «Энциклопедию клинкового оружия». У неё всё в жизни сложилось великолепно. Когда она приезжает на родину навестить родных, то почти всегда заезжает по пути ко мне в Петербург. И каждый раз мы с ней с удовольствием и смехом вспоминаем месяц нашей жизни в Сочи.

Наши первые сочинские знакомые — оператор Гена и актёр Боря — обладали тем неподражаемым московским шармом, который мне так нравился: весёлые, открытые, артистичные, к тому же очень привлекательные внешне. С их помощью мы облюбовали Приморский пляж, где было относительно немного народу и можно было не только пребывать на пляжной гальке, но и погулять по длинной набережной вдоль моря, посидеть на парапете или скамейках крытой, увитой виноградом галереи, а также побродить в тени прилегающего парка.

Самые приятные знакомства и самое приятное общение, как правило, происходят на отдыхе, когда люди не обременены заботами и тягостными раздумьями, настроены на получение удовольствий и наслаждений, взаимно доброжелательны, приветливы и потому раскрываются самыми лучшими сторонами. К тому же, наверное, каждого северного жителя, впервые попавшего в южные широты, экзотическая природа околдовывает и преображает, рождает в душе восхищение и восторг перед красотой жизни, ощущение внутреннего полёта и влюбленности. Влюблённости в солнце, море, горы и во всех окружающих.

Очень скоро здесь, на Приморском пляже, сколотилась большая, дружная и очень весёлая компания не меньше тридцати человек. Были среди них и грузины — Вахтанг, Важа и Дато. В шутку мы прозвали их «три витязя» — все трое высокие, стройные, красивые. Они приехали из Тбилиси на машине, хозяином которой был Вахтанг — самый старший из них, ему было около тридцати лет. В Тбилиси они жили в одном доме и выросли в одном дворе, а потому считали себя почти что родственниками. Вахтанг работал мастером на заводе, Важа учился в институте, а самый младший, Дато, только вернулся из армии. Ни я, ни Таня до этого никогда не общались с грузинами, и поэтому их ярко выраженная непохожесть на остальных, колоритность и своеобразие, покоряющее мужское обаяние вызывали невероятную симпатию. Они стали всеобщими любимцами.

Наша весёлая пляжная спайка запечатлена на групповой фотографии. В обнимку мы стоим на фоне пальм и бананов, счастливые и улыбающиеся, представители разных городов единой тогда страны: Москвы и Минска, Тбилиси и Киева, Вильнюса и Харькова.

Мы проводили время не только на пляже. Частыми были поездки вдоль побережья на «дикие» пляжи, пикники на Ахун-горе, ужины и танцы в ресторанах. Когда Гена с Борисом уехали в Москву, Таня закрутила роман с Вахтангом, и некоторые вечера я провела в одиночестве дома, так как грузинского темперамента все-таки побаивалась, уж слишком горящими глазами посматривал на меня Дато. Но Таня меня не подвела. Однажды за ужином в ресторане Вахтанг, подкрутив усы и подмигнув, пригласил меня танцевать. Лихо кружа в танце, он доверительно внушал:

— Зачем одна дома скучаешь? Ты не беспокойся. Мальчикам ты очень нравишься, но никто из них тебя не обидит и другим в обиду не даст, слово мужчины даю. Другьями останемся.

А когда мы вернулись к столу, он провозгласил пышный и витиеватый тост за вечную дружбу между всеми «хорошими людьми». Было в этих грузинах много трогательного и притягательного. Своей открытостью, непосредственностью они походили на больших детей, а их горячность и темперамент, жизнерадостность, душевная широта и щедрость подкупали своим артистизмом. Иногда, правда, складывалось такое впечатление, что они талантливо разыгрывают какую-то свою национальную пьесу о рыцарском благородстве, мужской чести и возвышенных чувствах. Но если это даже и так, то исполнение их было искренним, убедительным, а главное — они сами верили в то, во что играли, и честно стремились соответствовать избранной роли.

Как-то я в одиночестве сидела на берегу, с блаженством шевеля ногами в воде. Ко мне подсел рослый черноволосый молодой человек. Пристально посмотрев мне в лицо, он с лёгкой иронией спросил:

— Вам нравятся грузины?

Его вопрос мне не понравился, и чуть вызываяще я ответила:

— Да, нравятся.

— Вы ведь не такая, как ваша подруга. Что же вам в них может нравиться?

Его бесцеремонность меня разозлила.

— Слушайте, какое вам до этого дело?

— Я просто знаю им цену, — мягко ответил он, — и хочу вас предостеречь. Вы мне нравитесь.

Что-то в нём было такое, что меня заинтересовало, поэтому я не встала и не ушла.

— Вас ведь зовут Наташа, и вы из Минска, правильно?

— Откуда вы это знаете? — удивилась я.

— Здесь все друг про друга знают. Я давно за вами наблюдаю.

Он говорил как-то с трудом, и только потом я догадалась, что он старается преодолеть заикание.

— А я из Еревана. Но сейчас живу в Москве, учусь в аспирантуре МГУ. По профессии я физик. А вы, наверное, студентка и наверняка филолог. Я угадал?

Его проникательность меня удивила. Он был интеллигентен, симпатичен и всё больше заинтриговывал меня.

— Вы здесь один? — поинтересовалась я.

Он кивнул.

— Так, может быть, присоединитесь к нам?

— Спасибо. Я не люблю больших и шумных компаний, тем более с присутствием грузин.

Как и все в стране, благодаря в основном широко распространённым анекдотам про «армянское радио», я слышала о взаимной нелюбви армян и грузин, но не вникала в суть их отношений. Теперь же я заинтересовалась:

— За что же вы их так не любите?

— Бездельники, считающие себя аристократами Кавказа. Что они умеют, эти мнимые князья? Пить вино, произносить тосты, петь и танцевать. Живут за счёт винограда и мандаринов.

— Ну, виноград, кажется, не так просто вырастить, — попыталась я возразить.

— Как вы думаете, кто фруктами на ваших рынках торгует?

— Ну, наверное, кто выращивает, тот и торгует.

— Правильно, только ни одного грузина на рынке вы не найдёте. Что вы! Это ниже их достоинства — на рынке торговать и тяжёлую работу выполнять. Они эксплуатируют малые народы, абхазцев, например, с которыми обращаются как господа с прислугой. У них плантации, как у помещиков, и стада баранов, как у баев. А трудятся наёмные рабочие, не грузины.

— А почему вас, армянина, это так волнует?

— Меня это не волнует, но я презираю их спесь, горор и бахвальство. Нас, армян, они иначе не называют, как сапожниками и парикмахерами. А мы, между прочим, одна из самых древнейших, культурных и талантливых наций мира. Вы читали Шота Руставели, «Витязь в тигровой шкуре»?

— Да, конечно.

— Но вы, наверняка, не знаете, что Руставели нечистоплотно присвоил себе наш армянский эпос. Нет, грузины — непорядочный народ.

От этого разговора я, с одной стороны, испытывала неловкость, а с другой — любопытство. Видя, что я слушаю его с интересом, мой собеседник стал с гордостью рассказывать историю армянского народа, перечислял имена знаменитых учёных и деятелей литературы и искусства, живших и творивших по всему миру. И это был очень познавательный и увлекательный, эмоциональный рассказ, и в результате я в полной мере прониклась большим уважением и к истории Армении, и к армянскому народу.

Но когда он предложил мне встретиться вечером, я, извинившись, сказала, что у меня, к сожалению, другие планы. Его это, кажется, обидело.

— Долго же вы беседовали, — заметила Таня, когда я вернулась на наше обычное пляжное место. — И кто этот симпатичный парень?

— Он из Еревана.

Стоящий рядом Вахтанг, погладив свои усы, с лёгким презрением воскликнул:

— Ха! Зачем такой, как ты, общаться с этими сапожниками и портными?

Я промолчала. Ну что тут можно было сказать?

Когда наступило время нашим друзьям-грузинам возвращаться в Тбилиси, Вахтанг предложил нам с Таней поехать вместе с ними до Сухуми.

— Мы покажем вам красивые места Грузии, а вечером на электричке вернётесь из Сухуми в Сочи.

Мы согласились. Это была восхитительная поездка. Мы побывали на широко известном горном озере Рица, где катались на катере, восторгаясь сказочной красотой пейзажей, и лакомились вкуснейшей местной форелью. Мы побывали в Новом Афоне и осмотрели старинный монастырь. Остановившись на Рицинском перевале, мы пили прозрачную ледяную воду из красивейшей горной реки, через которую был перекинут канатный мост, а проезжая вдоль моря, по пути купались на диких пустынных пляжах. На подъезде к Сухуми мы остановились в Эшери и долго обедали в удивительном ресторане, расположенном в большой пещере, освещённой горящими факелами, с настоящим огромным очагом, в котором пылал открытый огонь. Посетителями были одни кавказские мужчины, которые сначала бесцеремонно пилились на нас и цокали языком от восторга, а потом стали посылать на наш стол бутылки вина.

В Сухуми, уже поздно вечером, Вахтанг доставил нас прямо к вокзалу.

— Никуда отсюда не уходите, пока не придёт электричка. Ни с кем не общайтесь и не знакомьтесь, здесь это небезопасно, — как старший давал он нам наставления на прощанье.

Мы обменялись адресами, обнялись, расцеловались и с грустью расстались. Эти ребята были истинными рыцарями и кавалерами и стали для нас хорошими друзьями. Поздно ночью мы с Таней вернулись в Сочи, а уже через три дня самолётом прилетели в Минск.

В аэропорту нас встречала мама.

— Ну, глядя на вас, ни к чему и спрашивать, как вы отдохнули, — сказала она. — Расцвели, поправились, загорели-то как! Весело хоть было?

— Ещё как! — ответили мы.

Прошёл год. Тёплым солнечным днём в первых числах сентября я возвращалась из университета. Ещё издалека около подъезда своего дома я увидела большой мотоцикл и рядом на скамейке сидящего мужчину. Он встал, пристально в меня вглядываясь. Я не поверила своим глазам: Дато! «Не может этого быть, — подумала я, — просто это кто-то очень на него похожий». Но это, действительно, был Дато. Изумлению моему не было предела.

— Дато! Какими судьбами ты здесь оказался?

— Вот приехал друзей повидать. Я теперь у Вахтанга на заводе работаю. Мотоцикл купил.

— Ты приехал на мотоцикле из Тбилиси?! Чтобы увидеть нас с Таней?

Он кивнул. Потом с ревнивым видом заметил:

— У тебя загар южный. Где отдыхала?

— С родителями в Крыму. А ты?

— А мы опять были в Сочи. Вас искали. Но из нашей компании никого не встретили. В этот раз скучно было. Вот я задумал всех по-видать. Был в Москве. А потом решил и к вам поехать. Ты рада меня видеть?

— Конечно же! — заверила я его, пребывая тем не менее в некоторой растерянности от такого неожиданного визита.

Он бросил на меня какой-то подозрительно-недоверчивый взгляд. И вообще, в нём чувствовались замешательство, скованность и напряжённость.

— Ну, пойдём, — пригласила я его.

— Я уже был у тебя. Твоя мама, кажется, испугалась, когда меня увидела.

«Ещё бы!» — подумала я, глядя на него. Почти двухметровый верзила с чёрными, как смоль, волосами и мрачно сверкающими чёрными глазами.

— Это от неожиданности, — успокоила я его. — Не беспокойся, я ей про вас рассказывала, она всегда хорошо относится к моим друзьям.

Мама, действительно, уже вполне овладела собой, была гостеприимна, накрыла в кухне обед и оставила нас вдвоём.

— Ну, рассказывай, кого ты видел в Москве, — стала я его спрашивать.

Он горько усмехнулся.

— Всех видел.

И мрачно замолчал. Мне удалось его разговорить, и то, что он рассказал, мне совсем не понравилось. В нашей сочинской компании было четверо москвичей: оператор Гена, артист Боря и Алла со Светой — обе помощницы режиссёра с московского телевидения. Встречу с Дато они предложили отметить в ресторане.

— Хорошо посидели, весело, совсем как в Сочи, — рассказывал Дато. — У них ни у кого денег не оказалось, мне платить за всех пришлось, всё отдал, что было. А потом они сказали мне «до свиданья», ручками помахали и домой пошли. Я в сквере ночевал, на гостиницу денег не осталось. Скажи, друзья так поступают? Да если бы они к нам в Тбилиси приехали, мы бы им такую встречу устроили!

Я расстроилась. Такого беспардонного цинизма я от москвичей не ожидала. Обидеть Дато — всё равно что обидеть доверчивого ребёнка, который привязался к тебе всей душой. Конечно, он прост, наивен и необразован, не чета столичной артистической богеме, но зачем тогда было распинаться в дружбе, давать адрес, приглашать в гости?

— Ладно, — сказала я, — забудь об этом и не огорчайся. Они чего-то не поняли. Сколько времени ты думаешь пробыть в Минске?

— Завтра уеду. Через три дня надо на работу выходить. Я только взглянуть на вас хотел, мне любопытно было, какие вы не на курорте, а тут, у себя дома.

Я позвонила Тане.

— Ставь чайник. Мы сейчас с одним общим знакомым к тебе прийдём.

— Да?! А с кем? — заинтересовалась она.

— Увидишь. Тебя ждёт большой сюрприз.

Когда, открыв нам дверь, Таня увидела Дато, она, со всей своей непосредственностью, завизжала от восторга и бросилась ему на шею. Довольный Дато смущённо улыбался.

Вечером мы погуляли по городу, показывая Дато Минск. Он переночевал у меня, мама дала ему денег на обратный путь, и он, оглушительно взревев мотором мотоцикла, умчался в Тбилиси. Вскоре почтовым переводом он вернул долг, а к Новому году мы с мамой получили из Тбилиси огромную посылку с разнообразными домашними сухофруктами, орехами и чучелой, которая так понравилась мне в Сочи и которой я там с удовольствием лакомилась.

* * *

Я вступила в тот возраст, когда главным и определяющим в жизни стало женское начало. Перед этой природной сутью на задний план отступило всё: и учёба, и мечты и мысли о будущей работе. Во мне совершалась сложная внутренняя психологическая и жизненно-ценностная ориентировочная перестройка. И если раньше на вопросы: кем стать в этой жизни, чего я хочу от неё — ответы представлялись мне очевидными и содержали в себе представления о личном профессиональном успехе и активном участии в жизни общества, то теперь всё в моих мыслях спуталось и изменилось. Меня стали обуревать совсем иные мечты и желания. И в первую очередь — жажда любви и поиск своего мужского идеала. Любви большой, красивой, яркой, необычной. Такой, о которой написано в книгах. Такой, в которой мужчи-

на — сильный и талантливый творец жизни, а женщина — его верная жена и сподвижница. Татьяна Ларина, Наташа Ростова, «тургеневские девушки» были моими любимыми героинями. «Ты идеалистка, слишком много начиталась книг», — говорила мне Вика. А я думала: «Но и в жизни ведь были же жены декабристов, Софья Андреевна Толстая, Анна Григорьевна Сниткина...» — «Всё это приукрашивание, — спорила со мной прагматичная Линда. — Уверена, в жизни было иначе, проще и совсем не так красиво, а в мемуарах чего не напишешь. Бумага всё терпит. Брось ты эти романтические бредни».

Однажды мы с Линдой играли на поляне в парке Челюскинцев в бадминтон. Неподалёку сидели на траве две цыганки с маленькими детьми. Когда, поиграв, мы направились домой, одна из них подошла ко мне.

— Давай погадаю, красавица!

— Денег нет, — отмахнулась я, — да и не верю я в гадание.

— А я тебе и без денег скажу. Знай: муж в тебе будет нуждаться, как грудной ребёнок в материнском молоке.

Отойдя от цыганки подальше, я озадаченно обратилась к Линде:

— И как это понимать? Я что же, выйду замуж за инвалида?

Состроив глубокомысленную мину, Линда насмешливо ответила:

— Ты станешь музой нового Пушкина. Очень романтично!

Я, действительно, по своей натуре была всегда романтической особой, но при этом ещё, наверное, и ортодоксальной, особенно в вопросах нравственных. Это сложное сочетание в моём характере часто доставляло мне неприятности и даже жизненные невзгоды, но поделаться с этим я ничего не могла. После трезво-циничных разговоров и споров со своими подругами я возвращалась домой в угнетённом состоянии. Ложилась на кровать и, казалось бы, без всякой на то причины начинала плакать. Иногда слёзы перерастали в настоящую истерику. Мама испугалась и, решив, что во мне «заиграли гормоны», стала активно искать среди знакомых подходящего «жениха». Но дело было не только, а может быть, и совсем не в этом.

Я начала испытывать мучительную неудовлетворённость от жизни и окружающих меня людей. В таких случаях в народе говорят: «С жиру бесится». С обывательской точки зрения ко мне это относилось в полной мере. Ибо я имела всё, о чём могла мечтать почти любая моя ровесница. Дома мне ни в чём не было отказа, я всегда располагала большими карманными деньгами, которые мама выдавала мне по первому требованию, я одевалась в дорогие и модные одежды, которые родители покупали мне в Германии. У меня были близкие и

любимые подруги и широчайший круг приятелей и знакомых, среди которых можно было незатейливо провести время. Наконец, я обладала привлекательной внешностью, и круг моих поклонников постоянно расширялся. И тем не менее я чувствовала себя несчастной. Не было в жизни какого-то важного смысла, к которому я стремилась, но нащупать, определить который не могла. Мне нужны были новые жизненные впечатления, а их мне могли дать только сильные, яркие люди, способные на необычные проявления, но среди моего окружения таких людей не было.

В это время в стране развернулась огромная, широкомасштабная кампания по освоению целинных земель. Главная роль в осуществлении этого глобального проекта отводилась комсомолу. И хотя я уже давно разочаровалась в идеологии социализма и коммунизма и только формально числилась комсомолкой, но тут всерьёз загорелась. В моей памяти возник роман «Мужество» Веры Кетлинской о строительстве города Комсомольск-на Амуре, который я с увлечением читала в детстве и который тогда поразил меня возвышенностью чувств и поступков, описанием трудных испытаний, которые преодолевали главные героини-комсомолки. В моей столь гладкой, ровной, благополучной жизни не было ни трудностей, ни испытаний, а потому, решила я, мне необходимо их перенести и пережить, иначе моя жизнь не будет полноценной.

— Только через мой труп! — так отреагировала мама на моё решение и в тот же день написала папе отчаянное письмо.

Она уговаривала, заклинала, умоляла. Я стояла несокрушимо. Мы ждали папиного ответа. Мама заметалась.

Через несколько дней, чуть смущаясь и пряча глаза, она сказала мне:

— Талочка, сегодня к нам в гости придёт Клара Турышева с друзьями. Ты оденься понаряднее.

— Клара!? Чего это вдруг? С какой стати? — поразилась я.

Клара была дочкой наших знакомых и старшей сестрой Игоря Турышева, того самого, который рекомендовал нам учителя музыки Юрия Васильевича. Она окончила институт иностранных языков, работала переводчиком и была замужем. Мы с ней были только знакомы и никогда близко не общались.

Мама смутилась ещё больше.

— Она хочет познакомить тебя с одним молодым человеком.

— Да ты что?! — возмутилась я. — В какое положение ты меня ставишь? Сватовства нам не хватало!

— А что тут особенного? — возразила мама. — Они придут компанией, как бы случайно. Клара всё сделает деликатно. Посидите, попьёте чайку, побеседуете. А там уж сами решите, понравились друг другу или нет. Пожалуйста, Талочка, ради меня. Переиграть уже нельзя, неудобно.

— Ладно, — нехотя согласилась я.

Они пришли впятером: Клара, её приятельница Жанна с младшим братом Гариком, студентом Политехнического института, который выступал в роли «жениха», а также Лора и Анатолий. Мама усадила нас за накрытый к чаепитию стол, какое-то время пообщалась с гостями, а потом куда-то ушла. Изображая приветливую хозяйку, я с вежливой улыбкой исподтишка рассматривала своих гостей. Все три женщины были как пульки одного калибра — мелкие миловидные брюнетки под тридцать. Они вовсю старались создать непринуждённую светскую атмосферу. Гарик был приятным, симпатичным юношей. И не более того. Несколько стеснясь и преодолевая свою неопытность, он довольно активно принялся ухаживать за мной. Внутренне потешаясь над ситуацией, я, уже в который раз, поймала себя на том, что не могу воспринимать парней-ровесников как мужчин, достойных внимания. А вот Анатолий меня заинтересовал. Крупный, широкоплечий мужчина лет тридцати-тридцати двух, с умным, выразительным лицом, тёмной курчавой шевелюрой, открытой улыбкой и добрыми манерами. Как выяснилось, он был скульптором.

Мы мило провели вечер в довольно пустой болтовне. А когда гости поднялись из-за стола, Гарик предложил мне покататься с ними на машине, он недавно получил водительские права. Я согласилась.

Был уже поздний вечер, на улице совсем темно. Мы выехали из города на Вильнюсское шоссе. Гарик ехал медленно, осторожно, напряжённо вцепившись в руль. Если он хотел произвести на меня впечатление, продемонстрировав себя за рулём папиного автомобиля, то добился обратного результата. Поездка удовольствия не доставляла.

— А можно мне повести машину? — не выдержала я.

Он растерялся.

— А ты умеешь? — удивлённо спросил он.

Я кивнула. Отказать мне он не решился, но очень занервничал. Остальные тоже напряжённо притихли. Я мягко тронулась с места, быстро разогнала автомобиль, и мы лихо покатали по шоссе. Скоро мои пассажиры успокоились. Тогда, увидев поворот на просёлочную дорогу, я завернула на неё и, проехав лесом около километра, остановила машину на краю большого, неожиданно открывшегося поля. Мы вышли.

Чистый и прохладный воздух освежил нас. Кругом стояла необыкновенная тишина. Полная луна заливала холодным серебристым светом открытое ровное пространство широкого поля, окаймлённого на горизонте тёмной стеной леса. Высокий чёрный небосвод ярко мерцал мириадами звёзд. Великолепие ночи и природы окружало нас.

— Мужчины направо, женщины налево! — игриво скомандовала Жанна.

После её слов мы остались с Анатолием одни, остальные разбежались по кустикам. Он стоял, широко расставив ноги и запрокинув голову, и задумчиво смотрел на звёзды.

— Мы с Лорой сначала не хотели ехать, — негромко произнёс он, — но теперь я не жалею об этом. Увидеть такую красоту...

Повернувшись, окинул меня пристальным, изучающим взглядом.

— Я вам позвоню на днях. Не возражаете?

— Нет, — ответила я. — Не возражаю.

Он позвонил.

— У меня к вам просьба. Вы не могли бы мне попозировать? Меня заинтересовало ваше лицо.

— Хорошо, — стараясь ответить как можно более невозмутимо, согласилась я, поймав себя на том, как довольная улыбка расплзается по моему лицу.

— Мастерская на первом этаже в театральном институте. Там вам любой покажет. Фамилия моя Аникейчик.

Мы договорились встретиться через два дня.

В это время от папы пришло сердитое письмо — ответ на мамино послание о моём желании поехать на целину. Он в категорической форме возражал против «нелепой авантюры», удивлялся моей глупости и потребовал выбросить из головы «всякую дурь». Все мои друзья и знакомые также всячески отговаривали меня от «бредовой затеи» и были единодушны в этом вопросе с моими родителями. Но отказаться от своего намерения меня заставило другое обстоятельство — интерес к скульптору Анатолию Аникейчику. Мама не ошиблась в своих расчётах.

Слегка робея, я пришла на первый сеанс. Анатолий усадил меня на вращающийся подиум, который скульптуры называют «танковым кругом», и, чуть прищурившись, какое-то время изучающе всматривался в моё лицо. Потом, определив и зафиксировав нужное ему положение моей головы, он уселся перед большим куском глины и принялся за работу.

— Чувствуйте себя свободно, можете менять положение рук и ног, разговаривать и даже улыбаться. Сегодня только первый сеанс.

Почувствовав мою скованность, он стал задавать мне разные вопросы, мы разговорились, и скоро я стала чувствовать себя легко и свободно. Работал он быстро, увлечённо и периодически с искренней непосредственностью восклицал что-то вроде:

— Удивительная лепка лица! Ах, какая тонкая линия! Замечательный изгиб!

Домой я возвращалась, преисполненная значимостью собственной внешности. Вот только я никак не могла понять, нравлюсь ли я ему или представляю лишь объект профессионального интереса. Выяснилось это довольно скоро. Уже после второго сеанса мне позвонила Клара. Чуть спотыкаясь в словах, она попросила меня отказаться от дальнейшего общения с Анатолием.

— Видишь ли, Лора и Анатолий уже давно вместе, они должны были вот-вот пожениться. А тут ты появилась. Я чувствую себя виноватой, потащила их к тебе в гости. Никак не думала, что так всё получится. Лора — моя подруга, она страшно переживает.

«Жаль!» — подумала я и сказала Кларе:

— По-моему, она переживает напрасно. Конечно же, я откажусь от дальнейших сеансов. Только ты, пожалуйста, сама ему об этом скажи. Придумай что-нибудь.

Клара с облегчением вздохнула, а я с грустью положила трубку.

* * *

Моя мама была уникальной матерью. Она растила меня, совершенно не задумываясь над такой важной проблемой, как воспитание ребёнка. Она меня просто безумно любила, часто говорила: «Талка, если с тобой что-нибудь случится, я не переживу». Её главной материнской заботой было моё здоровье и счастье, под которым она понимала жизнь, полную радости, любви, друзей и ярких весёлых впечатлений и развлечений. И она старалась, как могла, чтобы всё это у меня было. Наш дом был всегда открыт для моих друзей. Мы могли развлекаться и бузить всю ночь, не давая маме спать в её комнате, где она закрывалась, чтобы не мешать нам, а на другой день мама только спрашивала: «Хорошо повеселились?» и принималась за уборку разгромленной квартиры и мытьё грязной посуды, которую мы горой сваливали на кухне.

В отличие от многих своих сверстниц, родители которых требовали, чтобы не позднее одиннадцати часов вечера они были дома, я могла с различных гулянок возвращаться домой под утро, правда, при одном условии: позвонить и предупредить, что приду поздно.

Спустя многие годы, уже став сама матерью, я как-то её спросила:

— Скажи, ты меня так баловала, предоставляла полнейшую свободу, неужели ты не боялась, что я могу наделать глупостей, испортить себе жизнь, подпасть под дурное влияние?

Она ответила:

— Ну, во-первых, я тебе доверяла, ты всегда отличалась разумностью, хотя и умные в молодости совершают глупости и ошибки. Папа меня, конечно, ругал за то, что я тебя так баловала, что ты ни в чём не знала отказа, беспокоился, что ты вырастешь эгоисткой, потеряешь невинность. А я ему заявила: «Пусть радуется жизни, пока есть возможность, а если вдруг принесёт нам в подоле, вырастим и поможем».

Про такую материнскую любовь часто говорят, что она «слепая». Не знаю. Я бы назвала такую любовь самоотверженной, и это, по-моему, высшее проявление любви. Другой вопрос — как быть её достойным.

С годами характер мамы стал портиться. Она тяжело переживала первые признаки старости, с грустью отмечала появляющиеся морщинки и седые волосы, растущую полноту, часто жаловалась на плохое самочувствие. Мы с папой, конечно же, жалели её, но по своей натуре в проявлении чувств оба были людьми сдержанными и уж точно не отличались ласковостью, а именно ласки ей и не хватало. Иногда она упрекала нас в чёрствости, хотя и несправедливо.

Жизнь домохозяйки мало способствует бодрому и жизнерадостному состоянию духа, поэтому папа всегда заботился о том, чтобы достать маме путёвки в лучшие санатории страны, и она, действительно, возвращалась оттуда помолодевшая и повеселевшая, эмоционально делясь новыми впечатлениями и знакомствами. Я, со своей стороны, старалась отвлечь её от мрачных мыслей, во всех деталях рассказывая ей о событиях и впечатлениях своей жизни и жизни моих подруг, которых она хорошо знала и которыми живо интересовалась.

Летний отдых 1962 года мы решили провести всей семьёй вместе.

— Давайте поедem на юг, вы ведь с папой там ни разу не были, — предложила я. — Чёрное море — это такая сказка!

Они согласились. Посоветовались со знакомыми, и кто-то порекомендовал им Гурзуф на Крымском побережье. Туда мы и отправились.

Гурзуф я всегда вспоминаю с волнением и незатухающей любовью. Для меня он стал тем волшебным местом, той отправной точкой, с которой началась моя новая жизнь и новая судьба.

В отличие от Сочи, Гурзуф в те годы был маленьким, тихим и малолюдным гористым местечком, живописно расположенным узкой полосой у самого моря вдоль небольшой бухты. Извилистые, интимно уютные улочки, спускающиеся к морю выщербленными ступенями; приткнувшиеся друг к другу, вросшие в каменистую почву приземистые хибарки в узких проходах почти окно в окно являли собой ярко выраженный экзотически восточный облик старинного татарского поселения.

В старом большом парке среди раскидистой зелени прятались небольшие корпуса санатория Министерства обороны, а над причалом, как капитанский мостик, парил белый корпус бывшей дачи художника Коровина, в котором разместился Дом творчества Союза художников.

Ни отелей, ни ресторанов, ни высоких современных зданий. И даже на общем пляже совсем немного людей. А если отойти чуть подальше, то вообще не встретишь ни души.

Была и ещё одна достопримечательность в Гурзуфе. На самом краю скалы узкого, выступающего в море мыса приютился плоский одноэтажный домик — бывшая дача Чехова, принадлежащая также Дому творчества художников. От неё вниз к морю вели крутые ступеньки к скалистой бухточке с маленьким пяточком гальки у воды. Это был так называемый Чеховский пляж. Его облюбовали местные мальчишки. Чёрные от загара, они проворно взбирались на высокие крутые скалы и, демонстрируя чудеса отваги и ловкости, красиво и виртуозно ныряли в прозрачную синь воды. Кроме них, на этом пляже обитали любители подводного плавания и охоты, в основном, молодёжь. Здесь, среди скал, огромных камней и подводных протоков, можно было наслаждаться красотой подводного царства, экзотичными представителями морской фауны, доставать со дна красивые рапаны.

Я влюбилась в Гурзуф сразу и безоговорочно. Купила тут же ласты, маску и дыхательную трубку и начала осваивать новый для меня вид плавания, став завсегдатаем чеховского пляжа. Никогда раньше я так не наслаждалась морем и плаванием, как этим летом в Гурзуфе.

С родителями мы проводили время порознь. Утром расставались, вечером встречались. Как всегда, они предоставили мне полную свободу. Я завела много новых знакомых среди отдыхающей молодёжи, но в основном общалась со своей ровесницей киевлянкой Катей и двумя друзьями из Москвы, студентами-биологами Аликом и Бубой. Они занимались ихтиологией и были интересными рассказ-

чиками и опытными пловцами. Жили они в палатке в горах, утром спускались к морю, а вечером возвращались обратно. Помимо пребывания на пляже мы выбирались в Никитский ботанический сад, катались на катерах, поднимались в горы, а по вечерам часто гуляли по узкому шоссе, обсаженному высокими стройными кипарисами, до Артека и обратно.

Курортная публика в Гурзуфе в основной своей массе была столично-культурной. Позднее я не раз обращала внимание, что на модных фешенебельных курортах редко можно встретить действительно интеллигентных людей, которые шуму и разухабистому ресторанному веселью предпочитают уединённую тишину природы. Здесь, в Гурзуфе, интеллигенции было много.

Особую атмосферу приносили художники, живущие в Доме творчества. Их часто можно было видеть пишущими этюды и на горбатых улочках, и среди скал у моря, и на причале.

Как-то вечером мы с Катей шли по набережной. Вдруг она толкнула меня в бок и прошептала:

— Смотри! Я давно на них обратила внимание. Вон, вон, видишь?

Навстречу нам шли, взявшись за руки, мужчина и женщина. Обоим около сорока лет. Он высокий, с широким разворотом плеч, с гордо посаженной крупной головой, длинными седыми волосами и красивым породистым лицом. Она изящная, стройная, очень пластичная блондинка, с правильными чертами лица и выразительными большими голубыми глазами. Необыкновенно красивая пара, резко выделяющаяся в толпе. Одеты они были вроде бы просто и незатейливо: он в лёгких светлых брюках и распахнутой на груди кремовой рубашке с мелкой декоративной ситцевой фактурой, а она в открытом бледно-розовом сарафанчике, но в этой скромной и непритязательной простоте их одежды почему-то явственно и осязательно просматривались тщательная изысканность и аристократизм вкуса. Они обращали на себя внимание не только своей, прямо-таки голливудской внешностью, но и каким-то особым внутренним светом, которое, казалось, излучали вокруг себя. Женщина что-то негромко говорила ему низким хриловатым голосом, при этом она повернула к нему лицо и смотрела в его глаза взглядом, источающим такое любовное обожание, что я даже почувствовала себя неловко, будто подсмотрела что-то запретное для чужих глаз.

— Ты видела? Ты видела, как она на него смотрит? — возбуждённым шёпотом затараторила Катя. — И немолодые уже, а такая любовь! Интересно, они любовники или муж с женой?

Потом я часто их встречала в самых разных местах. Несколько раз они приходили и на чеховский пляж. Взявшись за руки, они неторопливо заходили в воду, потом дружно ныряли и уплывали далеко от берега. Плавали они красиво, вытянув вперёд руки и ныряя, как дельфины. А потом так же, взявшись за руки, выходили из воды. Все ими любовались, все восторгались их любовью, все им завидовали. Даже мои родители обратили на них внимание.

— Какая красивая, счастливая пара! — заметила мама. — Интересно, кто они?

— Наверное, артисты, — предположил папа.

Но они оказались художниками. Однажды я увидела их на террасе Дома творчества. Обнявшись, они стояли у парапета и смотрели на море. Художники. Люди, которым доступна красота мира. Они её видят, они её создают, они в ней живут. Так я тогда думала.

Как и мне, родителям очень понравился Гурзуф, и мы решили, что на будущее лето опять приедем сюда.

* * *

Слово «Любовь» — наверное, самое магическое в человеческом языке. Любовь как явление — самое загадочное, многомерное и непостижимое в человеческой жизни. Вероятно, поэтому оно имеет огромное множество эпитетов и оттенков, проявлений и толкований. И каждый определяет и понимает её по-своему. Но все, и в любом возрасте, мечтают о любви, стремятся к ней, инстинктивно осознавая, что без неё пребывание на этом свете ущербно и неполноценно. Любовь дарит наслаждение, радость и счастье, но при этом ничто не может сравниться с ней по коварству, непредсказуемости и страданию. Но Бог неспроста наградил человека не только ощущениями, эмоциями, страстями, но и Разумом и волей, а они в любви играют не меньшую роль, чем чувства и случайности судьбы. Так, во всяком случае, говорит мне мой личный опыт.

Осенью Вику Добролюбову пригласили на главную роль в телевизионном спектакле. Сценарий был примитивным: возвышенно-романтическую и целомудренную девушку соблазняет опытный бонвиван, а затем, пресытившись, бросает. Партнёром Вики стал актёр Русского драматического театра Игорь Комаров. Способный, обещающий артист, очень похожий на поэта Маяковского.

Спектакль показали под Новый год. Разумеется, я его посмотрела, ведь в нём играла моя подруга. Содержание высмеяла, исполнение похвалила.

— Хочешь, я тебя познакомлю с Игорем Комаровым? — неожиданно предложила Вика. — Мы как раз на днях обсуждали, как Новый год встретить. Подбирается отличная компания. У тебя какие планы?

У меня никаких планов не было. Мама в очередной раз уехала к папе в Германию. Как всегда, она тревожилась, что оставляет меня одну, да ещё на Новый год, но я её успокоила:

— Не волнуйся. У меня сессия на носу. Буду готовиться к экзаменам, так что скучать не придётся.

Скучать мне, действительно, не пришлось. И когда мама вернулась, я огорошила её, заявив, что собираюсь замуж.

Мой первый мужчина соответствовал моему идеалу. Игорь Комаров был талантлив, мужественно красив, умён и неординарен. Он был старше на девять лет и покориł меня быстро, уверенно и красиво. «Как только разведусь, мы поженимся», — утверждал он. Я в этом не сомневалась. Но мама думала иначе. Она категорически, просто стеной встала против этого брака. Для начала она наотрез отказалась познакомиться с моим избранником. «Пусть приходит, но я его видеть не хочу», — заявила мама и или уходила из дому, или закрывалась в своей комнате. Игорь был уязвлён, но решил набраться философского терпения.

— Я понимаю твою маму. Мои родители тоже были против того, чтобы я стал актёром. Я старше тебя, к тому же женат. Со временем она успокоится и поверит мне.

Но мама не собиралась успокаиваться и исподволь проводила работу. Минск был городом относительно небольшим, и при желании через цепочку общих знакомых можно было получить интересующую информацию о любом человеке, вращающемся в орбите определенного круга.

Через некоторое время мама призвала меня к серьёзному разговору.

— Талочка, я всё про него узнала. Он сын генерала, человека уважаемого и достойного. Но в семье не без урода. Отец выгнал его из дома. Твой избранник слонялся по всяким провинциальным театрам. Он, может быть, и способный, но у него нет театрального образования. Он неуч и неудачник, получает копейки, ютится по каким-то углам. Он тебе не подходит.

Я была возмущена до глубины души:

— Как ты посмела о нём выпрашивать? Всё, о чём ты говоришь, я прекрасно знаю и сама могла тебе это рассказать, но ведь ты не по-

желала меня выслушать! Ты что, не доверяешь мне? Больше веришь всяким сплетницам?

Но мама не отступала.

— Я тебе, безусловно, доверяю. Но пойми, у тебя нет жизненного опыта. Он заморочил тебе голову красивыми словами. Я же не утверждаю, что он негодяй или ничтожество. Вполне возможно, что он неплохой человек, но у него нет будущего. Моё материнское сердце подсказывает, что ты не будешь с ним счастлива.

— Почему? — отказывалась понимать я. — Потому что он беден и артист? Ты его совсем не знаешь. А если бы он был богат и известен? А может быть, он таким и станет. Он талантливый человек, и у него ещё всё впереди.

Мама покачала головой.

— Дело не в этом. Я, конечно, не очень разбираюсь в искусстве, но зато разбираюсь в людях и в жизни. Если он в самом деле талантлив и у него есть цель в жизни, то почему он не пошёл учиться? Разве он стремится совершенствовать своё мастерство? Нет, он ведёт разгульный, богемный образ жизни. И ему это нравится. Выездные спектакли, гастроли, гостиницы, выпивки, женщины. Он уже привык к такому образу жизни и не сможет от него отказаться, как бы ни был в тебя влюблён. Талочка! Ты же совсем другая, и человек тебе нужен совсем другой. У тебя ещё есть время, развод — процедура долгая, а ты пока подумай как следует. Я желаю тебе только добра и не хочу, чтобы ты потом страдала.

Разговор с мамой породил в моей душе некоторые сомнения. То, что Игорь был человеком богемы, я видела и сама, и мне это не нравилось. Он мало походил на человека, одержимого творчеством или высокими помыслами, а разговоры об искусстве, если они и возникали в кругу его друзей, сводились к театральным сплетням, историям о чьих-то взаимоотношениях и различным слухам, байкам и анекдотам. Но я во всём винила его окружение и наивно верила в то, что, будучи его женой, сумею помочь ему стать настоящим, большим артистом, достойным его таланта. Я чувствовала, что он очень честолюбив.

Я пересказала Игорю мамины слова и увидела, что они глубоко заделали его самолюбие. С обидой в голосе и довольно резко он возразил:

— Твоя мама глубоко ошибается в отношении меня, и надеюсь, скоро она в этом убедится.

А потом ласково добавил:

— Но в одном она права. Ты, действительно совсем другая, необычная. До встречи с тобой я думал, что таких уже не бывает.

Он хотел меня поцеловать, но я отстранилась. Где-то, в самой глубине моей души, вдруг возникла необъяснимая тревожная насто-роженность.

Интуиция меня не подвела. Вскоре он неожиданно позвонил и сказал:

— Нам надо серьёзно поговорить. У меня важные новости. Че-рез полчаса буду ждать тебя у твоего подъезда.

Заинтригованная, я спустилась вниз.

— Вчера меня утвердили на роль в одном кинофильме, — на-рочито небрежно стал рассказывать Игорь. — Сценарий очень та-лантливый, пока малоизвестного писателя Василя Быкова. Режи-сёр Викторов тоже один самых перспективных на «Беларусьфильме». Актёров немного, но он их тщательно отбирал. В основном это мо-сквичи, Любшин, Жжёнов — очень талантливые артисты. Фильм мо-жет стать явлением, а для меня это очень важно.

— Так это же замечательно! — обрадовалась я.

Он кивнул и продолжал:

— Съёмки будут длиться около года, под Гомелем. Мне придёт-ся уволиться из театра. Я решил: или пан или пропал. Теперь самое главное. Этот год мы видеться не будем.

— Почему? — не поняла я. — Ведь Гомель недалеко.

— Не в этом дело. Я хочу быть на это время совершенно свобод-ным. Ты будешь меня отвлекать и мешать мне.

Последние слова меня потрясли. Горькое озарение пронзило болезненным толчком. Я молчала, чувствуя, как на глаза наворачи-ваются слёзы.

— Ты будешь ждать меня год? Всего лишь год...

— Нет, — ответила я.

— Как?! — растерялся он. — Почему? Ведь я же это делаю ради нас с тобой. Твоя мама, наконец, будет довольна.

— При чём тут мама? — с горечью возразила я.

— Да ты пойми, ничего не изменилось, через месяц я получаю развод. Но я считаю своим долгом жениться на тебе только при усло-вии, если чего-то добьюсь в искусстве. Я не могу изуродовать тебе жизнь. Нам надо потерпеть всего год.

— Почему?

— Ну как же ты не понимаешь? Такой шанс может больше не представиться. У меня должны быть развязаны руки для необходи-мых связей и контактов.

— А я тебе буду мешать?

— Ты замечательная, ты лучше всех, но совершенно не подходишь для этих целей. Ну, теперь поняла?

— Теперь поняла, — пробормотала я и подумала: «Вот и всё».

— Как будет называться этот фильм? — вяло поинтересовалась я.

— «Третья ракета». Так ты согласна?

Я кивнула головой, стремясь быстрее закончить этот тяжёлый разговор. Моя любовь и гордость были оскорблены. Я хотела как можно быстрее расстаться и уйти, не потеряв достоинства.

— Знай, я тебя очень люблю, — сказал он на прощанье.

Но я ему не поверила. А если даже это и было правдой, то такая любовь мне была не нужна. У меня о любви были другие представления, и менять их я не собиралась.

Придя домой, я не выдержала и разрыдалась.

— Что с тобой? Что случилось? — переполошилась мама.

Я вытерла слёзы.

— Ты можешь быть довольна. С Комаровым покончено.

Мама села рядом, обняла меня и с облегчением проговорила:

— Слава богу!

* * *

Для меня наступило трудное время. Я ни о чём не жалела, но меня мучила мысль, что моя любовная история оказалась такой банальной. А банальность я презирала чуть ли не больше всего. «Вот уж воистину, — печально думала я, — ничто не ново под луной». Я чувствовала и знала, что Игорь не разлюбил меня. В нашем разговоре он был искренен и предельно откровенен. Просто, как многие мужчины, славу и известность, которые замаячили на горизонте, он предпочёл любви. Это было предательство, а предательства простить я не могла.

Друзья Игоря в свое время с неослабным интересом следили за развитием нашего романа, а когда он закончился, заняли мою сторону и окружили меня трогательным вниманием и опекой.

Самым близким другом Игоря был тогда Володя Гоберман. Он работал на каком-то заводе инженером, но среди артистической богемы чувствовал себя вольготно и непринуждённо. Володя был красив жгучей внешностью брюнета с правильными чертами лица и курчавой головой. Вальяжный, неторопливый, слегка циничный, он любил отпускать порой двусмысленные шуточки своим глубоким бархатным голосом, сопровождая их неподражаемым булькающим хохотом.

У женщин он пользовался большим успехом. Когда он пристально смотрел на них своими невозмутимыми красивыми чёрными глазами и загадочно долго молчал, задумчиво и безмятежно выпуская из рта колечки папиросного дыма, они невероятно смущались и теряли голову. При первоначальном впечатлении могло сложиться мнение, что он неисправимый и даже пошловатый Дон Жуан. Но это было не так. Володя был глубоко порядочным и честным человеком с твёрдыми жизненными принципами. Он тонко воспринимал все нюансы человеческих взаимоотношений, обожал авторские песни, а слушая песни военных лет, часто умилительно пускал слезу. У него была чуткая и отзывчивая душа, а если он и бывал жесток, то только по отношению к легкомысленным и доступным женщинам, с которыми особенно не церемонился.

Мне он стал настоящим добрым другом. Часто звонил, и мы вместе проводили много времени. Он нередко бывал у нас дома, общался с мамой, а когда вернулся домой папа, они не раз сидели вдвоём на кухне, распивали бутылочку и о чём-то беседовали. Он вытаскивал меня в разные компании, сопровождал в прогулках по городу, катал на отцовской «Волге», которая находилась в его полном распоряжении. Иногда он исчезал из моего поля зрения, но обязательно звонил, чтобы лаконично поинтересоваться, как мои дела и всё ли в порядке.

Однажды он позвонил и сказал:

— Слушай, Наташа, мне твой совет нужен. Похоже, я влип. Можешь выйти? Я сейчас подъеду.

В машине рядом с Володиёй сидела девушка. Я расположилась на заднем сиденье, и мы поехали кататься за город.

— Знакомьтесь. Это Жанна, а это Наташа.

Мы улыбнулись друг другу. Жанна была молоденькой и внешне симпатичной брюнеткой. Она понравилась мне своей естественностью и скромностью. Держалась просто, не кокетничала и охотно поддерживала разговор. В её манерах и поведении проскальзывала некоторая провинциальность.

После того как мы вернулись в город, уже поздно вечером, Володя снова позвонил.

— Ну, как она тебе?

— По-моему, славная девушка. И где ты её разыскал?

— Если бы я... Это всё родители. Решили, что хватит мне гулять, жениться пора, скоро тридцатник стукнет. И вот выписали её через дальних родственников аж из Свердловска. Долго искали, по всему Союзу. Теперь вот она у нас гостит.

Я не выдержала и стала хохотать. Надо же! Вовка Гоберман, искушённый ловелас, заядлый кутила, прибрать к рукам которого мечтали многие женщины, должен жениться по выбору родителей, не зная толком своей будущей невесты.

— Очень смешно! — обиделся он. — Я же не виноват, что у меня родители такие ветхозаветные. Вообще-то я уже и сам об этом подумывал, да что-то ничего подходящего никак не встретил. А Жанна вроде ничего. Как ты считаешь?

— Очень даже ничего, — подтвердила я. — Так что смелее и вперёд! Через три месяца я гуляла на его свадьбе.

Когда в начале семидесятых они с Жанной решили покинуть Советский Союз, Володя позвонил мне в Ленинград.

— Всё! — сказал он. — Мы уезжаем. Навсегда. Хочу попрощаться.

Я всплакнула. С тех пор больше о нём ничего не слышала. И вдруг накануне 2005-го года утром раздался телефонный звонок.

— Наташа? — неуверенно спросил мужской голос. — Не узнаешь?

— Вовка! — ахнула я.

Он забулькал своим неподражаемым хохотком.

— Откуда ты звонишь?

— Из дому. Из Австралии. Мой минский знакомый в Штатах встретил Таню Барейко, и она дала твой телефон.

Мы разговаривали долго, рассказывая друг другу о себе. Володя стал богатым бизнесменом, живёт в большом собственном доме в Сиднее, двое детей, внуки.

— Это замечательная страна, и люди очень славные и добропорядочные. Жить здесь хорошо, вот только скучно. Может, приедете в гости?

— Спасибо, Володя, но нам такое путешествие уже не по силам. А может быть, ты к нам выберешься?

— А что? Может быть. Вот только вылезу из инвалидной коляски. Понимаешь, попал в страшную автомобильную аварию, еле выкарабкался. Вот когда все штыри из меня вытащат, тогда и подумаю.

Я забыла спросить у него номер телефона и адрес, а он больше не позвонил...

Многое в моей жизни могло сложиться иначе, будь у меня другой характер. Природа одарила меня хорошей памятью, любознательностью и восприимчивостью, эмоциональностью и жизненной активностью, женской привлекательностью. Я всегда была способной ученицей и хорошим работником. Меня ценили учителя и начальство, уважали коллеги, любили ученики. Большое количество женщин, не

имея и половины моих достоинств, сделали блестящую карьеру. Я же в своей жизни не добилась никакого личного успеха. И это несмотря на то, что судьба была чрезвычайно милостива ко мне и неоднократно предлагала заманчивые шансы и возможности. И каждый раз я сама отталкивала их обеими руками. Теперь, на старости лет, часто обращаясь мыслями к прожитой жизни, я спрашиваю себя: если бы я воспользовалась теми предложениями, которые мне делали, стала бы моя жизнь счастливее? И почему всё-таки я ими не воспользовалась? Что это: глупость, ошибочные заблуждения или изъяны личности? «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» — казалось бы, этот девиз впечатан в мою душевную память с детства и был мне всегда близок. Но я оказалась не борцом. Почему-то в любой новой, ещё не освоенной мною обстановке я страдала комплексом неуверенности в себе. А когда эта уверенность появлялась (а она потом всегда появлялась), при малейшем, пусть даже подспудном, недоброжелательном или неприязненном сопротивлении, унижительности или неприличии ситуации, ущемлении собственного достоинства я отступала. Какая-то обострённая психологическая и эстетическая брезгливость, независимо от моей воли, органически не позволяли мне «сражаться за себя». Про таких людей очень точно и пренебрежительно говорят: «чистоплюи». В нашей жизни они обречены на неудачу и неуспех. Вот только до сих пор я так и не поняла, правильно это или нет, хорошо или плохо.

Один из приятелей Игоря Комарова — Гена Белькевич — работал ассистентом режиссёра на «Беларусьфильме». Он мечтал поступить во ВГИК, но на руках у него была смертельно больная мать, которую не на кого было оставить. Его лучший друг Виталий Барановский был профессиональным фотокорреспондентом. Он приехал в Минск из провинции, не имея ни гроша за душой, с твёрдым намерением стать преуспевающим человеком. В отличие от очень мягкого, добродушного и эмоционального Гены, Виталий отличался рассудочной практичностью и инстинктивной хваткостью. Обеспечить себе жизненный успех он рассчитывал с помощью выгодной женитьбы, и на какое-то время я стала объектом его вожделений. Но он быстро понял безуспешность своих попыток и переключил внимание на Линду, которой очень нравился. Однажды он пришёл «для серьёзного разговора».

— Я сумел накопить немного денег и записался на «Запорожец». Вчера получил извещение, что подошла моя очередь.

— Ты хочешь попросить у моих родителей денег в долг? — высказала я догадку, видя, как он мнётся и смущается.

Он покачал головой.

— Нет, денег мне хватает. Думаю, стоит ли его покупать.

Он явно чего-то не договаривал. Я выжидательно молчала.

— Понимаешь, если жениться на Линде, то в «Запорожце» нет нужды...

— Подожди, — растерялась я. — Тебе нужна Линда или её машина?

Он побагровел. Я поняла. От возмущения у меня перехватило дыхание. Видимо, выражение моего лица было красноречивее слов. Он встал, сказал:

— Забудь об этом разговоре.

Попрошались и ушёл.

Виталий купил «Запорожец», а Линда долго недоумевала и переживала из-за того, что он вдруг прекратил с ней всякое общение.

Гена и Виталий явно осуждали решение Комарова расстаться со мною на год, о чём он, видимо, им рассказал, но мы на эту тему никогда не говорили. Только однажды у Гены вырвалось: «Какой же он дурак!»

Как-то раз они пригласили меня в гости к «одному очень интересному человеку».

— Ты не пожалеешь, если познакомишься с ним. Это ведущий кинооператор нашей студии. Личность незаурядная, сама увидишь. Ты должна ему понравиться. Постарайся, — сказал Гена.

— Зачем? — удивилась я.

— Потом поймёшь, — загадочно ответил он. — Только предупреждаю, у него в характере есть одна коварная особенность: шутки ради каждого нового человека он подвергает казусному испытанию. Так что будь готова.

Оператор Булинский оказался очень интересным мужчиной лет за пятьдесят, а может быть, и больше. Тем не менее в нём чувствовалось крепкое мужское начало. Умное лицо, пронзительный, безошибочно оценивающий взгляд, энергичные движения, выразительная мимика. Он явно обладал сильным, волевым, напористым характером.

Несмотря на всё радушие хозяина, я чувствовала себя неудобно, так как не понимала, какая же роль отведена мне в этой встрече. Я не могла представлять собой интереса для этого человека ни как собеседница, ни как женщина — он был слишком умён и слишком немолод. К тому же я ждала какого-то нелепого испытания. Но общий разговор увлёк, и я быстро успокоилась и освоилась. Булинский охотно делился творческими воспоминаниями и метко комментировал

вал различные события, сопровождая беседу анекдотами и остроумными замечаниями. При этом я заметила, что он исподволь внимательно и цепко отслеживает мою реакцию. Через некоторое время хозяин встал и пригласил меня на кухню.

— Вы, Наташенька, как женщина, почистите вот эту картошку, а всё остальное мы сделаем сами. Вот вам картофелечистка, очень удобная, привёз из-за границы, действуйте!

И он оставил меня одну.

Я с недоумением крутила в руках незнакомое приспособление и никак не могла понять, как надо им действовать. Потом стала искать нож, но не нашла. «Так. Наверное, это и есть испытание,— подумала я и вспомнила Колю Гаврюченко. — Не везёт мне с картошкой». Разозлившись, я начала с трудом скоблить картофелины одной из более или менее острых граней этого дурацкого, с моей точки зрения, инструмента. Я уже порядком измучилась, когда все трое мужчин ввалились на кухню.

— Ну, как наши дела? — весело поинтересовался Булинский и, взяв в руки одну картофелину, осмотрел её, а потом недоумённо спросил:

— Чем вы её чистили?

— Вашей картофелечисткой.

— Этого не может быть. Покажите, как вы это делали.

— Это мой секрет, — отказалась я.

— А вы неважная хозяйка, не смогли разобраться в картофелечистке, — укоризненно заметил он. — А ведь это так просто! Смотрите.

И он легко, быстро и аккуратно стал срезать кожуру выпуклостью в прорезях.

«Будь она проклята, эта бульба!» — подумала я про себя, но вслух строго и невозмутимо заявила:

— В целях экономии и бережливости картошку лучше скоблить.

Он изумлённо уставился на меня. И тогда уже совсем некстати я добавила:

— И народный труд надо беречь.

Он расхохотался. Я не выдержала и тоже рассмеялась. Тогда он взял мою руку с грязными, покрасневшими от усилий пальцами и сказал:

— Надо беречь такие красивые руки.

Когда Гена с Виталием провожали меня домой, я спросила:

— Ну, и зачем вы меня к нему потащили?

Гена серьёзно ответил:

— Он ищет артистку на главную роль в новом фильме. Можешь считать, что это были смотрины. По-моему, они прошли успешно.

От удивления я даже остановилась, а потом разозлилась:

— Почему ты меня не предупредил заранее?

— Специально. Чтобы ты была не скованной, а естественной.

— А тебе не пришло в голову, что я отказалась бы, зная, с какой целью вы меня к нему ведёте?

— Но это же глупо — отказываться от такой возможности. Да любая на твоём месте...

— Я не любая, и я не артистка. Это чистой воды авантюра. Ты поставил меня в смешное и унижительное положение. Что он мог обо мне подумать?! Боже, какой стыд! Как ты мог?

Гена растерялся.

— Послушай, — стал он меня успокаивать. — Ты просто не знаешь мира кино. Приглашать красивых непрофессионалок на главную роль в порядке вещей, это широко принятая практика во всём мире. У Булинского уже есть опыт. Помнишь Гладунко? Она его протеже, после фильма «Часы остановились в полночь» стала известной на весь Союз и при этом никогда не была актрисой. В кино женщинам совсем не обязательно иметь профессиональное образование. В каждой женщине сидит артистка. Всё зависит от режиссёра и оператора.

Я разозлилась ещё больше.

— Ты что, меня за идиотку принимаешь? Думаешь, я не понимаю, какую цену платят за это?

Тут молчавший всё время Виталий вмешался в разговор:

— Генка, Наташа права. Гладунко снималась, пока была женой Булинского, а когда его бросила, о ней все забыли. Наверное, сейчас спивается потихоньку.

Гена пытался возражать:

— Ладно, с Гладунко пример неудачный. Но Наташа не Гладунко. Я уже работаю в кино несколько лет, видел много разных людей и судеб и кое в чём разбираюсь. Уверен, с Наташей такого не случится. А вот Софи Лорен?

— Я не Софи Лорен.

— Ты на неё очень похожа.

— Разве что похожа. И вообще, хватит об этом, — решительно заявила я. — Если ты мне друг и желаешь добра, завтра же позвони Булинскому и извинись, что так самонадеянно, без моего ведома, ввёл его в заблуждение. Обещаешь?

Он кивнул, но, будучи человеком малодушным и нерешительным, видимо, этого не сделал. А может быть, посчитал, что в решающий момент я передумаю.

Где-то через месяц, когда я возвращалась домой из университета, около подъезда меня поджидал молодой человек. Он вскочил со скамейки.

— Вы Наталья Короткова?

— Да, — удивлённо ответила я.

— Я вас и на филфаке искал, и здесь уже два часа торчу. Куда вы пропали?

— А в чём дело? Вы кто?

— Я с «Беларусьфильма», помощник режиссёра. Вас Белькевич разве не предупредил? Пробы сегодня. Мы вас ждём, ждём, юпитеры уже перекалились. Разве можно так? Пошли быстрее!

Я оторопела.

— Это какое-то недоразумение. Ни на какие пробы я согласия не давала и никуда с вами не пойду.

— Но как же так? — растерянно недоумевал он. — Вот у меня ваш телефон, адрес...

— Извините, но я тут ни при чём.

Он бросил на меня какой-то дикий взгляд, развернулся и опрометью кинулся в направлении киностудии, которая находилась в двух кварталах от моего дома.

* * *

Наконец-то папа вышел в отставку и вернулся домой. Наша маленькая семья снова была в сборе. Первое время он с трудом приспосабливался к гражданской жизни. А вскоре у нас началась проблема «отцов» и «детей». Папа никак не мог привыкнуть к тому, что я уже не прежняя, так хорошо ему понятная девочка, а взрослый, независимый в своих взглядах человек. Ему не нравилось, что я пользуюсь косметикой, поздно возвращаюсь домой и от меня пахнет алкоголем, что у меня много знакомых мужчин, но ни за кого из них я не собираюсь замуж. Я пыталась объяснить ему, что это просто мои друзья, но он долго не хотел в это верить.

— Какая может быть дружба между мужчинами и женщинами? Вот этот Алик, кто он такой?

— Он приятель Вики.

— Тогда почему он тебя, а не Вику катает на мотороллере?

— Они с Викой поссорились. Он переживает, ему надо с кем-то поделиться.

— А ты, значит, его успокаиваешь. Не понимаю я этого...

Папа не понимал моего увлечения искусством, считал это блажью и делом несерьёзным. Перелистывая купленные мною альбомы с репродукциями, он пожимал плечами:

— Тут и читать-то нечего. И что это за картины, где непонятно что нарисовано. Вот Шишкин, Айвазовский, Репин — это художники, а тут галиматья какая-то.

Как-то раз он случайно обнаружил у меня сигареты.

— Ты что, куришь? — звенящим от гнева голосом спросил он.

Я начала курить с первого курса, это было модно и на филфаке широко распространено. Папа же не курил никогда, даже на фронте, считал эту привычку пагубной, а для женщин неприличной. Решив сразу закрепить свои права на свободу, я вызывающе ответила:

— Курю, а что?

Не успев опомниться, я отлетела в угол. Впервые в жизни папа поднял на меня руку, а рука у него была тяжёлая. Очнувшись от неожиданности и боли, я, задыхаясь от слёз, крикнула:

— Если ты ещё раз посмеешь это сделать, я уйду из дому!

— А если ты хоть ещё раз закуришь, то больше мне не дочь! — в сердцах крикнул он в ответ.

Я кинулась в свою комнату, громко хлопнув дверью. Сидя на диване и потирая распухшую щеку, я слышала, как папа ругал маму, обвиняя её в моём неправильном воспитании. Через некоторое время мама зашла ко мне и села рядом.

— Талочка, ты действительно куришь?

Я кивнула. Мама заплакала. Потом обняла меня за плечи и стала убеждать в том, как курение опасно для здоровья, как портит цвет лица и делает хриплым голос.

— Если ты нас с папой любишь, пожалуйста, откажись от этой вредной привычки, я тебя умоляю. Пожалей нас.

Первый раз в жизни я сознательно их обманула, точно зная, что курить не брошу. Но волновать их мне не хотелось. И мои родители, благодаря моей конспирации, всю дальнейшую жизнь были уверены, что в тот день я раз и навсегда покончила с этой дурной привычкой.

У папы была высокая по тем временам военная пенсия, на которую можно было безбедно жить, но он маялся без дела и скоро устроился на работу инженером в Белгипроводхоз. Постепенно он освоил-

ся в новой, непривычной для него жизни, стал снова мне доверять, и наши отношения наладились.

Я заканчивала четвёртый курс университета, прошла преддипломную практику в школе, и снова встал вопрос о летнем отдыхе. Сомнений не было — опять в Гурзуф!

Своё желание поехать с нами выразила Линда, и мы уехали с ней на две недели раньше родителей, чтобы не терять времени в ожидании папиного отпуска.

* * *

Мы с Линдой вдвоём никогда не скучали. Полное взаимопонимание, общие увлечения, интерес и любопытство ко всему новому, жажда рискованных и острых ощущений, чувство юмора, с которым мы не расставались, — всё это делало наше пребывание в Гурзуфе весёлым и приятным.

Когда Линда ознакомилась со всеми окрестными достопримечательностями Гурзуфа, мы решили для разнообразия посетить общий пляж. Народу было немного. Оставив вещи, мы пошли купаться. Долго плавали далеко от берега, наслаждаясь водным простором. Потом Линда начала дурачиться в воде, мы плескались, смеялись и от души радовались жизни.

Выйдя на берег, обнаружили, что рядом с нами расположились ещё посетители: двое мужчин и женщина. Линда с блаженством растянулась, подставив лицо к солнцу, а я решила заняться маникюром. Наши соседи оживлённо беседовали, и я невольно слышала каждое их слово. Они говорили об искусстве. «Художники», — поняла я. Впервые мне представилась возможность так близко наблюдать их, присутствовать при непосредственном их разговоре о проблемах в искусстве, которые именно в это время так сильно волновали общество. Совсем недавно на выставке в Манеже прошла встреча Хрущёва с молодыми художниками, закончившаяся громким скандалом и оскорбительными окриками. Началась так называемая Ильичёвская идеологическая кампания по разгрому не только художников, но и поэтов, писателей — всех тех, кто не укладывался в прокрустово ложе социалистического реализма. Поэтому развернувшийся по соседству разговор я слушала с большим интересом.

Старательно работая пилочкой для ногтей, я украдкой рассматривала своих соседей. Черноволосые, приятной наружности мужчина и женщина, судя по всему, были мужем и женой. Их участие в разго-

воре было вялым и несколько ленивым. Зато другой мужчина, светло-волосый, с небольшой модной бородкой, говорил увлеченно, ярко и образно. У него была блестящая, безукоризненно правильная, красивая литературная речь, он артистично играл словами и афоризмами, тонко иронизировал. Я заслушалась. Идеологическое вмешательство в искусство он резко осуждал и уже тем самым вызвал мою симпатию.

В какой-то момент он встал и закурил. Высокий, поджарый, мускулистый, с красивыми стройными ногами. Его движения отличались гибкостью, особой природной элегантностью и раскованностью. Всё в этом мужчине свидетельствовало о принадлежности к избранному кругу людей, далёкому и мне недоступному. «Настоящий светский лев!» — подумалось мне. Молча и неподвижно загоравшая Линда, конечно же, тоже слушавшая их беседу, приоткрыла глаза, затем приподнялась и шепнула мне: «Вот это мужчина! Аристократ!».

Неожиданно, легко перевернувшись на живот, он повернулся ко мне. Высокий красивый лоб, волосы с сединой, правильные черты волевого лица, выразительные серые глаза, смотревшие на меня заинтересованно и чуть дурашливо. Лицо было совсем близко, и у меня часто-часто заколотилось сердце и что-то затрепетало внутри.

— Выручите, пожалуйста, — обратился он ко мне, — кажется, ноготь сломался.

И он вытянул передо мной красивые, с тонкими длинными пальцами руки. Растерявшись и плохо соображая, я взяла его за пальцы и начала обтачивать пилкой ногти. Они были в полном порядке, а вот мои руки вдруг предательски задрожали. Он мягко обхватил их, крепко сжал и успокаивающе произнёс: «Ну, ну! В чём дело?» Линда, широко раскрыв глаза, с нескрываемым любопытством наблюдала за нами. В смущении я выдернула руки.

— Моя помощь не нужна, ваши ногти в порядке, — пробормотала я.

— Да? — удивился он. — Значит, я ошибся. Извините. Давайте познакомимся. Меня зовут Август.

— Вы из Прибалтики? — заинтересовалась Линда.

— Нет, из Ленинграда. А вы?..

Мы договорились встретиться на этом же месте вечером.

— Счастливая ты, Наташка! — с завистью вздохнула Линда по возвращении домой к обеду.

Когда вечером мы с ней снова пришли на пляж, Август ждал нас не один. Вместе с ним была та самая красивая пара, которая в прошлом сезоне привлекала к себе всеобщее внимание.

— Знакомьтесь, это мои друзья — Нина и Володя Ольшевские. А это Наташа и Линда, — представил нас друг другу Август.

Я старалась скрыть охватившее меня смущение. Эти люди, казавшиеся мне столь прекрасными и недосягаемыми, сейчас смотрели на меня во все глаза со странным, непонятым выражением лица. А затем вдруг Нина разразилась весёлым, искренне непосредственным хохотом. Она смеялась и приговаривала чуть хриловатым голосом:

— Ай да Август! Ну, молодец! Надо же!

Володя тоже повёл себя необычно. Он похлопал Августа по плечу и сказал:

— Поздравляю!

— Володька! — сквозь смех хрипло почти вопила Нина. — Он тебя обставил! Он обставил тебя!

Не понимая, что происходит, я беспомощно посмотрела на Линду. Она заинтригованно пожала плечами. Ситуация стала казаться мне оскорбительной. Я гордо выпрямилась, собираясь уйти, но тут вмешался Август.

— Ребята, объясните, в чём дело.

Нина перестала смеяться и, успокоившись, стала объяснять.

— Мы заметили Наташу в прошлом году. Присудили ей титул Королевы пляжа. Володька в неё втюхался.

— Как художник, я не мог не оценить женской красоты, — шутиливо стал оправдываться Володя.

— Я его подбивала: ну познакомься же с ней, а он, старый сердцеед, всё не решался. Она, говорит, слишком неприступная.

— Для меня было загадкой: почему она всегда одна? Я даже стал подозревать какой-нибудь скрытый изъян, — всё так же шутиливо продолжал оправдываться Володя.

— Но ты, Август, его обставил! — Нина снова засмеялась.

Август непринуждённо обнял меня за плечи, ласково прижал к себе, и я доверчиво к нему притулилась, удивляясь сама себе. Мы были знакомы всего два часа.

Через три дня у Августа истекал срок путёвки, и он должен был уехать в Ленинград. Узнав об этом, я загрустила. «Он уедет и быстро забудет мимолётное курортное знакомство», — думала я, а мне так не хотелось его терять. Он для меня стал не только притягательным мужчиной, в которого я сразу и бесповоротно влюбилась, но и необыкновенной личностью, об общении с которой можно только мечтать, человеком многосторонним, глубоким и содержательным, а кроме того, удивительно открытым и щедрым на разделение радости жиз-

ни. Он стал первым мужчиной в моей жизни, который вызвал в душе безоговорочный отклик безграничного доверия к мужскому благородству и порядочности. «Такого не бывает, — говорила я себе. — Всё это свойственный мне дурацкий романтизм».

Однако насмешливая, трезвая и цинично-рассудительная Линда, как ни странно, тоже необыкновенно высоко оценила достоинства Августа.

— Знаешь, Наташка, — серьёзно и задумчиво сказала она, — у него сердце Дон Кихота. Даже не верится. И он в тебя здорово втрескался. Счастье прямо плывёт тебе в руки.

— Какое счастье? — уныло возразила я. — Через три дня он уезжает.

— Жаль, — посочувствовала Линда.

На прощанье Август организовал через Дом творчества автобусную экскурсию по маршруту Гурзуф — Судак — Новый свет — Коктебель и пригласил нас с Линдой. Мы охотно согласились. Нина Ольшевская из-за плохого самочувствия не поехала, а Володя разделил нашу компанию. В одной из живописных бухточек Нового света, неподалёку от завода шампанских вин, среди скал дикого пляжа экскурсионная группа решила заночевать. Мужчины, наведавшись на завод, притащили два ведра шампанского сырца. Разожгли огромный костёр, разложили сухой паёк, достали спальные мешки. Смех, шутки и анекдоты, разговоры и песни.

Среди ночи мы с Августом пошли купаться. С наслаждением плавали в тёмной воде. Играя, ловили отражающиеся в ней звёзды. Когда вышли на берег и сели на камни, Август обнял меня и спросил:

— Ты согласна стать моей женой?

Я напряглась и насторожилась. Слишком быстро, слишком неожиданно. Я не хотела больше повторения неудачной любовной истории.

— Ты же ничего обо мне не знаешь.

— Всё, что мне надо знать, я знаю, — твёрдо ответил он.

— Откуда?

— Ещё не видя тебя, я слышал смех в воде. Только так могла смеяться женщина, которую я искал всю жизнь. Остальное для меня не важно.

«Господи, — подумала я, — да он ещё больший романтик, чем я!»

— Так сразу не могу, — дрогнувшим голосом ответила я.

— Хорошо, — согласился он. — Подумай. Я оставлю тебе адрес. Когда решишь — напишешь. Я старше тебя на пятнадцать лет. Раз-

ведён. У меня есть дочь. Живу с родителями. Скоро получу квартиру, а первое время мы сможем жить в мастерской.

Через два дня он уехал, и Гурзуф для меня сразу опустел.

А потом начался сильный шторм, длившийся три дня. Отдыхающие неприкаянно слонялись по улочкам. Мы с Линдой пришли на чеховский пляж, чтобы полюбоваться разбушевавшимся морем. Кроме нас, здесь никого не было. Высоченные валы с грохотом разбивались о скалы и, пенясь и шипя, откатывались обратно, втягивая с собой в море гремящую гальку. Стихия разыгралась не на шутку.

Вдруг на одном из удалённых от воды плоских камней мы увидели аккуратно сложенную одежду. Неужели кто-то рискнул искупаться? Напряжённо вглядываясь в море, мы с трудом заметили вдалеке, среди вздыбленных гребней волн, чью-то голову. Человек пытался выплыть к берегу, но как только он приближался, одна из самых больших волн накрывала его и оттаскивала обратно. Было ясно, что самостоятельно ему не выбраться. Мы с Линдой заметались. Перепрыгивая с камня на камень, мы взобрались на плоскую скалу ближе к воде и стали отчаянно размахивать полотенцами, чтобы привлечь его внимание.

В прошлом году Али с Бубой учили меня, как в шторм надо выходить из воды, чтобы вместе с галькой не быть затянутой на дно. Высота и сила волн то нарастает, то ослабевает, самым высоким бывает так называемый девятый вал — говорили они. Выходить надо в момент спада, постоянно оглядываясь назад. Если волны снова нарастают, надо плыть назад в море или пережить, оставаясь на месте, но ни в коем случае не приближаться к берегу. Я всегда с успехом пользовалась их наставлением при относительно небольшом волнении на море. Но в такой шторм увидеть, что происходит позади тебя, было невозможно.

— Так, — быстро скомандовала я Линде, — как только он нас увидит, будем его направлять. Волны меньше — машем призывно к себе, волны выше — машем от себя. Поняла?

Она кивнула. Наконец мужчина нас заметил, поднял голову и перестал грести. Мы размашисто и призывно замахали ему к себе. Он был опытным пловцом, понял нас и стал следить за нашими движениями. То двигаясь вперёд, то замирая на месте, он приближался к нам. Самое трудное ему предстояло преодолеть при выходе на берег. Он с этим справился. Шатаясь и тяжело дыша, он проговорил:

— Девочки, вы спасли мне жизнь.

Я узнала его. Это был один из обитателей Дома творчества. Он держался особняком, мало с кем общался и в глазах окружающих слыл чудачком. Над ним часто подсмеивались, наблюдая, как он выхо-

дит из воды в мокрых, становящихся почти прозрачными, облипших белых сатиновых трусах, или как он устраивает тут же, на чеховском пляже, небольшую постирушку и аккуратно развешивает на ветках огромного инжира своё бельё на просушку.

— Зачем вы полезли купаться? — с недоумением спросили мы, довольно бесцеремонно разглядывая, как он натягивает на себя допотопные заскорузлые брюки и старенькую выцветшую рубашку.

Он виновато развёл руками, застенчиво улыбнулся и сказал:

— Да вроде не в первый раз.

Он был невысокого роста, но широкоплечий и крепко сложенный. Светловолосый, с приятными правильными чертами лица и прозрачными голубыми глазами. Эти глаза были совершенно необыкновенными, чистыми и ясными, как у младенца.

Мы познакомились. Его звали Виктор Константинович. Он приехал из Москвы. Несмотря на некоторые странности в поведении, Виктор Константинович вызвал у нас симпатию, а, узнав его ближе и лучше, мы были очарованы и искренне его полюбили. Он являл собой совершенно необычное существо — непосредственно-наивное, удивительно доброе, открытое и доверчивое. Взрослый ребёнок — иначе не скажешь. Но он отнюдь не был ни глуп, ни примитивен. Скорее, наоборот, в нём жила та снисходительно доброжелательная, неуязвимая, светлая мудрость, которая игнорирует мелочные, суетные и тщеславные житейские потуги.

Мы стали проводить время втроём. Однажды нам с Линдой пришла в голову мысль сплавать на Адалары. Это были две высокие обрывистые скалы в море, расположенные примерно в километре от берега между Гурзуфом и Медведь-горой.

— А что? — поддержал нас Виктор Константинович, — я с удовольствием.

И мы поплыли. Для нас с Линдой это было серьёзное испытание, и только ласты спасли нас от полного изнеможения.

Виктор Константинович относился к нам с ласковой отеческой добротой. Однажды он спросил:

— Как вы думаете, девочки, сколько мне лет?

Мы пожали плечами. Он хитро улыбнулся и проговорил:

— Скоро пятьдесят. И вы думаете, я не догадываюсь, зачем вам сдался? Мне отведена роль щита от посягательств неугодных поклонников. Так ведь?

Линда стала возражать и уверять его, что нам с ним очень интересно проводить время, а я промолчала. Что касалось меня, тут он

был во многом прав. Я скучала по Августу, и никакие другие ухажёры и кавалеры мне были не нужны.

Вскоре приехали мои родители. А чуть позднее ко мне на пляже подседа Нина Ольшевская.

— У нас с Володькой через неделю заканчивается срок путёвки. Но мы хотим продлить отдых дней на десять. У меня возникла гениальная идея — поехать на Днепр в какую-нибудь деревеньку на парное молоко. Как ты к этому относишься?

— Наверное, это хорошо.

Я не понимала, зачем она мне об этом говорит.

— Мы тебя приглашаем с собой. Ну, и Августа, конечно же, — добавила она лукаво.

Я растерялась.

— Наташенька, мы, женщины, сами должны ковать своё счастье. У мужчин на первом месте работа. И потом все они как дети и с личными проблемами справляться не умеют. Мы, женщины, должны это делать за них. Поверь моему опыту. Так как?

— У меня родители приехали, не знаю, отпустят ли... И потом я им про Августа не рассказывала.

— И правильно сделала. Родителей я беру на себя, — решительно заявила Нина и добавила: — И с Августом мы сами созвонимся. Значит, ты согласна?

Я радостно кивнула.

Мама была в полном недоумении.

— Талочка, зачем тебе уезжать? Здесь так хорошо. Бросашь нас, Линду. И потом я не понимаю, что у тебя может быть общего с этой парой? Они намного старше тебя, у вас совершенно разные интересы. Нет, они, конечно, очень приятные, интеллигентные люди, порядочные и солидные, я могу, разумеется, на них положиться, но всё это очень странно. Почему они вдруг принимают в тебе участие? Нина, конечно, права, ты худенькая, и попить парного молока тебе не помешает, но всё-таки это как-то странно.

Тем не менее мама дала согласие, а папа безнадежно махнул рукой. Линда одобрила моё решение и клятвенно обещала ни о чём им не проболтаться.

В один из ближайших вечеров, сидя на террасе Дома творчества, Нина, Володя и я обсуждали предстоящую поездку. Я уже убедилась, что всё, за что бралась Нина, она делала с жаром, быстро и без сомнений.

— Значит так, — вводила она нас в курс дела. — Из Симферополя мы вылетаем в Киев. Билеты я уже заказала. В аэропорту мы встре-

чаемся с Августом. Я уже с ним созвонилась и назвала рейс самолёта. Он на машине выезжает из Ленинграда с таким расчётом, чтобы не опоздать к встрече. Затем едем в Канев и где-то в этом районе ищем подходящее местечко на берегу Днепра.

Володя был задумчив, изредка бросая на меня смущённые взгляды. Его обуревали сомнения.

— Нинок, ты всё взвесила как следует? — явно недоговаривая, обращался он скорее ко мне.

— Разумеется, — безапелляционно отрезала Нина своим хрипловатым голосом. — Володька, не сомневайся. Мы с тобой будем крёстными их семейного счастья.

Я покраснела.

— Ну, вам виднее, — вздохнул Володя.

Когда он ушёл, Нина рассказала мне историю их встречи.

— Ты знаешь, Гурзуф — заколдованное место. Я в это верю. Мы встретились с Володькой здесь. Ты не представляешь, какая страстная любовь охватила нас, прямо с первого взгляда. Мы приехали с семьями, я из Москвы, он из Ленинграда. Кинулись в эту любовь, забыв о всяком приличии. И с тех пор, вот уже пять лет приезжаем сюда каждый год. Мне кажется, что Гурзуф придаёт нашей любви новую силу. У тебя с Августом тоже так, я вижу...

* * *

Ранним утром я сидела на скамейке в Киевском аэропорту. Нина с Володей куда-то отлучились. Август шёл ко мне, высокий, элегантный, в светлом костюме. Я встала. Он поцеловал меня в висок и вопросительно шепнул на ухо:

— Да?

Я молча кивнула.

— Нет, ты скажи, — потребовал он.

И я, глядя ему в глаза, сказала:

— Да.

— Вы только посмотрите на него! — воскликнула Нина со смехом, когда они с Володей подошли к нам. — Он оделся так, будто прибыл на важную дипломатическую встречу.

Август слегка смутился, потом с улыбкой произнёс:

— Она, действительно, для меня очень важная. Рад вас видеть, ребята. Кстати, вы уже завтракали? Я в гостинице встретил своих друзей, которые тут проездом. Хочу вас познакомить, они нас ждут.

Не успели мы занять столик в полупустом ресторане гостиницы, как в зал вошла пара и, увидев Августа, направилась к нам. Почти вызывающе красивый, высокий, стройный мужчина в светло-бежевом костюме и рыжеволосая, грациозная, с безукоризненной осанкой и обольстительно выразительным лицом женщина, одетая в открытое, потрясающе модное платье с набивным узором. Они были роскошны, ослепительны, неотразимы, эти друзья Августа — прима-балерина Кировского театра Алла Осипенко и её муж, один из ведущих актёров театра Акимова, Геннадий Воропаев.

Никогда не забуду того мучительного чувства собственной неполноценности, которое я испытала за этим завтраком в компании столь царственно недостижимых, как мне тогда казалось, избранных людей.

Алла была обворожительна, она пребывала в эйфории материнского счастья и слегка возбуждённо, заливаясь радостным, мягким, сердечным смехом, рассказывала об их годовалом сынишке Ване, с которым только что общалась по телефону. Но, несмотря на такую общительную доверительность, в ней всё-таки чувствовались и некоторая снисходительность к окружающим, почти неуловимое самолюбование и уверенность в собственной исключительности. Впрочем, это было естественно и объяснимо, и нисколько не делало её менее притягательной. Геша Воропаев, напротив, почти всё время молчал с отстранённо-скучающим выражением на лице и показался мне человеком надменным и высокомерным, что, как выяснилось впоследствии, было совсем не так.

Когда мы расстались, Нина понимающе сказала мне:

— Алла, конечно, очень талантливая и незаурядная личность, но никогда не ревнуй Августа к таким женщинам, они интересные и хорошие друзья, но плохие жёны, и он это прекрасно, по-моему, понимает.

Десять дней на Днепре пролетели как в сказочном сне. Помню, как в Каневе на базаре мы купили десять живых куриц и, связав им лапки, устроили их в багажнике «Победы». В какой-то маленькой деревне мы встали на постой. Нина с Володей ночевали в мазанке, а мы с Августом в машине, которая стояла в саду под развесистой яблоней. Иногда яблоки с громким стуком падали на крышу и будили нас. Утром, открыв дверцу, Август шарил рукой по траве и преподносил мне большое вкуснейшее яблоко, которое мы грызли по очереди. После завтрака из домашнего творога со сметаной мы уходили на Днепр. Купались, сражаясь с сильным течением, бродили по берегам, дурачились на пустынных песчаных косах, изображая аборигенов и оставляя на песке изощренно замысловатые следы. Особенно это хорошо

получалось у Володи. Сидя кружочком, вели долгие, нескончаемые беседы о самом разном. По возвращении домой готовили обед. Для этого Август с Володией должны были поймать одну из куриц, свободно разгуливающих по хозяйскому фруктовому саду. Кudahча, куры в панике разбегались, мужчины устремлялись за ними, и мы с Ниной, наблюдая за их ухищрениями, хохотали от души. Пойманной курице отрубили голову. Мы с Ниной общипывали её и бросали в кастрюлю на керосинке, тут же в саду. Обед у нас был всегда один и тот же: необыкновенно вкусный наваристый бульон, который мы пили из больших кружек, закусывая ломтями свежее испечённого деревенского хлеба, и отварная курица с огромными сладкими и ароматными помидорами в качестве гарнира.

Глядя на Нину, я жадно училась у неё всему, чего не знала и не умела. Она охотно меня наставляла.

— Быть женой художника очень нелегко. Ты должна быть к этому готова. Особенно трудно с такими, как Володька и Август. Они люди творческие, и в работе смысл их жизни. У них нет постоянного заработка, и часто денежное обеспечение приходится брать на себя. Я вот хорошая портниха, нас это выручает. Если художник работает ради заработка, хватается за любую халтуру, то может растерять свой талант. Мы же должны создавать все условия для их творчества. Я очень горжусь Володькиными успехами. Он жутко талантлив. Получил уже несколько золотых медалей на международных выставках за свои вазы и сервизы. Знай: успех мужа — это и твой успех.

В те дни Нина с Володией были для меня, да, наверное, и для Августа тоже, эталоном гармоничного и красивого человеческого счастья. Тогда, даже на мгновение, невозможно было допустить мысли, что это счастье может быть трагически разрушено.

Здесь на Украине, под Каневом, мы с Августом окончательно утвердились в том, что созданы друг для друга. Лето подходило к концу, пора было возвращаться. Мы решили, что я с Августом еду в Ленинград, чтобы там зарегистрировать наш брак, и только потом возвращаюсь в Минск. Я послала в Гурзуф телеграмму родителям: «Выхожу замуж, будем в Минске в первых числах сентября. Подробности у Линды».

В Москве мы остановились у Ольшевских. Они жили на улице Кирова, занимая уютную двухкомнатную квартирку, обставленную современно и со вкусом. Кругом было много керамики, изысканной и остро современной по форме и росписи. Это были работы Володи. Будучи ленинградцем, Володя, женившись на Нине, переехал в Москву. Несколько раз в разговорах он советовал сделать Августу то же самое.

— В Москве совсем другая жизнь и другие люди, уж поверь мне, коренному ленинградцу.

— Да я всё это знаю, — отмахивался Август. — Но остаться снова без мастерской...

— Найдёшь и в Москве мастерскую, не сразу, конечно. Я искал год. Первое время будет трудно, зато потом откроются такие возможности, каких в ленинградской болотной провинции не будет никогда. Но тянуть с этим не советую. У вас сейчас с Наташей жизнь начнётся с чистого листа, и в творчестве твоём тоже, вот увидишь, по собственному опыту знаю. Ты не сможешь работать, как прежде, будешь искать новые темы и новые формы. Это необъяснимо, но факт.

Слушая Володю, я всем сердцем была на его стороне. Москву я любила, а предстоящая жизнь в Ленинграде меня почему-то пугала.

Я рассказала Августу о знакомстве с Виктором Константиновичем.

— Да, он симпатичный человек, — согласился Август. — Сын Мельникова.

— Какого Мельникова? — не поняла я.

— Знаменитого архитектора. Отца архитектурного авангарда 20-х годов. Сейчас незаслуженно забыт. Даже не знаю, жив ли он ещё.

— А это можно узнать, — сообщила я. — Виктор Константинович при расставании дал мне свой телефон и адрес.

Я позвонила. Виктор Константинович обрадовался и пригласил нас в гости. Жил он в Кривоарбатском переулке, дом 10.

Мы подошли к необычному круглому дому в виде башни с ромбовидными небольшими окнами. Увидев его, Август заволновался.

— Уникальный авторский дом. Я знаю его по учебному курсу. Это памятник архитектуры.

Виктор Константинович приветливо распахнул перед нами двери, и мы с любопытством вошли внутрь. Отсутствие стен, своеобразная планировка, винтовые переплетения лестниц — всё это поразило меня своей необычностью, но в то же время дом показался мне уютным, как будто не жилой, а музей. Виктор Константинович водил нас по нему как гид, с профессиональным удовольствием повествуя о всех его архитектурных деталях и особенностях. У меня было ощущение, что в доме пусто и, кроме нас, никого нет, но Виктор Константинович неожиданно радостно воскликнул:

— А вот и папочка!

Мы как раз находились в отсеке (другого слова не нахожу), который представлял собой столовую с большим обеденным столом в центре. Я так и не поняла, откуда возникла невысокая худенькая

фигура в чёрной вязаной безрукавке и чёрной ермолке на белой от седины голове. Константин Мельников был очень стар, но спина была прямой, а голова гордо откинута. На меня дохнуло каким-то скорбным величием. Он, наверное, плохо слышал, потому что Виктор Константинович, подойдя к нему, громко, но с особой ласковой интонацией, крикнул, наклонясь к самому уху:

— Папочка! Познакомься, это мои друзья.

Старик окинул нас острым взглядом. Я робко кивнула ему, боясь приблизиться, а Август подошёл, с глубоким почтительным поклоном пожал протянутую ему маленькую старческую руку и так же почтительно стал что-то говорить.

— У папочки в это время полдник, не будем ему мешать, поднимемся в студию, — засуетился Виктор Константинович.

Появилась немолодая женщина с подносом, молча кивнула нам и поставила поднос на стол перед неторопливо усаживающимся хозяином дома.

По винтовой лестнице мы поднялись на самый верх, где располагалась художественная мастерская. Одни живописные полотна ступенчато висели на стенах, другие были составлены на полу.

— На стене — это папочкины, — объяснил Виктор Константинович, — а на полу мои.

Картины произвели на меня впечатление. Сегодня я понимаю, что они были типичны для живописи русского авангарда 20-х годов, тогда же это искусство было мне неизвестно. Но знакомого внутреннего трепета я не почувствовала. Из картин самого Виктора Константиновича я запомнила большое беспредметное полотно, перламутрово переливающееся оттенками серо-бело-розового цвета. Он застенчиво пояснил:

— Я искал здесь игру белого на белом...

Когда мы прощались на выходе из дома, Виктор Константинович сказал напоследок:

— Вы очень красивая пара, я очень надеюсь, что вы будете счастливы.

Мы больше с ним не встречались, но несколько раз я видела его на экране телевизора, когда периодически вокруг знаменитого дома возникали споры и дискуссии о его сохранности как архитектурного памятника. Виктор Константинович стал совсем стареньким, но своими большими светлыми глазами он по-прежнему смотрел на мир необыкновенно чисто, ясно и по-детски незащищённо.

— Мы должны посетить ещё один дом, навестить Леонида Михайловича Полякова, — сказал мне Август.

— А кто это?

— Это замечательный человек, можно сказать, мой учитель. После окончания Академии я несколько лет работал под его крылом здесь, в «Моспроекте». Он академик, лауреат Сталинской премии, по его проектам построены одна из знаменитых московских высоток — гостиница «Ленинградская», сооружения Волго-Донского канала, станции метро «Калужская» и «Арбатская», а в Ленинграде — «Пушкинская». Мы с ним переписываемся, и он очень внимательно относится к тому, что я делаю. Для меня он авторитет. Хочу тебя представить.

Волнуясь и робея, я переступила порог большой квартиры в солидном «сталинском» доме. Дверь открыла домработница и провела нас в столовую. За большим круглым накрытым столом сидели Поляков, его жена Тамара Петровна и их гостья, которую нам представили как заслуженную актрису одного из московских театров. Нас гостеприимно усадили за стол и предложили присоединиться к обеду.

Леонид Михайлович не отличался ни породистой внешностью, ни осанкой, ни лоском манер. Он был полным, грузным, немолодым, с некрасивым, простоватым русским лицом. Смачно вонзив зубы в большой кусок арбуза, он потом рукой вытер рот. И я поначалу испытала разочарование. Но в процессе разговора я всё больше подпадала под его человеческое обаяние. Он излучал удивительное добродушие и искренность, был прост и непосредствен, доброжелательно шутил и по-детски открыто смеялся. Но когда у них с Августом разговор зашёл о делах в искусстве и архитектуре, он преобразился: стал серьёзен, вдумчив и проникновенен в словах. Чувствовалось, что «борьба с излишествами в архитектуре» его глубоко ранила. Жена его, напротив, произвела на меня впечатление ухоженной дамы, постоянно помнящей о высоком общественном положении своего мужа и своем собственном. С Августом она была подчёркнуто любезна, а на меня посматривала с лёгким прищуром, видимо, снисходительно оценивая и мой выгоревший на южном солнце летний наряд, и сбитые гурзуфскими камнями лёгкие «лодочки» на босу ногу, и не уложенные в причёску волосы.

И квартира, обставленная солидной, тяжёлой мебелью, со старинными гобеленами на стенах, красивой посудой и китайскими вазами, и её хозяйка, и их молчаливая домработница, и очень милая немолодая гостья — всё вызывало в моей памяти черты уже уходящей сталинской эпохи, которой принадлежали и они сами, и та архитектура, которую создавал Леонид Михайлович Поляков.

Несмотря на то, что всё в наших отношениях с Августом было определено, оставался между нами ещё один, может быть, самый главный для Августа, но не менее важный и для меня, ни разу нами не тронутый, затаённо не высказанный и покрытый пока ещё завесой неизвестности вопрос: какое впечатление произведут на меня произведения художника Августа Ланина, понравятся ли, вызовут ли ответный отклик. Каждый из нас в глубине души понимал, что прочность нашего духовного единения будет целиком и полностью зависеть от этого обстоятельства.

Именно поэтому, приехав в Ленинград, Август сразу повёз меня не домой, не к родителям, а в свою мастерскую, которая располагалась в самом центре города на улице Маяковского, дом 10.

Мы въехали в небольшой двор-колодец. Щупленький дворник в грязном, бывшем когда-то белым переднике старательно работал метлой.

— Познакомься, Яша, — сказал ему Август. — Это моя жена.

— Добро пожаловать, — любезно осклабился Яша, с любопытством разглядывая меня узкими татарскими глазками.

По чёрному входу мы стали подниматься по крутой лестнице на седьмой этаж. На чердачной площадке была только одна небольшая дверь. Август отпер её и распахнул. Я с волнением перешагнула через порог.

Помещение около сорока квадратных метров. Три окна. Около одного из них стоял мольберт. У противоположной от входа стены — большой, необычной конструкции рабочий стол со стеллажом. Над ним несколько больших икон. Слева от входа — широкая тахта с пристроенной тумбой, на полу около неё оленья шкура, а над ней на стене потемневшее от времени деревянное окно с резным наличником, хомут и старинные расписные прялки. Справа — большая стена, вся вплотную завешанная окантованными работами. Я вышла на середину комнаты, повернулась к этой стене и стала их рассматривать. Август молча наблюдал за мной.

Это были графические листы — линогравюры и монотипии, чёрно-белые и в цвете, разные по жанру и стилистике: городские пейзажи, натюрморты, женские фигуры, сложные тематические композиции, — и все они отличались яркой, сразу бросающейся в глаза индивидуальной непохожестью на все те работы, которые доводилось мне видеть на выставках и в художественных салонах. Скупая лапидарность натюрмортов поражала остро отточенной пластикой рисунка и композиции, а многофигурные сюжетные листы глубиной

настроения и подтекстовой символикой деталей. Одни работы впечатляли игрой ума и фантазии, другие — наполненностью чувством одиночества и горечью размышлений.

Я долго молча рассматривала их, с радостью ощущая внутри себя безошибочный душевный трепет. «Боже мой! — думала я про себя. — За что мне такое счастье? Почему, за что Он выбрал и полюбил меня?»

Наконец Август не выдержал и подошёл сзади, положив мне руки на плечи. Со слезами на глазах я развернулась и уткнулась лицом ему в грудь. Слов не было, и я по-глупому выдохнула: «Это здорово!» И он меня понял.

В тот же день мы поехали в ЗАГС. Тогда полагалось с момента подачи заявления выдержать два месяца «испытательного срока», но Август умел очаровывать и убеждать женщин. Регистрацию нам назначили на следующий день.

Все мои вещи умещались в маленьком чемоданчике, половину которого занимали ласты, трубка и маска. Из одежды были купальники, шорты, пара маек и выцветший на солнце летний сиреневый в горошек костюмчик. Он и стал моим свадебным нарядом. Мы расписались 31 августа 1963 года.

Так я стала ленинградкой, и для меня началась совершенно новая, самостоятельная, взрослая жизнь.

Часть третья

***Конформисты
и диссиденты***

Ленинград, 1963–1991

Петербург — город особенный, неуловимо-загадочный, притягательный и отталкивающий одновременно. Нельзя сказать, что я его не полюбила, но за более чем сорокалетнее пребывание в нём он не стал мне близким и родным. Я оказалась ему чужеродной. В полной мере это относилось и к Августу, выросшему в Москве. Лучшие и счастливые моменты жизни связаны с нашим личным, внутренним миром, семейными событиями, увлечениями и интересами. Любое же соприкосновение с общественной стороной городской жизни вызывало недоумение и отторжение: всякое дело здесь безнадежно тонULO в плетении ничтожных по своим целям интриг, в подковерной возне, в политике группок и группочек, цепко державшихся за свои маленькие привилегии.

Менталитет ленинградцев был какого-то особого, трудно определяемого свойства. Мне импонировала их патриотическая солидарность. Так, например, ленинградские автомобилисты, единственные в стране, встречаясь на дорогах за пределами своей области, обязательно приветствовали друг друга долгими сигнальными гудками. Само слово «ленинградцы» для них являлось не просто названием жителей этого города. Складывалось такое впечатление, что ленинградцы в собственных глазах ощущают себя особой кастой, людьми особой судьбы и породы, чуть ли не особой национальностью в стране Советов.

И по своей географии, и по истории Ленинград-Петербург, как и Прибалтика, на территории Советского Союза являлся европейским маргинальным осколком. И поначалу я с радостью обнаруживала сходные и природно-пейзажные черты (когда Август на машине знакомил меня с пригородами Карельского перешейка, особенно вдоль Финского залива), и культурно-городские (подчёркнутая вежливость, чистота на улицах, архитектурный стиль начала XX века в центральных районах города). Напоминали ленинградцы прибалтов и внешним поведенческим стилем с его строгой невозмутимостью, достоинством и сдержанным проявлением чувств. Помню, ехали мы с Августом в машине по Невскому проспекту. На задней площадке идущего впереди троллейбуса стояла девушка и смотрела на нас в окно. Её красивая внешность вызвала у нас восхищение. Она это увидела, поняла, но в ответ на наши приветливые улыбки с холодным, надменным бесстрастием отвернулась.

— Вот настоящая ленинградка, — заметил Август.

А я подумала: «В подобной ситуации москвичка или минчанка обязательно улыбнулись бы в ответ, а эта ведёт себя как Снежная королева».

На этом внешнем относительном сходстве общность Ленинграда с Прибалтикой заканчивалась. Европейское начало в Прибалтике было её сокровенным пульсом — живым и действенным. Город же, призванный изначально стать «окном в Европу», имел с ней мало общего. В нём отсутствовали открытость и доверчивость, уютная обустроенность и человеческая заботливость, зато явственно ощущались гнёт внутренней духовной несвободы, уязвленное самолюбие людей, амбиции которых никак не соответствовали действительной мере их таланта, и претенциозная провинциальность, даже по сравнению с таким городом, как Минск, на жизнь в котором сильное духовное и политическое влияние оказывала Москва.

В Ленинграде я в полной мере ощутила, что означает выражение «одиночество в толпе». Рига и Минск, являясь республиканскими столицами, не были крупными городами, и в центре знакомые лица встречались чуть ли не на каждом шагу. Потерянности и одиночества не чувствовала я и в огромной Москве, где открытость и общительность являлись характерной чертой жизни, где легко завязывались уличные знакомства, а обмен впечатлениями между незнакомыми людьми в транспорте, очереди или кафе-забегаловке был в порядке вещей. В Ленинграде же люди не проявляли друг к другу никакого интереса, во всяком случае, внешне. Может быть, они считали это неприличным. Мне же казалось, что за подчёркнутой вежливостью скрывались надменность или безразличие.

Ни разу за все годы жизни в этом городе мне не удалось поймать на себе заинтересованного мужского взгляда, как будто здесь обитали бесполое существа. Как-то, в самом конце семидесятых, меня отправили в рабочую командировку в Москву, в которой я не была много лет. В метро, по пути от вокзала до гостиницы, я сразу уловила несколько неотрывных, пристально-внимательных мужских глаз и почувствовала, как поднимается моё настроение, как приятно мне это чужое человеческое внимание.

Несколько раз я предпринимала попытки уговорить Августа перебраться в Москву, а позднее и за границу, но каждый раз он решительно отказывался. По-моему, напрасно.

* * *

Прежде чем начать рассказ о нашей долгой совместной жизни, надо сообщить основные факты биографии Августа. Его отец, Василий Дмитриевич Ланин, по семейной легенде, был внебрачным сыном князя Свербеева, усыновленным управляющим княжеским имением Красивая Мечь в Тульской губернии. Василий Ланин окончил Московский университет, со студенческих лет участвовал в революционном движении. В самом начале двадцатых годов он организовал в своей родной Красивой Мечи одну из первых в Советской России сельских коммун и стал ее председателем. Он провел электрификацию, достал сельскохозяйственную технику. Хозяйство коммунаров успешно развивалось и считалось образцовым, о нем писали в газетах, посмотреть на него приезжали наркомы Орджоникидзе, Молотов и другие члены советского правительства. Здесь, в коммуне, в местах, некогда описанных Тургеневым в рассказе «Касьян с Красивой Мечи», в нескольких верстах от Ясной Поляны, в 1925 году и родился Август. А четыре года спустя его отец был убит. Его застрелили прямо на трибуне, во время выступления на митинге. Убийцу так и не нашли. Хоронили председателя торжественно, как жертву кулацкого террора, приехавшие из Москвы высокопоставленные ораторы произносили гневные речи. Но когда в 1951 году, уже студентом Академии художеств, Август приехал в Красивую Мечь и попытался заговорить с местными жителями об отце, его сразу же забрали в отделение НКВД, где категорически заявили, что Василий Ланин, в прошлом левый эсер, был врагом советской власти, препятствовавшим осуществлению сталинской политики коллективизации. Поэтому о бывшей здесь когда-то коммуне лучше не напоминать, и вообще — немедленно отсюда уехать. После этого разговора у Августа зародилось подозрение, что убийцами его отца могли быть вовсе не кулаки.

Мать Августа, Полина Викторовна, осталась вдовой с четырьмя детьми на руках: двумя своими и двумя от первого брака Василия Дмитриевича. С помощью Молотова, который знал и ценил её мужа, она вернулась в Москву и через несколько лет вышла замуж за военно-морского инженера Григория Ильича Шваба, тоже вдовца, имеющего сына и живущего в Ленинграде. Сюда, к мужу, и переехала с детьми моя будущая свекровь. Вот такой сложной и многосоставной была семья Августа.

Жили его родители в доме на углу улиц Радищева и Красной связи, в большой коммунальной квартире. Отчим Августа к момен-

ту нашего знакомства был капитаном первого ранга, профессором и заведующим кафедрой в Кораблестроительном институте, Полина Викторовна — домохозяйкой. Судьба раскидала выросших детей по разным городам, и только Август остался в Ленинграде. Полина Викторовна любила Августа больше всех остальных детей, принимала близко к сердцу все события его жизни, хорошо знала его друзей и знакомых и считала нужным посвятить меня во все детали жизни своего сына, которые, с её точки зрения, мне необходимо было знать.

Она понравилась мне с первого взгляда. Я сразу почувствовала, что эта женщина обладает сильным, закалённым характером, светлым разумом и житейской мудростью. Она была необыкновенно трудолюбива, крепка, надёжна и вызывала у всех уважение. В первую нашу встречу она слегка растерялась, держалась напряжённо и поглядывала на меня недоверчивыми глазами — её явно смутил мой возраст. Но довольно скоро у нас установились тёплые, сердечные отношения, которые продолжались до самого конца. Во многом этому способствовало то, что мы жили раздельно и в нашу жизнь родители Августа никогда не вмешивались.

Первые годы летом мы часто навещали их на даче в Мичуринском, живя иногда по нескольку дней и помогая в благоустройстве. Полина Викторовна была привлекательной женщиной и великолепной хозяйкой, очень рациональна, бережлива и экономна. Она со здоровым юмором наблюдала мою полную хозяйственную беспомощность, добродушно посмеивалась и с ласковой терпеливостью делилась советами, умениями и навыками. В отличие от Григория Ильича, который никогда не курил, очень заботился о своём здоровье, был человеком скучным и каким-то безликим, моя свекровь обладала весёлым, жизнерадостным характером, была заядлой картёжницей, курильщицей (до последних дней жизни курила исключительно «Беломор») и великолепно пела народные песни и романсы сильным низким голосом. В общем, со свекровью мне повезло, и я у неё многому научилась.

Художником Август мечтал стать с самого раннего детства. Рисовать он начал еще в Красивой Мечи, в Москве занимался в детской художественной школе, а весной 1941 года успешно сдал вступительные экзамены в знаменитую ленинградскую СХШ — среднюю художественную школу при Академии художеств, которую впоследствии окончил наш сын. Августу же поучиться в ней не довелось. Начало войны застало его на Украине, где он гостил у родственников отчима. Пятнадцатилетний Август пошел в местный военкомат и, прибавив

себе два года, записался добровольцем. Призывников построили в колонну и повели на железнодорожную станцию Бахмач, отправлять на фронт. В самый момент погрузки началась бомбежка. Немецкие самолеты разнесли станцию в щепки, призывники погибли почти все. Август был ранен в голову и в руку, контужен и обожжен. Но в госпитале он пробыл недолго: приближались немцы, эвакуировать раненых было не на чем, и всем, кто мог хоть как-то передвигаться, приказали уходить. На последнем пассажирском поезде, временами теряя сознание, в бинтах и разодранной окровавленной одежде, он добрался до Москвы. Повторная попытка уйти добровольцем на фронт не удалась: на этот раз возраст проверяли по документам. Вместе с семьей Август оказался в эвакуации в Баку. Здесь он поступил в военно-морскую школу, на учебном корабле ходил в дружественный тогда Иран, а по достижении семнадцати лет был зачислен курсантом в ленинградское высшее военно-морское училище имени Дзержинского, которое тоже было эвакуировано в Баку, но сразу после снятия блокады Ленинграда вернулось в здание Адмиралтейства. В Ленинграде он и встретил День Победы.

Пока шла война, все личные планы и дела отступали на второй план. Курсанты с нетерпением ждали присвоения лейтенантских званий и отправки во флот, надеясь еще успеть поучаствовать в боевых действиях. Но воевать им не пришлось, а сама по себе профессия морского офицера Августа не интересовала. Вскоре после Дня Победы он сдал вступительные экзамены в Академию художеств и был принят на первый курс архитектурного факультета. Однако уйти из флота оказалось не так легко. Несмотря на официальное ходатайство Академии, пришлось еще год прослужить простым матросом на Балтике, и только после этого Августа демобилизовали. Осенью 1946 года его мечта наконец сбылась: в двадцать лет он стал студентом лучшего в стране художественного вуза. И, как вспоминал Август впоследствии, все годы обучения в Академии он, просыпаясь, пел от счастья.

Архитектурный факультет он выбрал лишь потому, что, как ему казалось, в условиях послевоенной разрухи живопись была непозволительной роскошью. Архитектура же позволяла совмещать занятия искусством с участием в восстановлении страны. Впоследствии живописцы «с дипломом» высокомерно ставили ему на вид отсутствие профессионального образования и возмущались тем, что его картины имеют куда больший успех у зрителя, чем их собственные. Август принимал их упреки, на мой взгляд, просто бессмысленные, всерьез и очень из-за этого переживал. Но о своем выборе никогда не жалел,

часто повторяя, что именно архитектурное образование и архитектурная практика привили ему такое ощущение пространства и понимание законов композиции, которых он никогда не приобрел бы на живописном факультете.

Тем не менее в Академии его друзьями были, главным образом, студенты-живописцы. Вместе с ними он ездил на этюды, делал наброски и вообще уделял рисунку и живописи значительно больше времени, чем предполагалось программой архитектурного факультета. В эти годы он увлекся древнерусским храмовым зодчеством, объездил все города, впоследствии составившие Золотое кольцо, а тогда еще сохранявшие в неприкосновенности свой патриархальный облик с преимущественно деревянной застройкой и полудеревенским укладом жизни их обитателей, открыл для себя деревянную архитектуру русского Севера. От этих поездок остались сотни зарисовок, запечатлевших в том числе и позднее утраченные памятники архитектуры. Многие заброшенные деревенские церкви тогда выглядели так, словно только вчера здесь окончилась служба: с полным иконостасом, висящими в ризнице облачениями и раскрытой Библией на аналое. Сохранился, например, этюд Августа, изображающий интерьер знаменитой деревянной церкви в Кондапоге, где хорошо виден разграбленный позднее иконостас. Да и ближайшие окрестности Петербурга были тогда совсем другими, чем сейчас. Карельский перешеек, оставленный финнами и еще не заселенный русскими, был практически необитаем, его великолепные леса и озера были полны дичи и рыбы. Я еще отчасти застала это его первозданное состояние, и когда мы приезжали на дачу родителей Августа в Мичуринское, то в безлюдных окрестных лесах, прямо на заросших травой финских дорогах собирали сотни белых грибов. В послевоенное же время дикая природа начиналась сразу за чертой города. В Лахту и Ольгино ездили на охоту. Для художников это был настоящий рай, и не случайно ближайшие друзья Августа, живописцы Жора Песис, братья Гарик и Реня Френц стали прекрасными пейзажистами.

Однако и архитектурным проектированием Август увлекся всерьез. О «борьбе с излишествами» и типовом строительстве тогда еще и речи не было, каждое здание рассматривалось и оценивалось как произведение искусства. К тому же архитектурная среда была более прогрессивной и образованной. Наследие архитектурного авангарда, официально осужденное и забытое широкой публикой, по-прежнему оказывало огромное влияние на профессионалов. В отличие от живописи, где насильственное насаждение «метода социалистического

реализма» произвело глубокие разрушения в профессиональном сознании художников, в архитектуре эстетика «сталинского ампира» была лишь внешней оболочкой, ширмой, за которой незаметно для постороннего взгляда продолжали жить, развиваться и оттачиваться идеи конструктивистов. Август с энтузиазмом воспринял эту идущую от двадцатых годов традицию, и в его курсовых проектах под обязательным псевдоклассическим декором скрывались поиски современных композиционных и конструктивных решений. Именно с архитектурой он связывал тогда свои жизненные планы. Он женился на своей однокурснице, у них родилась дочь. И ему самому, и окружающим казалось, что его дальнейший путь в основном уже предопределен.

Окончив Академию одним из лучших в своем выпуске, Август получил уникальную для того времени возможность самому выбирать место будущей работы. Он поехал в Москву, в «Моспроект». Под руководством уже упоминавшегося мною академика Полякова он проектировал застройку набережной Москвы-реки, помогал мэтру в работе над интерьерами его главного произведения — здания высотной гостиницы «Ленинградская» у Трех вокзалов. Вскоре был принят и впоследствии осуществлен его первый авторский проект реконструкции большого жилого дома на Калужской улице. Перед ним открывалась блестящая карьера столичного архитектора, которую, казалось, гарантировала ему доброжелательная поддержка Полякова, находившегося на гребне своей славы. Отказаться от этой карьеры Августу пришлось из-за оставшейся в Ленинграде жены, которая вела все более беспорядочный богемный образ жизни, так что в конце концов ему пришлось всерьез обеспокоиться судьбой маленькой дочери. Семья для выросшего без отца Августа всегда была понятием священным, и когда один из друзей прислал ему короткую телеграмму: «Если хочешь сохранить семью, приезжай», он в тот же день уволился из «Моспроекта», к полному недоумению коллег и самого Полякова, и вернулся в Ленинград, теперь уже навсегда.

Следующие три года были, наверное, самыми тяжелыми в его жизни. Семейная жизнь не ладилась. На новом месте работы дела тоже шли неважно, особенно в сравнении с многообещающим началом в «Моспроекте». В «Ленгидропроекте» проектировали промышленные здания. Руководитель института Васильковский, ревниво относившийся к славе Полякова, Августа явно «придерживал», и в качестве самостоятельных заданий поручал ему лишь второстепенные заказы — проекты заводских корпусов в разных провинциальных городах. Единственной постройкой Августа в самом Ленинграде,

да и то формально не считавшейся его авторской работой, стал один из фасадов главного корпуса проектировавшегося Васильковским Петродворцового часового завода. Все это не радовало. Отдушиной оставались занятия графикой, поездки с друзьями на этюды и на охоту, летние путешествия на Север, в Карелию, и дальше, вплоть до Заполярья, где он жил в стойбище лопарей и писал этюды тундры и Хибин. Но долго так продолжаться не могло. В 1956 году Август развелся с женой и расстался с архитектурой, решив начать все сначала и быть, наконец, только художником.

Здесь надо пояснить, как была организована государственная система управления искусством, созданная еще Сталиным и сохранявшаяся в неприкосновенности вплоть до перестройки. В СССР все здоровые мужчины были обязаны иметь определенное место работы, в противном случае их считали тунеядцами и привлекали к уголовной ответственности. Свободными от службы являлись только члены творческих союзов, обязанные, впрочем, регулярно представлять свою художественную продукцию, соответствующую «профилю» организации. Поэтому в том же 1956 году Август, уже давно бывший членом Союза архитекторов, без особых затруднений вступил и в секцию графики ЛОСХ — Ленинградского отделения Союза художников. Членство в Союзе художников давало много льгот и преимуществ и, в первую очередь, право на персональную мастерскую, а также на участие в выставках, последнее — при условии, что работы будут одобрены выставочным комитетом. По окончании любой выставки закупочная комиссия Министерства культуры приобретала часть работ для музеев, центральных и провинциальных. В преддверии значительных выставок, особенно всяких юбилейных и тематических, с теми художниками, имя которых официально котировалось, Министерство культуры заключало выгодные договоры на очень крупные суммы, по которым художник выполнял работу на заданную тему с гарантированной оплатой. Кроме того, в каждом большом городе существовали художественные салоны — магазины, через которые члены Союза могли продавать свои произведения частным лицам (самостоятельно продавать работы запрещалось). Специальный Художественный совет при салоне рассматривал и принимал работы и определял их стоимость.

Но самой главной кормушкой художников был Художественный фонд — мощная хозрасчётная организация, аккумулировавшая и распределявшая между художниками заказы, поступающие со всех концов страны от самых разных организаций и предприятий, и при

необходимости предоставлявшая также материалы, производственные помещения, оборудование, подсобных рабочих и вообще все необходимое для выполнения этих заказов. Всё эстетическое оформление Советского Союза, начиная с конфетной обёртки и этикетки спичечного коробка, росписи тарелки или занавески, интерьера кафе или ресторана и кончая монументальными памятниками, панно и диорамами, — всё проходило через художественно-производственные комбинаты Худфонда. Заказов было много, и с каждым годом количество их возрастало, поэтому фонд был очень богатой организацией, настоящим финансовым монстром, на деньги которого существовал Союз художников, его выставочные залы, его многочисленные дома творчества (в Гурзуфе, Дзинтари, Хосте, на озере Селигер, а также десятки других, более скромных, так называемых творческих баз) и устраивались все мероприятия, связанные с художественной деятельностью.

Пользуясь этими возможностями, члены Союза художников могли существовать безбедно. Их жизненный уровень был намного выше, чем у большинства советских граждан. Но платой за привилегии являлось соблюдение правил игры. Обеспечивать «высокий идейный уровень советского искусства», помимо партийного бюро, были призваны многочисленные худсоветы, выставочные комитеты и комиссии разных рангов, правление ЛОСХ и бюро его секций — и это только в системе Союза художников. Кроме них, идеологический надзор осуществляли еще более реакционная Академия художеств, областное управление культуры, отдел культуры обкома КПСС и, наконец, «искусствоведы в штатском» из КГБ. А еще на борьбе с «порочными явлениями» в искусстве специализировалась целая когорта художественных критиков, по собственной инициативе выискивавших и «разоблачавших» их в статьях, больше похожих на доносы. В первой половине пятидесятых идеологическое давление на художников достигло апогея: даже такие ортодоксальнейшие, хрестоматийно-образцовые представители социалистического реализма, как Яблонская и Лактионов, подвергались травле за «импрессионизм» и «натурализм» соответственно.

Хрущевская оттепель, казалось, положила конец этому безумию, и произошло это как раз тогда, когда Август вступил в ЛОСХ. Несколько лет художники могли работать относительно спокойно. Конечно, чтобы стать академиком, народным художником, лауреатом, по-прежнему требовались идеологически значимые произведения, но для рядовых членов Союза, не претендующих на власть и большие деньги, помимо чисто профессиональных требований к уровню ра-

бот, действовало лишь «правило четырех НЕ»: не абстракционизм, не антисоветская пропаганда, не религия, не эротика. После жесточайшего диктата сталинской эпохи, когда художникам детально разъясняли, что и как они должны писать, это казалось почти полной свободой.

Но еще более важным фактором развития искусства в эти годы было возрождение такого явления как общественное мнение, общественный интерес к творчеству современных художников. Это была настоящая революция, хотя и неявная, и ее последствия трудно переоценить. В сталинское время общество покорно и равнодушно потребляло ту «духовную пищу», или скорее жвачку, которую ему навязывала партия. Оттепель сформировала довольно широкий слой таких зрителей, как я — зрителей, активно интересующихся современным искусством и имеющих о нем собственные представления, отнюдь не совпадающие с установками идеологического начальства. Вкусы этой новой зрительской аудитории постепенно стали оказывать все большее воздействие на расстановку сил в творческих союзах. Появились художники, не имеющие государственных наград и почетных званий, но влиятельные и преуспевающие. Две иерархии, официальная и неофициальная, сложно переплетались между собой, поскольку власть действовала и кнутом, и пряником, иногда подвергая популярных художников гонениям, иногда заигрывая с ними и пытаясь, не всегда безуспешно, привлечь их к осуществлению своих политических целей, невзирая на отчаянное сопротивление сталинских «динозавров» из Академии художеств.

Неприязненно относясь к новым веяниям в искусстве, власть так долго терпела их прежде всего потому, что крайне нуждалась в создании более привлекательного для иностранцев имиджа СССР. Творческой интеллигенции отводилась ключевая роль в обновлении обращенного вовне «парадного фасада» советской империи. Общеизвестно, как использовались с этой целью балет, кинематограф и литература, прежде всего поэзия. Они сохраняли свою представительскую функцию вплоть до краха СССР. Но на рубеже пятидесятих-шестидесятых, до начала кампании по борьбе с «формализмом», на десятилетия превратившей Союз художников в самый консервативный из всех творческих союзов, настоящее застойное болото, едва ли не большее значение для зарубежной публики имело стремительно менявшееся советское изобразительное искусство, интерес к которому подогревался модой на русский авангард двадцатых годов.

Как художник Август дебютировал в графике — наиболее актуальном и востребованном в шестидесятые годы виде изобразительного искусства. Острота и новизна его работ сразу привлекли к себе внимание. Среди них были и вполне реалистические, включая большую серию городских пейзажей, и более условные, вплоть до чисто абстрактных, цветные и черно-белые, но все они, независимо от жанра и техники исполнения, были эстетически очень эффектными, сложно и точно формально выстроенными, и помимо собственной внутренней содержательности, со временем углублявшейся, в них был с предельной ясностью, почти декларативно выражен дух новой эпохи. Его гравюры и монотипии охотно раскупались в центральном художественном салоне на Невском, 8, пошли заказы от музеев и организаций (сводный брат Августа, морской офицер, получив назначение на новейший ракетный крейсер, гордость Тихоокеанского флота, с изумлением обнаружил на стенах кают-компаний его ленинградские пейзажи, после чего проникся к творчеству брата большим уважением), с ним заключались договоры на выставки, о нём стали писать искусствоведы. Без преувеличения можно сказать, что на несколько лет он стал одним из самых модных графиков в Ленинграде.

Важным событием в художественной жизни Ленинграда стал приезд в 1961 году английского искусствоведа и галериста Джона Эстерика. Это был первый прямой контакт с западным арт-бизнесом, и ажиотаж вокруг этого визита был очень большой. Эстерик предпочитал самостоятельно ориентироваться в ленинградском искусстве, совершенно не считаясь с официальной лосховской табелью о рангах, его интересовали авторы с ярко выраженной индивидуальностью и в то же время высокопрофессиональные, работы он отбирал очень придирчиво. Официально считалось, что он получает их в подарок, но на самом деле Эстерик покупал их по обычным «салонным» ценам, расплачиваясь рублями. Однако для художников интерес здесь был не в деньгах. Начиная складываться альтернативная шкала ценностей, в которой на первом месте стояла оценка Запада. Поэтому за выбором Эстерика художники ревниво следили, по ЛОСХ гуляли слухи: «Эстерик купил работы Каплана! Эстерик приехал в мастерскую к Ершову!». Посетил он и мастерскую Августа, и купил около двадцати абстрактных гравюр, которые Август делал «для себя», так как выставить их в СССР было заведомо невозможно. (Недавно некоторые из них обнаружили в Интернете, на британском сайте, посвященном раннему советскому андеграунду). Очевидно, этот факт учли в соответствующих инстанциях, и на следующий год целый ряд

работ Августа (конечно, не абстрактных) был отобран для большой выставки современной советской графики в Лондоне. Еще раньше он участвовал в выставках советского искусства на Кубе и в других странах Латинской Америки, его приятельницей и моделью стала часто бывавшая в Ленинграде популярнейшая в те годы кубинская балерина Мения Мартинес — протеже самого Фиделя Кастро. Чешский художественный журнал поместил «формалистическую» линогравюру Августа на обложку и опубликовал о его творчестве большую сочувственную статью. Мы поженились в тот момент, когда казалось, что его карьера художника складывается более чем успешно.

Но тут грянул скандал в московском Манеже, а затем Пленум ЦК партии, давший командный сигнал о чистке в Союзе художников. Его руководство стало лихорадочно искать, прорабатывать и исключать «отщепенцев». С разговора об этих событиях, если помнит читатель, и началось наше знакомство с Августом в Гурзуфе. Было это в июне. А в конце сентября мы получили повестку из ЛОСХ, вызывающую Августа на заседание бюро секции графики, посвященное «рассмотрению персонального дела художника Ланина в свете борьбы с формализмом». Это означало, что ему грозит исключение из Союза, потеря мастерской и доступа к печатным станкам, на которых делались оттиски гравюр (вся множительная техника, даже крошечный кусочек литографского камня, в СССР находилась на строжайшем учете, и возможность печатать гравюры предоставлялась только членам Союза). Ужас состоял даже не столько в перспективе остаться без жилья, которым служила мастерская, и без всякой возможности заработка, сколько в том, что исключенный член ЛОСХ, изолированный от зрителя и профессиональной среды, в социальном смысле как бы исчезал, прекращал существовать в качестве художника. Никакого андеграунда, никаких неофициальных и оппозиционных ЛОСХ художественных групп и объединений в те годы еще не было, они в Ленинграде сформировались позднее, отчасти это происходило на моих глазах, и об этом я еще расскажу. Впоследствии, в семидесятые годы, непризнанные ЛОСХ художники, числясь разнорабочими или дворниками, организовывали подпольные и полуподпольные выставки, у них появились свои зрители и даже коллекционеры их работ, и, несмотря на отсутствие официального статуса, они могли ощущать себя профессионалами. Тогда же, в начале шестидесятых, понятие «независимый художник» в общественном сознании попросту отсутствовало, и исключение из творческого союза было равносильно профессиональной смерти.

Когда Август затемно вернулся в мастерскую, где я ждала его с волнением и тревогой, выкуривая одну сигарету за другой, на нём не было лица. Он сел на диван и обхватил руками голову. Я присела рядом, обняла его, и он по-детски жалобно уткнулся мне в плечо.

— Ну что?!

— Идиоты! — простонал он. — Какие идиоты!

— Исключили?

Он отрицательно покачал головой.

— Назначили испытательный срок. Полгода. Бред какой-то...

Вскоре Хрущёва сместили с должности, и накал «борьбы с формализмом» несколько спал. Вопрос об исключении больше не вставал, но с этого времени путь на выставки для Августа был закрыт, и в салоне перестали принимать его работы на продажу. Оставалась единственная возможность — преподавать, и чуть позднее Август устроился на кафедру живописи и рисунка архитектурного факультета ЛИСИ.

* * *

У Августа был широкий круг общения, и почти каждый день к нам в мастерскую приходили гости. Знакомых, приятелей и приятельниц было очень много, но близкими друзьями он считал всего несколько человек. Среди них были его сокурсники по Академии художеств, живописцы Жора Песис, Гарик Френц и Коля Ломакин.

— Съездим сегодня к ребятам, — сказал он спустя несколько дней после моего переезда в Ленинград.

Делая поворот на перекрёстке Невского проспекта и улицы Бродского, он воскликнул:

— А вот и Жора!

Мы остановились. На другой стороне улицы из серой «Волги» вылез импозантный светловолосый бородач в прекрасно пошитом модном костюме и, раскинув руки, двинулся к нам.

— Знакомьтесь. Моя жена Ната, а это Жора Песис, — представил нас друг другу Август после того, как они по-дружески обнялись.

— Наслышан, наслышан, — по-светски расшаркался Жора, с любопытством глядя на меня и целуя руку.

В его глазах мелькнула искорка удивления, столь характерная для моих предыдущих знакомств. В те годы семейные пары с большой разницей в возрасте были редкостью, и наш брак у многих вызывал недоумение. Многие в нашем окружении считали, что через

несколько лет нас с Августом ожидает развод. Получилось совсем иначе: развелись почти все, кроме нас.

Перекинувшись несколькими словами, Жора сообщил, что они с женой завтра улетають отдыхать на юг.

— Как только вернёмся, встретимся, — заверил он.

Пока мы ехали на Васильевский остров, я сидела молча, погружившись в размышления. Невесёлые мысли стали приходить мне в голову. Слишком блестящими, слишком великосветски шикарными были друзья у моего мужа. Не попала ли я в ситуацию, когда не по Сеньке шапка? А ведь мне предстоит ещё более серьёзные испытания — общение с женщинами, которых Август тоже считал своими близкими друзьями, и среди них Алла Осипенко и кинозвезда Оля Заботкина. А кто такая я по сравнению с ними со всеми? Провинциальная студентка из Белоруссии.

Август бросил на меня взгляд и озабоченно спросил:

— О чём так грустно задумалась?

Я неопределённо пожала плечами.

— А всё же? — продолжал настаивать он.

— У тебя такие друзья... — невнятно пробормотала я и, решившись, добавила: — Боюсь, что придётся не ко двору.

Он весело рассмеялся, а потом, немного подумав, веско и внушительно произнёс:

— Ты — моя жена. И поверь мне: ты лучше их всех.

Я вздохнула. И хотя его слова несколько успокоили, сомнения не покидали меня. «Ладно, — стиснув зубы, мысленно сказала я себе, — посмотрим. Обратного пути всё равно нет».

Когда мы остановились у дома на проспекте КИМа, где находились мастерские его друзей, в которых они не только работали, но и жили, не имея пока квартир, Август, как бы в продолжение разговора, стал рассказывать мне:

— Они все способные и многообещающие художники. Я им во многом благодарен. Если бы не они, так и занимался бы архитектурой. Самый талантливый и умный — Жорка. Он пижон, эстет, любит красивую жизнь, и у него куча комплексов. Колька — профессионал высокого класса, отличный преподаватель, остряк, весельчак и балагур. Самый добрый и обаятельный — Гарька. Он из семьи потомственных художников немецких кровей. Его отец, Рудольф Рудольфович Френц, был профессором Академии художеств, его работы в Русском музее. Гарика я считаю самым близким человеком и люблю больше всех. К нему и пойдём.

Нам открыл дверь видный красивый мужчина, одетый в домашнюю клетчатую рубашку.

— Авка! — радостно воскликнул он и гостеприимно засуетился, проводя нас из маленькой прихожей в большую комнату с огромным во всю стену оконным проёмом от пола до потолка. Знакомясь со мной, он доброжелательно улыбался какой-то особой, стеснительной и в то же время лукавой улыбкой. Статная фигура, крупные правильные черты лица, длинные чёрные волнистые волосы, зачёсанные назад. Он сразу располагал к себе доверительной мягкостью и приятностью манер. Человеческое обаяние так и струилось из него. Мне стало легко и свободно. Пока мужчины о чём-то говорили, я оглядывалась кругом.

О том, что это художественная мастерская, свидетельствовали только мольберт, письменный стол, на котором в аккуратном порядке покоились кисти и краски, да несколько пейзажных холстов, развешанных на стене. Во всём остальном эта была большая, уютная гостиная, застеленная ковром, со старинными диваном, небольшим столиком и креслами, с множеством комнатных цветов и большим аквариумом с подсветом.

Мы перешли в небольшую кухню, где Гарик быстро и ловко что-то накрыл на стол. Тут раздался звонок в дверь, и вслед за Гариком в кухню ввалился высокий валяжный мужчина с весёлыми блестящими глазами и радостным оскалом. Он весь прямо-таки дышал жизнерадостной силой и энергией, и я невольно улыбнулась.

— А вот и ещё один из нашей компании, — снова засуетился Гарик.

— А как же! Я всегда тут как тут! — оглушительно расхохотался пришедший, обнажив крупные зубы, и с силой приветственно хлопнул Августа по плечу.

— Ты тише, тише, а то испугаешь человека, — шутливо одёрнул его Гарик и, обратившись ко мне, добавил: — Он у нас ржёт, как лошадь, привыкнуть надо. Его зовут Николай Ломакин.

— Вот именно, — снова радостно оскалился гость и крепко, до боли, пожал мне руку.

В душе моей воцарилось спокойствие.

По дороге домой на немой вопрос Августа я ответила:

— Мне они понравились. Особенно Гарик.

Я не встречала в жизни больше ни одного человека, который так располагал к себе, как Гарик Френц. Он не был широко образован, профессию художника воспринимал как любую другую, которая даёт

ему возможность зарабатывать на жизнь. Разговоры об искусстве он не любил, в политике не разбирался и отвергал её. Он не читал книг, не ходил в театр и кино. Честолюбия, снобизма в нём не было ни грана. Напротив, этот потомственный петербургский интеллигент, казалось, сознательно стремился к «опрошению», охотно общался с какими-то автомеханиками и сторожами на автостоянке, зубными техниками, дворниками и торгашами. Но при этом был всеобщим любимцем в блестящем кругу своих друзей. Чем же так накрепко он привязывал к себе чужие сердца?

Общение с Гариком доставляло не просто радость, но наслаждение. Он был охотником и рыболовом, а потому страстно любил и тонко чувствовал природу и животных, о которых мог рассказывать неподражаемо артистично и увлекательно.

Его речь, его рассказы отличались замечательным, индивидуальным стилистическим своеобразием. У него были свои, особые слова и словечки, присказки и поговорки, им самим придуманные, остроумные и потешные, ироничные и насмешливые. Они были разительны и входили в обиходную речь друзей и знакомых.

Он был автомобилистом, горным лыжником, сердцеедом и ценителем женщин, гурманом и безвредным сплетником.

Честность и порядочность Гарика в отношениях с самыми разными людьми, его педантичная щепетильность доходили порой до крайности, могли вызывать добродушную усмешку, но никогда не приносили огорчения. Эта порядочность, эта искренняя доброжелательность к любому человеку проистекали не от хорошего воспитания, которым он, безусловно, обладал, не от интеллигентских умствований, хотя его невозможно было не считать интеллигентом, а от инстинктивной мудрости его натуры, выражавшейся в пиетете, с которым он относился ко всем людям без исключения, порой самоуничижая себя. И это подкупало безотказно.

Ко всему прочему, Гарик был очень домашним человеком, умеющим создать обстановку уюта и комфорта в любой среде, в которой находился, и очень гостеприимным и хлебосольным. Такой же была и его жена Альвина, любившая устраивать необыкновенно вкусные и обильно-щедрые застолья. Поэтому нигде мы не любили так бывать в гостях, как у Гарика.

Вскоре с Кубы, где он проходил службу в армии, вернулся младший брат Гарика — Реня Френц (полное имя его было Рейнгард, а у Гарика — Герхард). Как и Гарик, он окончил Академию художеств, был живописцем и довольно скоро вступил в Союз художников.

Они были похожи внешне, а также речью, манерами и насмешливо-лукавым, своеобразным юмором. Как и Гарик, Реня был охотником и рыболовом, очень любил природу и, главным образом, писал пейзажи. Но по характеру они являлись полной противоположностью. Как говорил Август, старший брат был в отца — мягкий, добрый, податливый и уступчивый. А младший — в мать, Екатерину Анисимовну, обладавшую жёстким, властным и решительным нравом.

Жену Рени звали Наташа. Высокая, с прекрасной фигурой и красивым лицом с правильными чертами лица, она была моей ровесницей. Очень увлекалась искусством и мечтала стать искусствоведом. Её мать работала художником на «Ленфильме», а отчим — Орест Кандад — был очень популярным в то время руководителем ленинградского джаз-оркестра. И по возрасту, и по характеру, и по общности интересов и увлечений из всех жён она оказалась мне наиболее близка. Как и я, она тогда не работала, и, будучи обе новобрачными, мы с ней повсюду сопровождали наших мужей, которые совместно зарабатывали деньги, выполняя добытые через Худфонд «халтуры» типа различных панно для Домов культуры. Они работали, а мы присутствовали при этом и подкармливали их. Реня с Наташей на долгие годы стали нашими самыми близкими друзьями, и мы вместе отмечали праздники, ездили на юг и за грибами, совершали путешествия по Карелии, Ладогe и Заонежью.

Как пейзажиста, Реню очень привлекала экзотика Севера. Он писал тундру, оленей и быт северных аборигенов. В эти северные поездки он ездил в составе геологических экспедиций, и у него было много друзей среди геологов — удивительно приятных, умных и интеллигентных людей.

И Гарик, и Реня были талантливыми и мастеровитыми живописцами, пользовавшимися авторитетом в ЛОСХ, и, если бы не ранняя смерть — оба умерли пятидесятилетними — они, безусловно, заняли бы заметные места в истории петербургского искусства.

* * *

В один из праздников нас пригласили к себе Жора и Рита Песисы.

— Ну вот, сегодня соберётся весь бомонд, — шутивно предупредил меня Август, внимательно наблюдая, как я наряжаюсь.

Когда я, одевшись, покрутилась перед ним, он отрицательно покачал головой.

— Это не пойдёт. Снимай.

Я пришла в недоумение и растерялась.

— Ну, показывай, что там у тебя имеется, — приказал он мне.

Я разложила перед ним на тахте все свои туалеты. Он долго и придирчиво их осматривал. Потом перебрал все мои ювелирные украшения, бросил взгляд и на туфли. А затем указал пальцем:

— Одевай это, это и это.

Я заупрямилась.

— Чёрный цвет мне не идёт, он не нарядный, и потом это старые вещи, они мне уже надоели.

— Про то, что они тебе надоели, никто не знает. Одевай.

Тяжело вздохнув, я послушалась.

— Другое дело! Скромненько и со вкусом, — был удовлетворён Август.

Я посмотрела на себя в зеркало. Облегающая чёрная юбка и чёрный, плотно обтягивающий грудь свитерок из лёгкого джерси делали фигуру подчёркнуто красивой и стройной. Крупное серебристое ожерелье под жемчуг контрастно мерцало на чёрном фоне.

— Да уж! Скромнее не бывает... — вздохнула я, но была вынуждена признать про себя, что этот неброский туалет был намного элегантнее предыдущего.

У Августа был безупречный вкус, и я всю жизнь советовалась с ним в подборе одежды и каждый раз убеждалась, что он всегда бывал прав.

В доме Песисов собралось не меньше двадцати человек, почти все — семейные пары. Помимо уже знакомых мне Френцев и Ломакиных, были и незнакомые. И они, и вся атмосфера этого дома точно соответствовали характеристике Августа — бомонд. Это ощущалось во всём: в модно-современной обстановке этого дома, в одежде и манерах этих людей, в стиле их общения и поведения. Им всем не было ещё сорока лет, но держались они солидно. Мужчины отличались респектабельностью, женщины, каждая по-своему, особой породистой красотой. Чувствовалось, что все они не просто уверены в себе, но убеждены в том, что им отведена под солнцем особая роль. Бывать среди таких людей ранее мне не приходилось, если не считать общения с Ольшевскими, которые чисто внешне органично вписались бы в эту компанию. Мужчины были со мной любезно галантны, женщины рассматривали с холодным любопытством. Но и я с таким же любопытством наблюдала за всеми. В них было много лоска, преуспевания и внешней притягательности, но что-то меня настораживало, что-то откровенно не нравилось. Вот только что? Я пыталась понять.

Они вели себя вроде бы естественно, мужчины много и остроумно шутили, и вообще было очень весело. И тем не менее я чувствовала какую-то искусственность. Эти люди слишком стремились казаться и себе и другим чем-то значительным. Но мужские разговоры велись вокруг заработков, заказов и договоров, были пустыми, бессодержательными, откровенно похожими на сплетни, а женщины делились опытом приобретения дефицитных вещей. Рита Песис с заговорщицким видом пригласила женщин в другую комнату оценить её французское нижнее бельё. Я заскучала.

Рядом со мной за столом сидел Юра Бойтман — подвижный и живой, как ртуть, искусствовед, который бурно реагировал на все шутки, внося в них и свою лепту. При этом его маленькие, острые, как буравчики, глазки так и сверкали из-под толстых стёкол очков. В какой-то момент он затеял разговор о недавней художественной выставке, о новых тенденциях в искусстве. Женщины построили пренебрежительные мины, а Жора, на правах хозяина дома, его остановил:

— Юрка, ты что, забыл? Здесь об искусстве говорить не принято.

Я удивилась. Бойтман с непосредственностью тихо матюгнулся, потом, испуганно спохватившись, извинился передо мной и тоже заскучал.

Из всех незнакомых гостей наибольшее внимание привлекала одна супружеская пара. Сначала она — своей эффектной, горделивой красотой, потом её муж — невысокий, невзрачный мужчина с залысанными назад редкими волосами, немного утиным носом и близко поставленными маленькими глазами. Его звали Игорь Оминин, её — Ника, и она полностью соответствовала образу богини Победы. Вела себя победительно громко и самоуверенно. Я заметила, что отношение к Омину со стороны окружающих отличается особой почитательностью.

— Кто он? — шёпотом спросила я у Августа.

— Промграфик, — коротко ответил он.

— А что это такое?

— Обёртки, этикетки, упаковки и тому подобное.

«Странно, — подумала я. — За что же такое уважение?»

Оминин выглядел старше остальных на несколько лет. Он держался с некоторым превосходством и в выражениях не церемонился. Его реплики были остроумны, но циничны и балансировали на грани откровенного хамства. Он очень много пил, но оставался абсолютно трезвым. От него исходила сильная энергетика, а тяжёлый, неподвижный взгляд был умным и проницательным. Несмотря на всю ма-

лоприятность, в нём было какое-то властное, покоряющее обаяние мощного, деловито-трезвого и холодно-рассудочного интеллекта. На художника он был совсем не похож.

— Главное — власть и деньги. Все происходящее надо рассматривать с этой точки зрения. Благодаря тем самым «новым тенденциям», о которых так возвышенно говорил Юра, я завален заказами и могу при желании каждый день покупать себе ящик коньяка. Значит, это позитивные тенденции, — заявил он в продолжение разговора и хрипло и неприятно рассмеялся.

Слова эти вызвали всеобщее одобрение. За это выпили.

Потом народ разбрёлся по углам, начались танцы.

Увидев, что Август о чём-то оживлённо беседует с Жорой и Юрой, я подошла к ним и услышала последние Жорины слова:

— Абстракционизм разрушает профессиональные критерии оценки искусства.

— А разве профессиональное искусство может быть только реалистическим? — поинтересовалась я.

Жора с высокомерным удивлением посмотрел на меня круглыми красивыми глазами и назидательным тоном произнёс:

— Знаете, женщинам вступать в мужской разговор не следует. Что они могут в этом понимать?

Опешив от столь домогостроевской точки зрения и разозлившись, я ляпнула:

— Не надо судить по собственной жене.

Жора сильно покраснел:

— А вот это уже оскорбление.

Август строго и укоризненно на меня посмотрел, я смутилась, а Юра Бойтман пьяно расхохотался, хлопнул меня по плечу и заявил:

— Молодец! Авка, мне нравится твоя жена.

— Я не хотела... — начала было я извиняться, но Жора остановил меня:

— Женщины не извиняются.

В бомонд я, точно, не вписывалась.

* * *

До встречи со мной у Августа было невероятное количество знакомых женщин. Он называл их приятельницами, но во многих случаях это был, вероятно, эвфемизм. Первые полгода от них следовали непрерывные телефонные звонки. Я только тяжело вздыхала и ка-

чала головой, передавая ему трубку. На стереотипные вопросы «Как жизнь?» и «Что новенького?» Август неизменно отвечал:

— Я женился. Это главная новость.

Повторных звонков не бывало.

И только две женщины в его жизни занимали устойчивое и нерушимое особое положение — это Алла Осипенко и Оля Заботкина. Их связывали с Августом давние дружеские отношения, основанные на товарищеском уважении и тёплой симпатии. С Аллой они были особенно близкими и доверительными, с Ольгой более строгими и сдержанными, что объяснялось их характерами и темпераментом.

Я поняла с самого начала, что эти отношения носят неприкосновенный характер и для Августа важны и ценны, а потому нервничала, отнюдь не будучи уверенной, что сумею найти общий язык с балеринами Кировского театра. Осипенко — прима этого театра, народная артистка СССР, первая советская балерина, получившая в Париже самую престижную мировую премию имени Анны Павловой, балерина, которую уже тогда называли великой. Заботкину же, помимо балетной публики, знала и любила вся страна за исполнение главной роли в пользовавшемся огромным успехом фильме «Два капитана» по одноименному роману Каверина.

Алла была первой женой Жоры Песиса, бросила его и вышла замуж за Геннадия Воропаева, эффектно красивого мужчину, блистающего на сцене в главной роли одного из лучших спектаклей театра Акимова по пьесе Шварца «Тень». О моём знакомстве с ними в Киеве я уже рассказывала.

В судьбе Жоры Алла Осипенко сыграла роковую роль. Песис был талантлив, с блеском защитил свою дипломную картину в Академии и подавал большие надежды. Как человек он тоже производил обещающее впечатление: интересен, неглуп, остроумен.

Жора мучительно переживал разрыв. Сценическая слава бывшей жены и её нового мужа подстёгивала его уязвлённое мужское самолюбие и творческое честолюбие. Он во что бы то ни стало стремился добиться известности, почетных званий и материального благополучия, не уступающих тем, что имела Алла. Эта подсознательная, тщательно им запрятываемая мотивация всех его жизненных планов и усилий в конечном итоге привели его к профессиональному краху и ранней смерти. Всё могло сложиться иначе, будь у него иная профессия. Но искусство не терпит использования себя для каких-то иных целей, кроме творческой самореализации. Жора от природы был живописцем-лириком, человеком тонкого чувственного восприятия, а стал писать

чуждые ему монументальные идеологические картины в надежде на официальное признание. Успеха они не имели. Тогда он начал делать административную карьеру, стал главным художником Худфонда, и эта должность открыла ему доступ к крупным заказам и большим деньгам. Но как живописца он себя загубил окончательно. Жора это понял не сразу, а когда осознал, жизнь его пошла в разнос: он ушёл из семьи, стал пить и сломал свое сердце. Мне думается, что немаловажную роль в этой жизненной драме сыграла его вторая жена Рита — красивая, но ограниченная женщина, мало разбирающаяся в искусстве и озабоченная исключительно меркантильными интересами.

Для самой же Осипенко внешние атрибуты успеха никогда не имели большого значения. Август нежно любил Аллу за красоту, ум, талант, но главным в его отношении к ней было глубочайшее уважение к её самоотверженной преданности своему искусству. Она не мыслила себе жизни без сцены. Балет был её всепоглощающей страстью. Неоднократно она получала очень серьёзные травмы, но каждый раз усилиями воли преодолевала мучительные боли, заставляла себя работать и продолжать танцевать. Кроме того, Алла никогда не была послушным исполнителем воли хореографа. Её жизнь в балете всегда была активно творческой, она стремилась к новым открытиям и достижениям, позволяла себе спорить, не соглашаться, отстаивать свою позицию. Её не останавливало, что делала она это в ущерб своей карьере, благополучию, семейной стабильности и покою. Этой, можно сказать, фанатичной любви к искусству Алла принесла много жертв в своей жизни, делая порой несчастной не только себя, но и близких ей людей.

Спустя несколько месяцев после нашей женитьбы Алла пригласила нас на премьеру балета «Каменный цветок», в котором танцевала Хозяйку Медной горы. Тогда я впервые оказалась в Кировском театре. Балет произвёл очень сильное впечатление, а Алла просто потрясла меня. Не являясь специалистом, трудно судить о профессиональных качествах балерин и танцовщиков, и Алла поразила меня не столько виртуозной отточенностью танца, сколько тем внутренним состоянием души, которое, танцуя, переживала и испытывала и которое со всей очевидностью читалось и проявлялось в каждом движении, в каждом жесте, в затаённом выражении лица и глаз, в углублённо загадочной полуулыбке её губ. Наверное, так, растворяясь в наслаждении от родной стихии, парят птицы высоко в синем небе, скользят и плавают рыбы в чистой прозрачной воде.

Успех её был в тот вечер большим и громким. Долгие аплодисменты, очень много цветов и несмолкающие крики «Алла, браво!»

— Вообще-то, — справедливости ради заметила я Августу, старательно отбивая ладони, — два других главных солиста тоже великолепны, почему публика так реагирует только на Аллу?

Он пожал плечами:

— Потому что это Алла.

Есть особая порода людей, которые от природы обладают властной притягательностью, потому что живут в особом, возвышенном мире. Эти люди не хотят и не умеют жить безлико, бескрыло и рутинно. Они могут только парить и сверкать. Именно такой представляется мне Алла Осипенко. Когда я вижу по телевизору сегодняшних звезд российского балета — нынешнюю приму Мариинки Лопаткину или гламурную красотку Волочкову, и особенно когда они начинают рассуждать с экрана о жизни и об искусстве, то всякий раз я ловлю себя на мысли: да, до Осипенко им так же далеко, как до неба... Несмотря на открытость и сердечную доброжелательность, которую она проявляла ко мне, я всегда чувствовала её божественную недоступность. Август же был одним из немногих, кто умел общаться с ней на равных. В чём-то они были неуловимо похожи, может быть, поэтому так крепко привязались друг к другу.

После спектакля, уже у нее в квартире на Кировском проспекте, когда мы сидели за накрытым столом, зашёл разговор о театральной жизни, в частности о ситуации в Кировском театре. Алла говорила о психологическом давлении, вражде, склоках и профессиональных интригах, о том, что приходится быть всё время начеку. Предметом разговора стала и широко распространённая театральная клака, о которой я узнала и услышала впервые. Август стал осуждать это явление, они заспорили. Я сидела молча, не считая себя вправе вмешиваться.

Алла сказала:

— Ты неисправимый идеалист, Август, но в одном я с тобой согласна. Никакая клака не поможет бездарности. Надо постоянно над собой работать, развиваться, двигаться вперёд. Я всё время об этом говорю Геше. Меня очень беспокоит, что он почил на лаврах, разленился. Успех избаловал его. Все эти поклонницы, которые вешаются ему на шею... Но он меня не слушает. Скажи хоть ты ему.

И они вдвоём принялись за Воропаева. Этот красивый мужчина, барственно раскинувшийся в кресле, вяло от них отбивался. Он был не очень умён, действительно избалован и при этом лишён честолюбия и творческого огня. Вскоре они с Аллой расстались. После этого актёрская звезда Воропаева быстро закатилась.

Года на два Алла исчезла с нашего горизонта, и мы не общались. Она позвонила нам, когда в третий раз вышла замуж. На этот раз

её избранником стал коллега, танцовщик Кировского театра Джон Марковский. Они стали не только мужем и женой, но и постоянными партнёрами на сцене, составив цельный и красивый профессиональный дуэт. Но не менее артистически красиво и страстно развивалась поначалу и их любовь. Они были исключительно яркой, эффектной парой. Тонкая, точёная, рыжеволосая Алла, с огромными сероголубыми глазами на всегда открытом, прозрачно-одухотворённом лице, и атлетически безукоризненный Джон, с чуть резкими чертами лица и густой чёрной шапкой волнистых волос. Когда они первый раз вместе пришли к нам домой, мне сразу бросилось в глаза, как безумно влюблена Алла и как обожающе, по-юному поэтическими глазами пожирает её Джон. (Он был моложе Аллы на десять лет). И тут же почему-то мне подумалось: «Надолго ли хватит такой бурной, неудержимой страсти?»

С годами разница в возрасте стала стираться. Джон заматерел, его черты лица приобрели жёсткость, мужественность, в нём стала проявляться грубая сила. Им вместе пришлось пережить немало страданий, бороться за своё партнёрство и творческие убеждения, уйти из Кировского театра, что по тем временам означало крах артистической карьеры, но они сумели выстоять, подняться и вновь засиять на сцене сначала в труппе Якобсона, а затем в балетах Эйфмана.

Нам с Августом нравился Джон, и он нам явно симпатизировал. Бывая у нас дома, он как-то расслаблялся, веселел и отвлекался от мрачных мыслей. Однажды он признался:

— Я возненавидел балет. Я устал от постоянной гонки, изматывающей, напряжённой работы. У меня болят все мышцы. Я хочу иметь нормальный дом, семью, покой, вкусный обед, наконец, чёт побери! Я хочу на пенсию.

Алла, которая не могла жить без балета, этого не понимала. Все годы их совместного творчества она была ведущей, а он ведомым. Видно было, как его угнетает такое положение. Он страдал, потому что в их театральном окружении Алла была богиней, а он никем. Это откровенно демонстрировалось даже во время домашних застолий, на которых собирались артисты Кировского театра и на которых мы с Августом тоже бывали. Нам с Августом было жалко Джона, тем более что мы считали его талантливым танцором, возможности которого просто не сумели выявить постановщики. Во всяком случае, в балете Эйфмана «Идиот» в партии Рогожина ему, по-моему, не было равных. И я помню, с каким благодарным, растроганным выражением лица он слушал мнение и комплименты Августа.

Но и Алле было с ним нелегко. Она человек, созданный, рождённый для искусства, и только в этой среде могла жить, дышать, существовать и чувствовать себя счастливой. Джон же, скорее всего, по натуре своей был предназначен для какой-то другой жизни и деятельности, более приземлённо мужской и примитивно-грубой. Насколько я знаю, окончательный разрыв между ними, осложнённый многочисленными предшествующими конфликтами, произошёл именно в силу этих обстоятельств.

Для Аллы это был тяжелейший удар. Она потеряла не только мужа, но и партнёра, и случилось это уже в том возрасте, когда, казалось бы, уже невозможно строить жизнь заново. Для неё наступил поистине трагический период, длившийся многие годы. Беды сыпались одна за другой. Отсутствие работы, нищенская жизнь на жалкие гроши, в которые превратилась пенсия народной артистки, смерть матери, на которой держалась моральная и житейско-земная основа семьи и дома, и, наконец, самое страшное — потеря единственного сына Вани. Алла начала страшно пить, она погибала на глазах. К счастью, именно в это время Александр Сокуров пригласил Аллу на главную роль в своём фильме «Скорбное бесчувствие», а затем последовали роли и в других его фильмах, вплоть до недавнего «Русского ковчега». Работа в кино её спасла, потому что жить просто так, «как все люди живут», жить без постоянно напряженного творческого труда Алла органически не могла.

В нашей семье конец восьмидесятых и начало девяностых тоже были невероятно тяжёлым временем. Один за другим уходили из жизни родители, был призван в армию сын, за которого мы страшно переживали. В эти годы мы мало с кем общались, не виделись и с Аллой. Потом её пригласили за границу на преподавательскую работу, и мы надолго потеряли её из виду. А когда вновь стали общаться, с радостью убедились, что трудные жизненные испытания её не сломили. С годами Алла стала мудрее и проще, но она не изменилась в одном, самом главном — навсегда осталась жрицей искусства, на алтарь которого положила всю свою жизнь.

* * *

Совсем другим человеком и женщиной была Оля Заботкина. Внешность Аллы, вся сверкающая её натура сочетали в себе, казалось, несочетаемое: с одной стороны, тонкая одухотворённость, а с другой, — обольстительно нескрываемая сексуальность. И, тем не менее, в этой несочетаемости Алла была органичной и естественной.

В отличие от неё, Ольга покоряла своей удивительно чистой, ясной, безупречной красотой. В ней было что-то высокое, строгое, цельное. Именно такой она и покорила сердца кинозрителей в фильме «Два капитана». Но недаром говорят, что внешность обманчива. Узнав её ближе, я поняла, насколько сложным и противоречивым характером она обладала. Ум и сердце здесь были не в ладу. Несмотря на всё превосходство, которое Ольга имела над другими женщинами, несмотря на её гордость и довольство радостями жизни, которые она демонстрировала, мне почему-то по-человечески и по-женски было иногда её жалко. У меня складывалось ощущение, что она живёт какой-то не своей жизнью, что она создана для чего-то другого, и это другое она пытается мучительно отыскать, но не может.

Алла и Ольга, работая в одном театре, не были приятельницами. Более того, испытывая взаимное творческое уважение, они, однако, личностно не любили друг друга, так как были не просто разными, но прямо-таки противоположными людьми, и это проявлялось во всём.

Помню, как-то мы пригласили их обеих к себе домой на какое-то семейное торжество. За столом они сидели прямо друг против друга. Алла тогда впервые пришла к нам с Джоном. Юный, прекрасный, как Аполлон, он стеснялся и за весь вечер почти не проронил ни слова. Алла, напротив, вела себя весело и озорно, много смеялась, шутила, и они с Джоном испепеляли друг друга влюблёнными взглядами. Бесстрастно холодная, невероятно красивая в тот вечер, Ольга, которая, единственный раз на моей памяти чуть подкрасила глаза и распрямила свои прекрасные чёрные курчавые волосы, уложив их в строгий гладкий узел, посматривала на своих визави чуть брезгливо и осуждающе. Периодически они с Аллой перекидывались язвительно острыми шпильками.

Когда мы с Олей вышли на кухню покурить, я поинтересовалась у неё:

— Как тебе Джон?

— Презираю его — ответила она. — Ни одного умного слова от него не добьешься. Умеет только расшаркиваться и подавать пальто.

— Он очень красив, — заметила я.

— Алла слишком падка на красивых самцов. Посмотрим, чем это закончится.

После того как гости разошлись, я сказала Августу:

— А знаешь, их вместе приглашать нельзя. Они прямо-таки источают яд по отношению друг к другу.

Он согласился со мной, и с тех пор мы общались с Аллой и Ольгой порознь.

Если Аллой мой муж восхищался, то Ольгу глубоко уважал за трезвый, глубокий ум, требовательный художественный вкус, многогранность интересов. Привлекала его, безусловно, и её классическая красота. Несколько раз он запечатлел её в своих работах. Ольга тоже с уважением относилась к нему, и хотя в каких-то вещах они часто между собой не соглашались, мнение друг друга всегда уважали. Однажды она мне сказала:

— Я убеждалась много раз, что если Август что-либо оценивает высоко и отзывается с похвалой, то это действительно заслуживает внимания. Его оценкам и мнению я очень доверяю.

Глубоко уважительная суть их отношений выразилась в том, что до самого конца они обращались друг к другу на «вы». У меня же с Ольгой довольно быстро установились товарищеские отношения, но, несмотря на то, что мы тесно общались долгие годы, доверительными подругами не стали. И хотя я относилась к ней с восхищением, буквально считая её совершенством в человеческой породе, по внутреннему, душевному ощущению она оставалась мне чужой, наверное, потому, что сама я больше доверяла сердцу и интуиции, тогда как Ольга, при всей своей внешней эмоциональности, руководствовалась во всём расчётливым и здравым умом. Её холодный расчёт, бытовой прагматизм так не вязались с её чарующей женственностью, так часто, мне кажется, подводили её, что именно в этом, рационально-железном разуме и состояла, может быть, причина её жизненно неудачной судьбы.

О том, что судьба её не удалась, Оля говорила мне неоднократно, ещё будучи молодой, и я не возражала, хотя, если исходить из чисто внешних признаков, её можно было бы считать счастливым человеком, ей можно было завидовать. Она познала успех в балетном творчестве, являясь заслуженной артисткой РСФСР, и всесоюзную артистическую славу, снимаясь в кино. Она жила в материальном достатке и благополучии, не обременённая заботами о детях и близких. Она не испытала ни большого горя, ни тяжёлых потрясений. Трижды она была замужем, и мужчины любили её. И только под конец жизни пришли настоящие страдания, что само по себе неизбежно.

Все свои пути в жизни Ольга пыталась рассчитать и предусмотреть заранее, избегая ненужных осложнений. Она не совершила ни одного безрассудного поступка, и в этом, по-моему, заключалась её главная и большая ошибка, которая лишила её жизнь опьяняющего полёта и вдохновения.

В балет её отдала мама, Маргарита Михайловна, осуществив больше свою мечту, нежели желание дочери, и Ольга, в отличие от Аллы, относилась к этому искусству как к профессии и не более того. Она стала одной из ведущих балерин Кировского театра как характерная танцовщица, сделав карьеру, но не отдав безоглядно своё сердце искусству. Неожиданно режиссёр Венгеров пригласил её на главную роль в кинофильме «Два капитана», после чего последовала головокружительная слава — так понравилась она зрителям в роли героини очень популярного романа. Затем она снялась ещё в двух фильмах, стала всерьёз думать о судьбе артистки кино, но новых предложений не поступало, и скоро она поняла, что не может конкурировать с профессиональными актрисами, которые, кстати, её озвучивали, и это обстоятельство больно ранило самолюбие.

Там, где другие, как Алла, например, могли по зову души, велению сердца, если этого требовали их убеждения, поставить на карту всё, Оля рассудительно отступала. У меня сложилось впечатление, что, познав горечь поражения в искусстве после оглушительной славы, познав крах первой, большой любви к одному из самых известных киноактёров в стране, Ольга дала себе установку на линию жизни комфортную, без трепета и страстей. Прими подобное решение личность заурядная и безлика, можно было бы даже посчитать его мужественным и мудрым. Но эта женщина была наделена такими обещающими природными задатками, что, сознательно подрезав себе крылья, она лишила свою жизнь не только высокого смысла, но и женского счастья, «наступив на горло собственной песне».

Мы часто обсуждали насущные и злободневные общественные вопросы и проблемы. Её осторожная осмотрительность, конформизм почти всегда вызывали споры, особенно когда речь заходила об искусстве, в частности, о балете. Она входила в состав художественного совета театра и твёрдо придерживалась позиции, что Кировский театр — это особый заповедник высоких художественных традиций, сродни музею, и любые новации ему противопоказаны. Она осуждала политическое диссидентство, считая, что мы мало ценим то спокойное и относительно благополучное существование, которое обеспечивало нам брежневское правление. У нас с Августом мнения на этот счёт были совсем иными, но споры наши никогда не становились ожесточёнными или враждебными, потому что Ольга обладала не только удивительно благородным тактом и светской манерой ведения беседы, но и тонким, мягким юмором, и в результате разговоры наши затухали на самых мирных нотах.

Оля вообще отличалась особо изысканным аристократизмом, и это неудивительно, учитывая, что её дед, высокородный русский дворянин, был в своё время капитаном царской яхты. Старинный портрет этого благородно-привлекательного мужчины висел у неё дома. Она любила старинные красивые вещи и свою квартиру обставила великолепной антикварной мебелью. Безапелляционно считая, что интеллигентов в первом поколении не бывает, она оценивала людей с чисто петербургским снобизмом, но ни спеси, ни гонора себе никогда не позволяла, напротив, всегда старалась быть милой, простой и доброжелательной.

Август нас познакомил в первый же месяц моего пребывания в Ленинграде. Ольга была тогда одинока, но уже спустя полгода вышла замуж и пригласила нас на дачу в Сосново, которую снимала у писателя Германа и которую собиралась купить, но прежде хотела посоветоваться с Августом. Здесь мы и увидели её первого мужа Серёжу — скрипача оркестра Кировского театра. Мы провели у них выходные, а погуляв и осмотрев окрестности, отговорили Олю покупать этот уютный, красивый дом.

— Оля, что вы ищете, дом или природу? — спросил Август.

Она засмеялась.

— И то, и другое.

— Дом хорош. Что же касается природы, то, возможно, она когда-то здесь и была, но сейчас её надо искать в другом месте.

Позднее Оля купила дачу в Васкелово, с большим фруктовым садом, в тихом уединённом месте недалеко от озера, где мы часто бывали у неё в гостях.

Я с любопытством всматривалась в её мужа Серёжу, симпатичного, молодого, интеллигентного, и пришла к выводу, что они не пара. Да и особой любви между ними не было заметно. Оля всего в жизни добилась сама, несмотря на молодость, она обладала жизненным опытом, сильным характером, а Серёжа напоминал очень домашнего, избалованного ребёнка, хотя изо всех сил старался произвести впечатление настоящего мужчины, главы семьи. Выглядело это забавно, у Августа вызывало явно снисходительное отношение, и Оля это заметила и занервничала.

— Терпеть не могу, когда Август начинает что-то из себя изобрать, — слегка раздражённо сказала она, когда мы с ней на кухне мыли посуду.

После этого какое-то время мы не общались. Она позвонила и пришла к нам после того, как у неё случился выкидыш. Тогда впервые мы с ней были по-женски откровенны.

— Второй попытки завести ребёнка я делать не буду. Видимо, мне не суждено стать матерью, — с некоторой долей грусти сказала она.

— Не надо отчаиваться, — пыталась я успокоить её. — Это случается часто и у многих. У меня вот было уже два выкидыша. Врачи говорят, что с моим отрицательным резусом крови я рискую, и всё-таки буду снова пытаться. Дети — это ведь так прекрасно!

Она поморщилась.

— Я стала думать иначе. Пелёнки, уход, кормление, болезни. Нет, это не для меня. Кроме того, при моей профессии нельзя терять форму.

— Представляешь, каким красивым будет твой ребёнок, сколько ты ему можешь дать, чтобы из него вышел умный, прекрасно образованный, интересный человек, — продолжала уговаривать я её. — Если не будут рожать такие, как ты, человеческая порода оскудеет.

— Может быть, ты и права, но у меня вдруг возникло мистическое и непреодолимое ощущение, что я последний листок на ветке своей родословной. Не хочу больше новых испытаний. Нет, я твёрдо решила: без детей лучше.

Этот разговор я вспомнила спустя много лет во время нашей последней встречи, когда Оля в очередной раз приехала из Москвы в родной город навестить друзей. Она жаловалась на одиночество.

— Знаешь, москвичи — славные люди, и у меня там много друзей и знакомых, но мы общаемся только по телефону. У всех дети, внуки. Они требуют внимания. А у меня нет никого. Я только сейчас поняла, как это важно — о ком-то заботиться. Последнее время я стала подбирать бездомных собак, у меня их дома жило сразу несколько. Но сейчас стала себя неважно чувствовать, такую свору тяжело выгуливать. Пристроила их в приют и раз в неделю навещаю. Надеваю спецодежду, резиновые сапоги и мою, убираю клетки, миски, чищу подстилки. Считаю это важным делом, оно меня морально поддерживает, мобилизует как-то. Меня там все знают и любят. После смерти оставлю деньги на их содержание и уход за бездомными животными. Их невыносимо жалко...

Расцвет наших дружеских отношений с Ольгой пришёлся на тот период, когда она вышла второй раз замуж за Славу Самсонова. Помню, она позвонила и пригласила нас в гости. А когда Оля открыла нам дверь своей двухкомнатной квартиры на улице Ленина, нас ожидал сюрприз: рядом с ней с открытой приветливой улыбкой стоял высокий, статный, приятной наружности молодой человек в очках.

— Знакомьтесь, — сказала Оля. — Мой муж — Слава.

Нам с Августом он понравился с первой же встречи, а тесно общаясь на протяжении многих лет, мы искренне полюбили его за открытость и лёгкость характера, тонкость души и интеллигентность, человеческую доброту и сердечность. Он был моложе нас и моложе Ольги, но это совсем не ощущалось благодаря широте его кругозора, глубокому аналитическому складу ума, психологической проницательности и чувству собственного достоинства. Подкупали и его раскрепощённость, и чувство юмора, и умение отстаивать собственную точку зрения. Несмотря на то, что он был «технарём», кандидатом наук, искусство он любил и хорошо в нём разбирался.

Рядом с ним, особенно в первые годы, Оля оттаяла сердцем и успокоилась душой. Из умного, рассудительного и творчески авторитетного человека, «деятеля искусства», она превратилась в лучезарную, весёлую, даже озорную молодую женщину, полную светскости и обаяния. Они со Славой вели очень активный образ жизни, не пропуская ни одного стоящего спектакля, концерта, выставки, встречи, кинофильма. И очень часто «вытаскивали» и нас с собой. Иногда мы пытались сопротивляться, но, уступив их настойчивости, потом никогда не жалели — Ольга всегда знала, куда и на что следует пойти, к тому же, имела доступ на те мероприятия, куда попасть порой было невозможно.

У Славы было ещё одно удивительное качество: он никогда не испытывал, в отличие от Джона Марковского, комплекса неполноценности, появляясь в свете рядом со своей широко известной женой. Рассказывая, как однажды в Доме искусств на одном из мероприятий, собравшем большое количество зрителей, при входе толпа разъединила их с Олей и дежурный администратор, пропуская его, громко кричал: «Дорогу мужу Ольги Заботкиной!», Слава весело и от души смеялся.

Они часто бывали у нас дома, перезнакомившись с нашими друзьями, Френцами и Крестовскими, и приглашали нас к себе, вводя в круг общения Славы. В отличие от самого Славы, с его друзьями у нас отношения не очень складывались, и не столько оттого, что они были моложе, сколько потому, что наше с ними миропонимание и жизнеустройство были слишком разными. Они принадлежали к типу благополучных и самоуверенных молодых людей, истинных представителей «золотой молодёжи», за спинами которых маячат громкие и влиятельные имена родителей, обеспечивших им представительский уровень жизни. Так, пожалуй, самым близким другом Славы был Андрей Черкасов — сын народного артиста Николая Черкасова. Жена Андрея Варя, миловидная,

кокетливо обаятельная женщина, страдала, на мой взгляд, тщеславным снобизмом «лучших семейств». Сама она была из рода Ипатьевых, тех самых, в доме которых большевики расстреляли царскую семью.

Их компания напоминала мне «бомонд» у Жоры Песиса, с той лишь разницей, что была много мельче по калибру, потому что все блага, которые имели эти молодые люди и которые возвышали их в собственных глазах, достались им по наследству, тогда как наши знакомые заработали их своим трудом и способностями.

С недоумением я слушала сетования Вари на то, что «в наше время так трудно найти настоящую *бонну* для ребёнка».

— А если отдать в детский садик? — спросила я.

Она посмотрела на меня с деланным удивлением и воскликнула:

— Но это же неприлично!

У Сергея Довлатова есть замечательный, удивительно ёмкий и тонкий рассказ «Куртка Фернана Леже». Я прочитала его спустя много лет после знакомства с Андреем и Варей, являющимися персонажами этого рассказа (Варя в нём почему-то выступает под именем Даши), и с внутренним облегчением убедилась, что не ошибалась в своём мнении, найдя единомышленника в лице одного из самых любимых моих писателей.

Оля, которая всегда и на всё реагировала сразу и необыкновенно чутко, поинтересовалась нашим мнением о своих новых друзьях. Я высказалась откровенно:

— Они слишком легковесны, самоуверенно неуязвимы, и их, по-моему, мало что волнует в жизни, кроме собственного мнения и эгоистического, личного преуспеяния.

— По большому счёту ты, может быть, и права, — согласилась Оля, — но судишь уж слишком прямолинейно. Нельзя так серьёзно ко всему относиться. Они вообще-то очень милые и весёлые люди. Смотри на вещи проще! Может быть, вы с Августом просто не умеете радоваться жизни?

Вопрос об этих людях меня мало волновал, и о радостях жизни у меня были другие представления, но я почувствовала, что Оля лукавила, и для неё этот вопрос, вообще выбор среды общения, был важным. С одной стороны, в этой компании было весело и приятно проводить время, но, с другой стороны, Оля была слишком умным и содержательным человеком с широкими интеллектуальными интересами, с собственными оригинальными и глубокими суждениями, и поверхностно-развлекательное времяпрепровождение не могло удовлетворять её долгое время.

В отличие от Аллы, которая оставалась на сцене столько, сколько позволили ей возможности, Оля не собиралась задерживаться в театре после сорока лет — пенсионного возраста балерины.

— А чем займёшься? — интересовалась я.

— Пока не знаю, — уклонялась она от ответа. — Надо подумать.

Приближался новый этап её жизни, и она предалась новым размышлениям.

Я занималась генеральной уборкой квартиры, когда раздался звонок в дверь. На пороге стояла Оля.

— Извини, я без телефонного звонка. Что-то у меня сегодня плохое настроение. Катаюсь на машине бесцельно по городу, оказалась в вашем районе...

Разговор наш в этот день был одним из самых откровенных. Оля решила расстаться со Славой.

— Но почему? — удивилась я. — Ведь вы вроде так счастливы. Он настоящий, интересный мужчина и умный, очень симпатичный человек. Ты его разлюбила? Полюбила другого?

Она отрицательно покачала головой.

— Дело не в этом. Я старше его. Сейчас это не бросается в глаза, но со временем...

— Кто из нас может предугадать, что произойдёт со временем? У нас с Августом тоже большая разница в возрасте.

— Это не то. Август — сильный, зрелый человек, он твоя опора, рядом с ним ты чувствуешь себя женщиной. А я? Ты представляешь, Слава недавно назвал меня «мамочкой».

— Во многих семьях, и, как правило, очень прочных, супруги часто так обращаются друг к другу. Это ни о чём не говорит.

— Это говорит о многом, в том числе, и о плохом вкусе, — не согласилась Оля. — Но это, конечно, не главное. Последнее время он по воскресеньям стал убегать из дому.

— Ты что, подозреваешь его в чем-то? Ни за что не поверю, что он может тебе изменять! Он же тебя обожает.

— Разумеется, он мне не изменяет. Он просто заявляет: «Мамочка! Я сбегаю к ребятам. Мы договорились погонять в баскетбол, а то я что-то засиделся». И он, действительно, гоняет в мяч, но мне-то каково? Он как мальчишка, а я что — старая клуша?

Я растерянно молчала, не зная, что сказать, так как понимала обоих. Молодому мужчине нужны движение и спорт, а балерине они ни к чему, Оля и без того часто жаловалась на судороги в мышцах. Но разводиться из-за этого?

Как бы угадав мои мысли, Оля сказала:

— Конечно, это не серьёзная причина для развода. Сегодня. Но я хочу обезопасить себя в будущем. И вообще трёпка нервов мне ни к чему.

— Ты его любишь или нет? — прямо спросила я.

Она пожала плечами:

— Какое это имеет значение?

Вскоре, через полгода после этого разговора, Оля уехала одна отдыхать в Пицунду, познакомилась там с поэтом-пародистом Александром Ивановым из Москвы, который стал её третьим мужем.

Около двух лет они жили в Ленинграде, а потом перебрались в Москву. Пока была жива мама, Ольга несколько раз в году приезжала в Ленинград, да и лето они с Сашей проводили на даче в Васкелово, поэтому общались мы часто. Ну а затем, уже в середине девяностых, Ольга продала дачу, и в родном городе появлялась только во время Сашиных гастрольных концертов.

В своём третьем браке Оля поначалу казалась довольной и умиротворённой. В Москве она нашла, наконец, ту среду общения, которая удовлетворяла её личностные запросы. Но нашла ли она своё женское счастье? В этом у меня были большие сомнения.

Её новый муж Саша Иванов («Сан Саныч») был необыкновенно популярен в стране, а позднее и в русской эмигрантской среде Израиля и США, куда он стал ездить на гастроли в годы перестройки и ельцинского правления.

Мы с Августом всегда с большим удовольствием посещали его концерты и не упускали случая посмотреть по телевизору популярнейшую юмористическую программу «Вокруг смеха», которую он вёл. Как литературный пародист, он был ярок и безукоризнен: острый, язвительный ум, безупречный художественный языковой вкус, тонкий, ироничный артистизм на сцене и необыкновенное, природное чувство юмора. Но в повседневной жизни, в личном общении Саша не производил столь яркого впечатления: как будто всё свое остроумие, обаяние и элегантность он оставлял в гримёрной, вместе с эстрадным костюмом, и перед нами предстал довольно потёртый, не слишком образованный, недалёкий и даже занудный советский учитель черчения, которым он первоначально и был. От «Сан Саныча» оставались только несколько утрированная удлинённая и узость фигуры и лукавость выражения на некрасивом, но крайне характерном лице, которые могли бы, наверное, сослужить хорошую службу на поприще комического актёра. В разговорах и беседах он участвовал вяло,

говорил неинтересно, но больше отмалчивался, а иногда откровенно позёвывал и даже подрёмывал, и мы порой себя чувствовали неловко, но Оля или пренебрежительно не замечала его скучного вида, или извиняюще объясняла его поведение усталостью и нездоровьем: многие годы его мучила язва желудка.

Когда же в начале девяностых Иванов увлёкся политикой и начал общаться с сильными мира сего, в его поведении стали проскальзывать напыщенность и нарочитая многозначительность. В Васкелово в изголовье его кровати висела большая фотография, где он стоял рядом с Ельциным в кругу ближайших единомышленников президента. Видимо, под влиянием мужа Ольга, еще недавно защищавшая Брежнев и презрительно отзывавшаяся о диссидентах, стала тоже исповедовать правый радикализм. Не знаю, действительно ли глубокими были их новые общественные взгляды или они просто следовали интеллектуальной моде, но метаморфозы, которые с ними произошли, были разительными. В их кругу всё большее место занимали теперь анекдотические «новые русские» начала девяностых. Если раньше Саша всерьёз считал себя «чистильщиком» советской поэзии, борцом с пошлостью и бездарностью, то теперь он совершенно спокойно воспринимал все уродства постсоветской «массовой культуры» и уверял, что «рынок всё расставит по своим местам». В один из приездов Оли в Петербург, за чашкой чая, разговор зашёл о противостоянии Москвы и Петербурга, о положении дел в культуре и искусстве, которым мы стали возмущаться.

— Неужели вы не видите, чем всё это может кончиться? Народ превратится в быдло, — резко заявил Август.

Оля язвительно спросила:

— Август, вы стали коммунистом?

— Оля, вы сказали глупость, и сами это понимаете, — ответил Август. — Я говорю о том, что нельзя потворствовать агрессии пошлости, ссылаясь при этом на законы рыночной экономики. Экономика здесь вообще ни при чем, демократия тем более. Люди искусства должны формировать общественный вкус, должны называть вещи своими именами, должны воспитывать этих безграмотных «новых русских», а не угождать им, не идти на поводу у всего этого, — он пренебрежительно махнул рукой в сторону телевизора. — Вы же сами прекрасно знаете, что это плохо, бездарно, глупо...

Оля воинственно вскинула голову, собираясь сказать что-то резкое в ответ, но вдруг громко разрыдалась. Это было настолько неожиданно, настолько на неё непохоже, что мы растерялись и ки-

нулись её успокаивать. Железная Оля! Мы никогда не видели, чтобы слезинка даже блеснула в её глазах, но тут она плакала так горько и беспомощно!

Она быстро взяла себя в руки, и мы заговорили о чём-то другом.

Ещё в 1962 году, сделав портрет юной Ольги, Август символически поделил его на две части: темную и светлую. Она была очень сложным человеком, сотканным из серьёзных противоположностей.

* * *

С самого начала моего вхождения в ленинградскую жизнь мне пришлось преодолевать немало трудных моментов. Это было связано со многими обстоятельствами, в том числе, и с острым ощущением одиночества. Кроме Августа, у меня не было никого близкого и знакомого в этом городе. Мой организм реагировал на особенности ленинградского климата, часто вызывая плохое самочувствие. На меня свалились бытовые и хозяйственные заботы, которых раньше я не знала и которые в условиях мастерской перерастали в проблемы. Кроме того, я находилась в постоянном психологическом и нервном напряжении, самоутверждаясь и отстаивая себя в новом, не во всём понятном, непривычном и чужом жизненном мире своего мужа. Видела я также, как нелегко приходится Августу. Помимо того, что над ним навис Дамоклов меч исключения из Союза художников, у него работа стала валиться из рук. Прежние замыслы не получались, всё, что он делал, его не удовлетворяло. Он нервничал. А тут ещё выяснилось, что я забеременела.

Первые два месяца я чувствовала себя ужасно: реакция на запахи, пищу, резкие звуки. Всё это вызывало тошноту и рвоту. Август со мной замучился.

Моя первая беременность, которой я так радовалась, окончилась для меня трагически. Беременность была на пятом месяце, когда ночью у меня внезапно открылось кровотечение и начались сильные боли. Испугавшись, Август вызвал «Скорую помощь». Меня отвезли в какую-то больницу напротив Витебского вокзала. В огромной палате человек на двадцать в основном лежали какие-то вульгарные девицы после абортотв. Через день начались схватки. Я не могла удержаться от стонов.

— Да заткнись ты! Тоже нашлась тут неженка! — грубо кричали мне и соседки, и санитарки и ругались матом.

Наконец я выкинула плод. Санитарка, которую позвали, пришла с тазом, кинула в него моего ребёнка и сказала:

— Мальчик!

Я заплакала. Я так мечтала о мальчике, так его ждала...

Меня повели на чистку. Врач-гинеколог с опухшим от алкоголя лицом грубо вонзила в меня хирургическую ложку. От дикой боли я закричала. Тогда она, отшвырнув инструмент и скинув с меня простыню, грубо заорала:

— Как удовольствие получать, так не больно! Наковыряла себе, а теперь и потерпеть не можешь! Убирайся в палату и подыхай там от кровотечения!

В полубессознательном состоянии я еле доползла до кровати, рухнула на клеёнку, и тут у меня началась истерика. Одна из соседок, пожалев меня, спросила:

— У тебя из родных-то есть кто-нибудь? Может позвонить?

Я дала телефон. Август приехал через полчаса и разыскал меня. Я была в ужасном состоянии. Он пошел к врачам. Увидев его и узнав, что он мой муж, они растерялись, стали оправдываться, забегали и засуетились. Меня снова повели в операционную, дали успокоительное и ввели обезболивающее лекарство.

— Кто же мог знать, что у тебя такой муж, — заискивающе оправдывалась врачиха.

На другой день у меня поднялась высокая температура и опять начались сильные боли. Мне внесли инфекцию, и начался сильный воспалительный процесс. Август в панике стал обзванивать друзей. Гарик вспомнил, что у художника Севы Петрова-Маслакова отец — директор института Ота, а жена Лариса, врач-гинеколог, работает в Снегирёвке — самом известном родильном доме Ленинграда, который располагался почти напротив нашей мастерской. Она согласилась меня осмотреть и, благодаря её заботливому вниманию и лечению, я довольно быстро пошла на поправку.

Врачи больницы с облегчением спихнули меня с рук, взяв с Августа расписку, что он сам будет отвечать за последствия.

Так мне довелось впервые столкнуться с нашей советской медициной.

Летом этого же года я в последний раз приехала в Минск, чтобы закончить учёбу в университете, где после замужества числилась на заочном отделении. После сдачи госэкзаменов и защиты диплома «Бертольд Брехт на советской сцене» я покинула Минск навсегда. Через два года, обменяв квартиру, перебрались в Ленинград и мои родители, папа устроился руководителем инженерной группы в Ленгипроводхоз. И я снова почувствовала за собой их надёжный и любящий тыл.

Пока в Минске я сдавала экзамены и защищала диплом, Август готовил мне большой и радостный сюрприз. Ещё до женитьбы, взяв кредит в Союзе художников, он вступил в один из первых в Ленинграде жилищных кооперативов «Художник». К лету 1964 года дом № 21 на проспекте Космонавтов был готов к заселению. Этот типично «хрущёвский» пятиэтажный блочный дом тогда одиноко торчал среди пустырей и свалок. По тем временам двухкомнатная квартира-распашонка с крохотными прихожей и кухней была для нас счастьем.

На деньги, выделенные мне родителями в качестве приданого, в моё отсутствие Август купил польский мебельный гарнитур, удобно включавший в себя спальню, кабинет и гостиную.

Встретив меня на вокзале и поцеловав, он сказал:

— Теперь у нас есть свой дом.

И сразу повёз меня на новую квартиру. Распахнув дверь, он торжественно провозгласил:

— Ну, хозяйка, милости просим!

Я вошла и обомлела от восторга. Квартира была полностью обставлена.

Мы прожили в этом доме десять лет, и с ним связано много и радостных, и грустных воспоминаний. В основном дом населяли художники, поэтому некоторые хорошо знали друг друга, остальные быстро и легко перезнакомились, а многие подружились.

* * *

Чем больше я узнавала своего мужа, тем чаще открывала в нём всё новые и новые качества. Он предъявлял необыкновенно высокие требования к жизни и людям, но не менее высокие и к самому себе. В первую очередь это был эстет до кончика ногтей. Он любил и ценил в жизни всё только самое красивое. Но понятие красоты для него заключалось не только во внешнем проявлении, хотя, безусловно, и это присутствовало. Понятие красоты включало в себя красоту чувств, поступков и души, красоту ума и труда, красоту природы и красоту таланта, то есть всё то, что составляет красоту жизни. Каким-то совершенно непонятным образом он умел игнорировать все примитивное, заурядное и отстраняться от мелочно-бытового, а тем более низменного, пошлого и непорядочного. Я с удивлением обнаружила, с каким почтением и даже робостью относятся к нему многие окружающие, в частности, соседи по коммунальной квартире, в которой он с детства жил с родителями. Даже мои папа с мамой до конца жизни обращались к нему только на «вы».

Август был человеком, признающим только всё крупное и значительное — во всём. Остальное он отметал. Я долго сражалась с ним за то, чтобы он помогал мне в домашнем быту, а потом поняла всю бесполезность этих сражений. Он никогда не ходил по магазинам, не платил за квартиру и понятия не имел, сколько стоит буханка хлеба. Он был беспомощен в обслуживании самого себя и не знал, как постирать носки и погладить брюки, какую таблетку принять при недомогании. Но если речь шла о бытовых делах важных, серьёзных и долгосрочных — сделать ремонт в квартире или мастерской, купить и перестроить дом в деревне, посадить деревья, то он загорался энтузиазмом и делал всё основательно, прочно и красиво.

Через несколько лет нашей совместной жизни я полностью уверилась в том, что мой муж, если захочет, может и умеет всё, даже починить холодильник. У него была светлая голова и золотые руки.

А вот характер у него оказался сложным, тяжёлым и совсем не таким, каким он представлялся мне вначале. Одна, самая главная особенность его натуры делала порой нашу жизнь невыносимо трудной. Он не умел приспосабливаться к обстоятельствам, считаться с ними и идти на компромиссы, и тоже во всём: в работе, творчестве, быту, отношениях с людьми.

— Ты бьёшься головой об стену,— часто говорила я ему, а он отвечал:

— Я её пробью.

Иногда это ему удавалось, но чаще нет, поэтому с годами характер портился, часто бывали нервные срывы. Впрочем, бывали они и у меня — мы оба были эмоциональными холериками. Однажды, когда мы собрались за столом семьёй в полном составе и родители шутиливо обсуждали наш брак, свекровь сказала:

— Они прямо как брат с сестрой, будто из одной семьи.

И мама её поддержала:

— Вот уж точно: два сапога пара.

Действительно, наши помыслы, интересы, вкусы и увлечения совпадали во всём и при принятии любого важного решения мы были всегда единомышленны.

* * *

В 1964 году осенью мы с Августом случайно забрели на выставку служебных собак. С удовольствием и умилением разглядывали мно-

гообразных представителей разных пород собачьего мира. Внезапно я остановилась как вкопанная. Я увидела совершенно необыкновенную собаку, каких никогда до этого не встречала. Короткошёрстная, огромных размеров, тонкого палевого окраса, мощная, сильная, с крупной головой и умными глазами на красивой чистой морде.

— Август! Смотри, чудо какое! Что это за порода?

— Дог, — ответил он.

Мы подошли ближе и с нескрываемым восхищением смотрели на это удивительное существо. Рядом с ней стояла хозяйка — стройная, изящная женщина лет тридцати двух в тёплых мягких серых брюках и свитере ручной вязки. Её тонкие красивые черты лица отличались благородством.

— У вас прекрасная, необыкновенная собака, — заговорили мы с ней.

Она окинула нас быстрым внимательным взглядом и приветливо улыбнулась. Собака подошла к нам и случайно слегка задела меня туловищем — я чуть не упала. Вот это мощь! Мы рассмеялись. Она обнюхала нас и завиляла сильным длинным хвостом.

— Вы ей понравились, — отметила хозяйка. В её произношении я уловила лёгкие прибалтийские интонации.

Август похлопал собаку по крупу, а она прыгнула и, забросив передние лапы ему на плечи, лизнула в щеку.

Хозяйка удивленно повторила:

— Вы ей очень понравились.

Мы разговорились и познакомились. Её звали Ирэн, она приехала в Ленинград на выставку из Усть-Нарвы. Собаку звали Веста.

С детства я мечтала иметь собаку, но мама была категорически против.

— Это огромная ответственность, — говорила она. — А когда их теряешь, это слишком большое горе.

И вспоминала своего любимого кота Пушка, который был у неё в молодости и который заболел стригущим лишаём.

— Чего я только ни делала, чем только его ни мазала, а когда он умер, плакала и переживала, наверное, целый год. К ним привязываешься, как к детям. Я дала себе слово, что больше никогда не буду заводить животных. Вот когда будешь жить самостоятельно, заводи кого хочешь.

— А у вас уже были щенки? — спросила я Ирэн.

— Ещё нет. Весте два года. Я как раз сейчас подыскиваю ей жениха.

Мы разговаривали долго. С темы собачьей перескочили на лошадей, и я с удивлением узнала, что Август, оказывается, занимался конным спортом и великолепно в этом разбирается. Напоследок мы оставили Ирэн свой адрес с просьбой иметь нас в виду, когда у Весты появятся щенки.

— Я вам обязательно напишу, — заверила она нас. — Своих щенков я отдам только в хорошие руки. Доги — особые собаки, не каждый хозяин им подходит, но мы с Вестой думаем, что вы подходите.

Только через полтора года мы получили от Ирэн письмо:

«Многоуважаемая семья Ланины! Вот я и бабушка. Родилось всего пять щенят, четыре мальчика и одна девочка. Первым родился серебристо-серый с чёрными пятнами, белой грудью и белыми лапками, вес 850 граммов. Второй чёрный с белой звездой на груди, вес 780 граммов... Я очень довольна, щенят мало, но зато они как львы... Теперь решайте, какого возьмёте. Вчера была у меня в гостях моя хорошая знакомая (дочь поэта Игоря Северянина, Валерия Игоревна Семёнова), она о стандартах дога ничего не знает, но умеет вместо кричащего выбрать пастельный цвет, вот она говорит, что серебристый лучше всех и всё им любовалась. Ваш выбор первый, и теперь жду от вас письма, какого вам щенка, чёрного или серебристо-пятнистого? Хорошо, если вы и имя подберёте, тогда закажу сразу родословную».

Мы выбрали серого в чёрных пятнах и дали ему имя Вард. А в январе на машине поехали за ним в Усть-Нарву. Так началась наша дружба с Ирэн.

Нарва-Йиэсуу — небольшое рыболовецкое и дачное местечко, расположенное на побережье Нарвского залива. В качестве места для летнего отдыха в те годы его облюбовала ленинградская интеллигенция.

Ирэн уединённо жила на краю посёлка у самого залива. Её дом производил впечатление: большой современный двухэтажный кирпичный коттедж с подземным гаражом. Он одиноко возвышался среди густых деревьев. Но когда мы вошли в него, обнаружилось, что он недостроен. Были только пол, двери и кирпичные стены. Дом не отапливался, лишь на кухне была дровяная плита, и зимой кухня оставалась единственным жилым помещением. Тут и ютилась Ирэн с собаками.

Она встретила нас очень гостеприимно и с гордостью продемонстрировала щенков. Они были неуклюжими, мосластыми и неуверенно передвигались на огромных лапах. Вардик сразу покорила нас необыкновенно красивым окрасом и большими умными глазами.

Так как у нас это была первая в жизни собака, Ирэн тщательно инструктировала меня по её уходу, кормлению и воспитанию. Я поняла, что это целая наука.

— Будет лучше всего, если вы поживёте летом у меня в гостях, — сказала Ирэн. — Собакам здесь раздолье, да и людям хорошо.

Усть-Нарва мне очень понравилась, она напоминала Рижское взморье, Дзинтари, каким оно было сразу после войны, когда мы с родителями впервые туда приехали, и я с удовольствием приняла предложение Ирэн. Август тоже не возражал. Мы провели в Усть-Нарве несколько дачных сезонов, завели там много новых друзей и приятных знакомств, но среди всех усть-нарвских воспоминаний самыми сильными и яркими являются общение с Ирэн и «собачья жизнь» среди четвероногих.

Кроме Весты, у Ирэн было ещё два роскошных сибирских кота: чёрный Коко и дымчатый Шах. Забирая Вардика, мы оставили у Ирэн на время своего котишку Пиню, которого год назад привезли из Заонежья. И эта поездка в Заонежье требует отдельного рассказа.

* * *

Как и многие его знакомые, Август был охотником и рыболовом, но к тому же заядлым путешественником. Охотиться большой компанией он не любил, а его страсть к длительным поездкам в незнакомые места разделяли немногие. Поэтому с ружьём и этюдником он путешествовал в одиночку. Теперь нас стало двое.

Август любил северную деревянную архитектуру, о которой я не имела ни малейшего представления, и поэтому нашу первую совместную охотничью поездку мы решили совершить в Заонежье, где тогда ещё в большом количестве сохранилось много старинных изб, церквей и часовен. А кроме того, там были прекрасные леса и красивейшие озёра.

— Обязательно заедем на остров Кизи — уникальное, заповедное место, — обещал Август.

Еще до нашего знакомства он купил «Победу» — удобную, прочную и просторную машину, с более высокой проходимостью, чем у престижной «Волги», и к тому же простую и доступную в своём механическом устройстве. На ней мы много и славно попутешествовали по трудным и малопроезжим глухим дорогам, а если в пути случались неполадки, Август их устранял сам. Еще раньше он обзавелся первым советским скоростным катером, на котором тоже когда-то немало

путешествовал в одиночку по рекам Ладожского бассейна и Волго-Балтийской водной системы, но потом перевез катер на дачу своих родителей в Мичуринское, где он мог служить только для прогулок по большому замкнутому озеру.

Все шестидесятые и в первую половину семидесятых, пока у нас не появилась своя изба в деревне, мы ездили много и активно: в Прибалтику, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области, исколесили всю Ленинградскую, оставляя сына отдыхать с моими родителями на их новой даче в Белоострове. Но нашу первую поездку я помню в мельчайших деталях. Этой поездкой мы отметили годовщину нашей свадьбы, и для меня она была самой яркой и сильной по новизне впечатлений и открытий.

Первого сентября мы выехали в Мурманском направлении. Сразу за Кировском у Невы асфальтовое шоссе кончалось, и дальше тянулась широкая песчаная дорога, по которой ехали в основном грузовые машины. Жёлтая пыль стояла столбом. Песок был глубоким и вязким, машины часто буксовали, но наша «Победа» резво двигалась вперёд. У Лодейного Поля на пароме мы переправились через Свирь и для начала поехали по узкой и трудно проезжей дороге вдоль Ладоги к границе с Финляндией с намерением ознакомиться с настоящей Карелией, а также побывать в городе Сортавала, о своеобразной красоте которого нам кто-то рассказывал.

В чистом, симпатичном, почти сплошь деревянном Олонце мы зашли в большой хозяйственный магазин, чтобы купить ватники и брезентовые плащи, и меня поразили многочисленные оригинальные изделия народных промыслов из дерева и кожи, а также огромные многообразные, плетёные корзины для разных хозяйственных нужд. Они были практичны и красивы особой, лаконично-функциональной выразительностью.

Не доехав до Питкяранты, мы остановились на ночёвку на берегу Ладожского озера, широко и безгранично раскинувшегося своими суровыми каменистыми берегами с огромными сизыми, гладкими валунами, поросшими серебристым и розоватым мхом. На одном из таких больших плоских валунов, выступающих в воду, мы разожгли костёр и поужинали, с восхищением любуясь водным простором и заходящим северным солнцем.

В Сортавалу нас не пустили пограничники, и тогда мы взяли курс на Петрозаводск, пересекая глухой лесной массив между Ладогой и Онегой по лесным каменистым и болотистым дорогам, проложенным лесовозами, руководствуясь подсказками местных

жителей, редкие хутора которых прятались среди густых елей и неожиданно возникали вблизи от дорог. Поначалу карелы показались нам хмурыми, замкнутыми и суровыми людьми. Но вот в одном из лесхозов, которые, как правило, отличаются обилием снующей, тархтящей техники и малопривлекательным, растерзанным внешним видом, мы решили зайти в столовую. Она располагалась в бревенчатом срубе, и мы, не ожидая ничего хорошего, поднялись по невысоким ступенькам. Однако были приятно удивлены. В уютном, чистом помещении столы накрыты белоснежными скатертями, официантка в белой наколке и белом передничке, приветливо поздоровавшись, с гостеприимной улыбкой ловко и быстро стала нас обслуживать. Она принесла нам до краев наполненные тарелки с первым блюдом, в котором плавали большие куски мяса, а ложка буквально стояла в густых и наваристых, ароматных щах. На второе нам подали сочные домашние котлеты с молодым картофелем, посыпанным укропом, а затем мы с удовольствием выпили вкусный свежесваренный чай со свежееиспечёнными булочками. Заплатив буквально копейки за этот роскошный обед, мы вышли совершенно очарованные и очень довольные.

Благополучно добравшись до Петрозаводска, мы оставили машину около гостиницы и отправились катером по Онеге на остров Киж. Кроме нас, других пассажиров на катере не было. Стоял тихий, солнечный день. По сравнению с суровой, холодной красотой Ладоги Онежское озеро казалось умиротворённым и ласковым. Из застывшей зеркальной воды то тут то там вырастали вдруг небольшие весёлые округлые острова, зеленея шапками лесистых покрытий. В них было что-то из детства, родное, сказочное, душевно-тёплое и радостное.

— Смотри туда, — показал мне рукой Август.

Над гладью озера, паря в дрожащем воздухе, появился стройный, красивый силуэт храма. Как волшебный, фантастический миф, он, казалось, царственно повис в небе.

Измучённая, с глупой непосредственностью я воскликнула:

— А где земля? На чём же он стоит?

И тут увидела узкую, длинную полосу плоского, голого острова. Это и были Киж — пустынный остров, производящий впечатление необитаемого, со стареньким деревянным причалом и двумя-тремя крестьянскими дворами. Тогда архитектурный ансамбль Кижского погоста включал в себя всего две великолепных по своей красоте церкви, стоящую между ними колокольню и ветряную мельницу. Все остальные памятники северного деревянного зодчества, которые

теперь украшают этот музей-заповедник, посещаемый многочисленными туристами, были свезены сюда позднее.

Мы провели здесь целый день, наслаждаясь красотой храмов и одиночеством. Август был прекрасным гидом. Впервые он побывал на Кижях еще в 1948 году, студентом Академии. Тогда это название было известно лишь историкам архитектуры, ни о каких туристах никто и не слышал: кроме местных, на острове отшельником жил лишь известный впоследствии исследователь и пропагандист русского деревянного зодчества Ополонников. В пятидесятые годы Август не раз приезжал на Кижь, причем не только писать этюды, но и охотиться на диких уток, которых там было множество. Но и в середине шестидесятых Кижь все еще сохраняли свой подлинный облик. Взяв лодку у местных жителей, мы объехали маленькие прилегающие острова: Волкостров, Воробей-остров, Подъельники, на которых сохранились старинные местные часовни. Почему-то именно эти маленькие деревянные часовенки, чуть покосившиеся от старости, с подгнившими крылечками и прохудившимися крышами, трогательно припрятанные густыми елями, сквозь которые они таинственно мерцали серебром своего старого дерева, особенно тронули моё сердце.

Кижь как будто осветили и придали особый смысл нашему дальнейшему путешествию, конечным пунктом которого мы обозначили Великую Губу на одной из северных оконечностей Онежского озера. На протяжении всей поездки, уклоняясь то вправо, то влево от основной дороги, мы обнаруживали ещё сохранившиеся старинные деревянные сооружения. Это были и большие северные многоэтажные избы, и ветряные мельницы, и церкви, и множество особенно полюбившихся мне часовен. Каждая из них имела свой неповторимый облик, очаровывала своим индивидуальным архитектурным своеобразием, но всех их объединяло одно: они непостижимо одухотворяли своим пребыванием окружающее их место, создавали удивительное, очищающе-возвышенное настроение, а своей камерной интимностью проникали в самые сокровенные уголки души. И все они несли на себе трагический отпечаток тления и разрушения.

— Через несколько лет от них не останется и следа, наши дети уже ничего этого не увидят, — с грустью констатировал Август. — А ты представляешь, как прекрасна была эта земля!

И мы, проезжая мимо, с грустью окидывали взглядом заброшенные земли, захиревшие и полуразрушенные деревни, заколоченные дома, в которых когда-то кипела красивая и достойная жизнь.

* * *

Устав от ночевки в машине и готовки на костре, мы решили найти подходящую деревеньку для отдыха где-нибудь на берегу озера и рядом с лесом, чтобы можно было поохотиться и порыбачить, пособирать грибы и бруснику, попить парного молока.

Увидев ответвление от основной дороги со стрелкой-указателем «Батово», мы наугад свернули на него и, проехав около километра, увидели перед собой большое озеро. Тут же, при дороге, прямо на берегу, стоял высокий, большой, трехэтажный, старинный северный дом. Он был жилой. В окне первого этажа белело чье-то лицо.

Мы остановились, вышли из машины и подошли к избе. Подперев рукой голову, повязанную платком по-деревенски, до самых бровей, у окна сидела немолодая женщина и со спокойным равнодушием смотрела на нас. У нее было строгое, иконописное лицо.

Мы громко поздоровались. Она молча чуть кивнула.

— Хозяйка, пустите на постой? — спросил Август.

Какое-то время она невозмутимо разглядывала нас, а потом сдержанно и с достоинством так же молча опять кивнула.

«Строгая какая!» — подумалось мне.

Распахнув тяжелую массивную дверь, женщина, статная и рослая, вышла на низкое, широкое крыльцо.

— Проходите! — спокойно пригласила она.

Мы вошли в сени и огляделись. Сени были большими, просторными, привлекали внимание чистотой и порядком. Деревенская утварь — бочонки, кадки и кадушки, корзины, горшки, березовые веники — расставлены и развешаны аккуратно и со вкусом. Темные бревна, мощные доски отливали патиной времени. Направо дверь вела в жилые комнаты, а налево широкая полукруглая лестница с красивыми перилами шла на второй этаж.

— В светелке будете жить, — сказала хозяйка и направилась по лестнице вверх, мы послушно и молча поднимались за ней по чуть поскрипывающим, отполированным временем, деревянным ступеням, которые блестели, будто натертые воском.

Лестница выводила на втором этаже сначала на широкую галерею, а потом на просторную светлую площадку — настоящий холл с большим окном от пола. И здесь, как и внизу, нас поразила красота многочисленных и разнообразных, прекрасно сохранившихся и бережно, с удивительным художественным чутьем развешанных по стенам экспонатов (иначе не назовешь) старинного русского дере-

венского быта: хомуты и упряжь, расписные прялки, плетеные туески и еще какие-то неведомые мне предметы и приспособления, без которых когда-то не обходилась жизнь крестьянина.

Мы с Августом переглянулись: похоже, что попали в редкостный дом. И уж окончательно были покорены, когда вслед за хозяйкой вошли в «светелку» — большую, около 50 квадратных метров, комнату с шестью окнами и высоким потолком. Но поразили нас не только размеры помещения, его светлость и просторность. Все стены и простенки между окнами были увешаны иконами в красивых дорогих окладах и рамах под стеклом. Изразцовая печь с декоративным кобальтовым рисунком в одном углу. Большой, красивый, старинный кованый сундук — в другом и темная резная деревянная мебель: стол, стулья, диван, две кровати. («Деревенский ампир. Настоящий», — объяснил мне Август позднее).

Мы не смогли удержаться и стали бурно выражать свое восхищение увиденным. Лицо хозяйки потеплело, глаза засветились приветливостью.

— Ну что ж, давайте познакомимся, — сказала она и протянула Августу крупную, с длинной натруженной тяжелой кистью руку.

— Август, — произнес он, уважительно пожав ее.

— А по батюшке?

— Васильевич.

Она скупой улыбнулась:

— А я Настасья Васильевна. Так что по батюшке мы тезки. А тебя как звать-величать? — обратилась она ко мне по-свойски, видимо, из-за возраста.

— Наташа, — ответила я, чувствуя некоторую робость перед этой строгой и величавой женщиной.

— Издалеча приехали-то? — поинтересовалась она.

— Из Ленинграда.

Она одобрительно кивнула.

— Муж с женой будете али как? — продолжала интересоваться она, переводя взгляд с меня на Августа.

— Супруги мы, — ответил Август.

Она опять одобрительно кивнула.

— Может, байну сладить? С дороги-то хорошо будет.

Я не поняла. Что еще за байна?

— Хочешь в бане помыться? — спросил Август.

Я радостно кивнула.

— Сейчас сделаю. А вы располагайтесь пока. Мешать никто не будет. Одна я живу, — с этими словами хозяйка покинула нас.

— Ничего себе — светёлка! Да это настоящие хоромы! — воскликнула я с восторгом, когда мы остались одни.

— Между прочим, мы находимся в первой половине дома, а с другой стороны еще одна, такая же. Большой домина!

— Эта семья, наверное, была очень богатой, как ты думаешь? И почему их не раскулачили?

— Трудно сказать, — ответил Август. — В Заонежье был особый уклад, не было крепостного права, земледелием, по-моему, тоже не занимались. Лес, промыслы, торговля. Хозяйства основательные, зажиточные. Когда-то здесь была очень красивая, добротная жизнь со своей северной культурой и с крепкими самобытными традициями. Теперь все порушено, заброшено, загажено... Просто удивительно, как в этом доме все сохранилось! А хозяйка — необыкновенная женщина! Ты обратила внимание, сколько в ней человеческого достоинства?

— Конечно. Она внушает мне робость. Уж и не знаю, как с ней разговаривать. Я ведь деревенскую жизнь не знаю совсем и с деревенскими не общалась. Они какие-то не такие, как мы...

— Веди себя естественно, и все будет в порядке.

Из окон светелки открывался прекрасный вид на озеро. Оно было огромным, заворачивало вправо и уходило в бесконечность. На далеком противоположном берегу высился лес, а посередине разбросались небольшие острова. На берегу Анастасия Васильевна хлопотала у бани, таскала дрова и воду. Август отправился ей помогать, а я стала перетаскивать вещи из машины.

Через некоторое время Анастасия Васильевна позвала нас в баню. Я не только раньше никогда не мылась в деревенской бане, но вообще плохо представляла себе, что это такое, поэтому, раздевшись в предбаннике и опередив Августа, с острым любопытством шустро нырнула в ее сумрак. Но тут же в панике выскочила обратно.

— Ты что? — удивился Август.

— Там такой жар! — испуганно сказала я.

Он засмеялся.

— На то она и русская баня. Пошли, дитя города, смелее!

Надо прямо сказать, что удовольствия от бани я не получила никакого. А когда Август спросил: «Ну что, подпустим парку?» и я по незнанию согласилась, и он плеснул черпачком воды на раскаленные камни, мне показалось, что паром я сожгла и дыхательное горло, и пищевод. Из бани Август меня буквально выволакивал. Я еле взобралась по лестнице и, добравшись до светелки, рухнула в полном изнеможении на кровать деревенского ампира.

Снизу раздался голос хозяйки:

— Чай-то пить будете? Самовар поспел.

Мы спустились вниз. Там располагались кухня с большой русской печкой и две небольшие комнаты. Первая представляла из себя что-то вроде горницы или столовой. Здесь стояли круглый обеденный стол со стульями, буфет с посудой, комод с большим зеркалом. На невысокой этажерке красовался патефон. Пол застелен домотканными ковриками. В красном углу висела большая икона — богоматерь с младенцем.

Стол был накрыт. Его украшал большой сверкающий медный самовар и блюдо с горкой блинов. Рядом в глиняных мисочках растопленное золотистое масло, сметана, творог и кувшин, полный молока. В сахарнице лежал кусковой колотый сахар со щипчиками. Вместо чашек — стаканы в подстаканниках.

В Петрозаводске мы с Августом основательно запаслись продуктами в дорогу, зная, что в сельских магазинах, кроме хлеба, подсолнечного масла, рыбных консервов и спичек, вряд ли сумеем купить что-нибудь еще из продуктов. Я тут же выложила на стол копченую колбасу, сыр, помидоры, шоколадные конфеты и, конечно же, поставила бутылку водки.

Анастасия Васильевна достала маленькие граненые стаканчики. Мы чокнулись.

— За знакомство!

Таких вкусных блинов, как у Анастасии Васильевны, я никогда и нигде больше не ела. Тоненькие, почти прозрачные, они просто таяли во рту. Горка уменьшалась на глазах.

Август пытался одернуть меня:

— Живот не заболит?

— Так вкусно! Не могу удержаться, — призналась я.

Анастасия Васильевна наблюдала за тем, как я поглощаю ее блины, с удовольствием. Сама она ела мало, как-то особенно деликатно и по-деревенски аккуратно.

Разговор за столом становился все более оживленным. Анастасия Васильевна раскраснелась, помолодела лицом, но по-прежнему была сдержанна в проявлении своих чувств. Всем своим обликом, манерами, интонациями разговора эта простая крестьянка внушала необъяснимое почтение, а когда мы узнали ее ближе, то прониклись глубоким уважением и преданной любовью.

Анастасия Васильевна жила одиноко, занимая половину этого огромного дома, вторая половина пустовала и была заколочена. У нее

было два брата, один жил в Петрозаводске, другой — в Медвежьегорске. Чувствовалось, что она их очень любит.

— Навешают меня часто, не забывают, и племянники гостят летом. Поддерживают деньгами, — рассказывала она. — Этот дом еще дед с отцом строили, по старым образцам. Все мы тут родились и выросли. Вот я его и сохраняю.

Когда позже, уже подружившись, я спросила ее, почему она, такая видная, интересная женщина, так и не вышла замуж, Анастасия Васильевна пренебрежительно махнула рукой и ответила:

— А за кого выходить-то было? Мелкота одна! Это разве мужики?

Живя одна, Анастасия Васильевна, единственная в деревне, держала корову, делала для себя творог, сметану, взбивала масло, а излишки молока раздавала немногочисленным соседям. Братья купили ей лодочный мотор, и на большом тяжёлом баркасе она в одиночку выходила на озеро, ставила сети. Выловленную рыбу солила на зиму. Она сама пилила, колола дрова и чинила все в доме.

Деревня Батово вымирала. Больше половины домов были заколочены, в остальных жили или дряхлые больные старики, или алкоголики. И только Анастасия Васильевна имела настоящее крепкое хозяйство и прекрасный, чистый, ухоженный дом.

— У вас не дом, а настоящий музей, — заметил как-то ей Август.

— Вы ещё не все видели, — сказала Анастасия Васильевна и повела нас на третий этаж.

Если все, что мы видели раньше, представляло собой настоящую музейную экспозицию из лучших отобранных вещей, то обилие предметов старинной деревенской жизни в этом помещении можно было сравнить с музейным запасником. Чего тут только не было! Медные самовары с многочисленными медалями, глиняная посуда разного назначения, старинные игрушки, хомуты, вальки, резные и расписные прялки и веретена, мелкая берестяная утварь, щипцы для углей, старинные фонари и керосиновые лампы, замки и ключи, чугунные утюги разных размеров — все в идеальном порядке, все разложено, расставлено, развешано. И много почерневших и поврежденных временем икон и металлических складней. У нас разбежались глаза. Август с интересом брал в руки то один предмет, то другой, угадывал его назначение, внимательно рассматривал, восторгаясь фактурой материала, красотой формы и уникальной сохранностью.

А в следующей комнате стояли, как новые, настоящие, большие расписные сани. Мы ахнули — так хороши они были. Тут же находились два больших ткацких станка.

— Зимой на них делаю станины, — объяснила Анастасия Васильевна.

Станинами она называла тканые ковровые дорожки на пол и на стены.

— Анастасия Васильевна, а знаете ли вы, что ваш дом — это настоящий клад, полный драгоценных сокровищ? — спросил ее Август.

— Как это? — она посмотрела на него с недоумением.

— Вы не догадываетесь, что все эти вещи, особенно иконы, имеют свою материальную стоимость? Вы очень богатая женщина. За границей вы стали бы миллионеркой.

Анастасия Васильевна слушала внимательно, но недоверчиво.

— С чего же это я вдруг богатая, не могу взять в толк, — с удивлением спросила она.

— Ну, если все это продать, то можно получить очень большие деньги.

— Зачем же продавать? — возмутилась Анастасия Васильевна. — Разве можно продавать иконы? Это большой грех. У нас так не принято. Да и все остальное тоже. Это же память, сделано руками человеческими — потому и храню бережно. В музей бы отдала, а продавать никак нельзя. А деньги мне и не нужны. У меня все есть, слава Богу. И холодильник, и телевизор.

— Ну а машина? Хотели бы иметь свой автомобиль? Ездили бы к братьям в гости, сами за рулем, а? — продолжал искушать ее Август.

Она как-то неловко засмеялась, прикрыв рот рукой, потом смущенно сказала:

— Шутник вы, Август Васильевич!

— В каждой шутке есть доля правды, ну а если серьезно, Анастасия Васильевна, то очень советую вам посторонних приезжих в дом не пускать и иконы никому чужому не показывать. Сейчас развелось много охотников до русской старины, особенно иконы берегите, ограбить могут.

Эти слова были для Анастасии Васильевны полным откровением. Она никак не могла и не хотела верить, что ее иконы стоят больших денег.

— Почему же это так, Наташа? Объясни ты мне. Я всю ночь сегодня ворочалась, все заснуть не могла.

— Анастасия Васильевна, это не просто иконы, а произведения искусства, очень древние и самобытные. Русские иконы считаются лучшими в мире и очень высоко ценятся, особенно за рубежом. У нас торговля ими запрещена, вы их сами продать не сумеете. Этим

занимаются особые люди, нечистоплотные дельцы, которые имеют связи или с коллекционерами, или торговцами за границей. Настоящую цену эти люди вам не дадут, обманут. Думаю, что когда-нибудь и у нас разрешат торговлю иконами. Ваши иконы очень старинные, редкие, не позднее 17 века, а есть и гораздо более ранние — Август в этом разбирается. Поэтому они особенно дорогие. У них оклады серебряные, ризы украшены жемчугом. Берегите и храните их до лучших времен, — толковывала я ей.

Она слушала очень внимательно и с удивлением качала головой.

— У нас в деревне по избам-то много было старых икон. Кто выбросил, кто на чердак закинул. Старики умирают, а молодые в Бога не верят.

Я рассказала об этом Августу.

— Давай пройдемся по избам, поспрашиваем. Может быть, нам отдадут старые ненужные иконы. Сам говоришь, что это художественная ценность. Зачем же им погибать?

Мы пошли по деревне и вернулись с несколькими почерневшими досками. Так мы увлеклись собирательством икон. Но это отдельная тема, к которой я ещё вернусь.

У Анастасии Васильевны мы прожили десять дней. Места кругом были просто замечательные: величественно красивые и изобильные. В лесах мы собирали отборные белые грибы, плавали на лодке по озерам — здесь их была целая система; высаживались на каменистые острова, покрытые сплошным брусничным ковром. Август охотился, и мы возвращались, увешанные гирляндами убитых уток. С Анастасией Васильевной мы их общипывали, а потом жарили и тушили в сметане в горшочках в русской печи — это было объеденье.

Мы с Августом стали подумывать: а не купить ли нам тут избу? Конечно, далековато и добираться тяжело, зато какая природа... Отказались мы от этой мысли по одной причине: Анастасия Васильевна сказала нам, что даже летом в озерах нельзя купаться, вода очень холодная и никогда не прогревается, а мы себе лето без плавания и купания не представляли.

Неприступная и суровая с виду, Анастасия Васильевна оказалась очень добрым, сердечным человеком с возвышенно благородной душой. Она прониклась уважением к Августу и теплым чувством ко мне, и мы жили с ней душа в душу.

Как-то она раздумчиво сказала мне:

— Таких, как вы, у нас тут никогда не бывало. Вот вы настоящие горожане, люди культурные, это по всему видно. А наши деревен-

ские, те, что живут в городе, а сюда в гости приезжают, только пыль в глаза пускают. Разрядятся, как индюки, и воображают, что они городские, а по-настоящему-то, как были деревенскими, так ими и остались, только хуже стали. Отчие дома, землю родную побросали и живут кукушками. Тьфу их!

— А вы когда-нибудь бывали в городе?

— Нет. Ни разу никуда не выбиралась. Темная я. Даже грамоте не обучена.

— Как?! — изумилась я.

— А вот так. Ни читать, ни писать не умею. Только закорючку вместо подписи могу поставить.

— Так вы что же и в школе не учились?

— Нет. А когда? Хозяйство родительское большое, да и школы близко не было. Вот братья — те учились, а я все по дому помогала.

— Анастасия Васильевна, приезжайте к нам в Ленинград, поживете с месяц, мы с вами по городу погуляем, в музеи сходим, там вы и иконы посмотрите.

Она отмахнулась.

— Куда мне! А на кого корову Варьку оставлю да кошку Маньку?

Кошка Манька недавно родила котят, и они, еще совсем маленькие, все время путались под ногами. Одного из них, черненького, я случайно придавила тяжелой дверью, и он стал волочить лапку.

— Утопить придется! — вздохнула Анастасия Васильевна, глядя на него с сожалением.

— Да что вы, Анастасия Васильевна! — испугалась я. — Не надо.

— А на что он такой сдался?

— Мы его с собой возьмем, — тут же решила я.

Так появился у нас кот Пинька, которого мы привезли из Батова в старом медном чайнике, выделенном для этой цели Анастасией Васильевной.

Он оказался не простым котярой. Лапка у него быстро зажила. Под черной шерстью замерцал густой, плотный белый подшерсток — признак какой-то особо редкой финской породы котов, как объяснил нам кто-то из кошатников. Но главное — он отличался необыкновенным умом и не боялся воды. Два раза в день я выпускала его гулять на улицу, а потом с балкона звала домой. Он неся на зов, задрав хвост, порой издалека, прямо к двери подъезда, а если она была закрыта, терпеливо ждал, пока я спущусь с четвертого этажа и впущу его. Иногда по вечерам мы с Августом прогуливались по проспекту Космонавтов. Пиню Август сажал себе

на плечо, и тот всю прогулку неподвижно, как сокол, восседал на нем, гордо озирая окрестности. Он прекрасно понимал не только человеческую речь, но и язык жестов, и мимику лица.

Накануне нашего отъезда Анастасия Васильевна снова повела нас на третий этаж в свои «запасники» и там, сделав широкий жест рукой, сказала:

— Берите себе в подарок, что нравится и сколько хотите, чего ж по другим дворам побираться.

Мы с благодарностью выбрали три иконы и самовар.

Я переписывалась с этой прекрасной женщиной несколько лет, до самой её смерти, к Новому году всегда посылая ей посылку с деликатесами, главными из которых для нее были индийский чай «со слониками» и «сливочное полено» из восточных сластей. Меня до слез трогали ее поздравительные открытки, кем-то написанные правильным детским почерком, в конце которых корявыми буквами было нацарапано: «Ваша Наська Колобова».

Мы еще не раз навещали Анастасию Васильевну и встречались почти по-родственному.

* * *

Воспользовавшись приглашением Ирэн, мы снова приехали с уже полугодовалым Вардом в Усть-Нарву и провели там все лето. Это был один из самых радостных и беззаботных летних отдыхов в нашей жизни, полный новых впечатлений и приятных знакомств.

Дом Ирэн располагался на самой окраине поселка у погран-заставы. Поблизости было всего несколько домов, дачников мало, поэтому этот уголок Усть-Нарвы был тихим и интимным, пляж почти пустынным, и мы жили привольно и вольготно в компании трех котов и трех собак (Ирэн взяла к себе на лето еще сестру Вардика — Вегу, хозяин которой жил в соседнем городке Силамяэ и изредка навещал нас).

Под опытным руководством Ирэн мы с наслаждением погрузились в изучение жизни собачьего мира. Среди всех своих собратьев доги — наиболее редкие и удивительные создания. Обладая необыкновенной мощью и неустрашимым нравом настоящего бойца, они наделены в то же время тонкой интуицией и деликатностью, а в любви — не просто собачьей преданностью, но истинно рыцарским благородством. Внутренний мир дога богат, сложен, полон собственного достоинства и не всем доступен. Это истинные аристократы и мыс-

лители, и человеку есть чему у них поучиться. К сожалению, в нашей жизни их век недолговечен, они слишком требовательны к условиям содержания и ухода.

У Ирэн было много немецких журналов по собаководству, и она часто их перечитывала и во всем ими руководствовалась, считая, что немцы — лучшие кинологи.

Мы занимались дрессировкой и воспитанием собак, гоняли их за собой на велосипедах по пляжу («Им необходимо наращивать и укреплять мышцы, иначе они не выдержат собственного веса, и лапы разойдутся иксом», — предупреждала Ирэн). В прогулках по лесу заставляли Варда и Вегу тянуть нас на поводках («Необходимо развивать шею и грудную клетку») или просто гуляли с ними, собирая при этом ягоды и грибы. И всюду за нами на расстоянии, ныряя и прячась в кустах и зарослях, следовали три кота: родовитые, роскошные Коко и Шах и плебей из Заонежья Пинька.

— Странно, — удивлялась Ирэн, — простой, но самый умный, совсем как собака.

И тут же объясняла:

— Это, наверное, потому, что сказывается происхождение хозяев.

Ирэн большое значение придавала происхождению, и нам казалось это чудачеством. К ней часто на машинах приезжали гости из Ленинграда и Таллина, все они были дожатниками, с которыми Ирэн познакомилась на выставках или через клуб собаководов.

— О-о! — говорила она, к примеру, про своих гостей. — Он настоящих голубых кровей из... (далее следовала какая-нибудь громкая фамилия), а она из простых, но собак тоже очень любит, даже ест с ними из одной тарелки.

Или:

— Они из очень хорошей семьи, дворяне, не очень породистые, конечно, но вполне приличные, интеллигентные люди.

Нам она вскоре после приезда уверенно и удовлетворенно заявила:

— Вы люди хорошего происхождения, это сразу видно. Август — настоящий аристократ, да и вы, Наташа, не из простых.

Мы про себя только хмыкнули, нас подобные вопросы никогда не волновали, но решили ее не разочаровывать.

Ирэн долгое время была для нас загадкой. Она прекрасно владела русским языком, но также и немецким, и эстонским. Ее фамилия была Тялли, и мы считали ее эстонкой. Но вот однажды на пляже какие-то эстонцы, видя, как мы в сопровождении собак идем купаться, презрительно кинули нам вслед:

— Развели тут псарню, русские свиньи!

Ирэн вскинулась, как будто ее ошпарили. Взяв Весту за ошейник, она развернулась, подошла к ним и по-эстонски что-то гневно, резко и внушительно сказала. Они испуганно смотрели на собаку и растерянно на Ирэн, а потом собрали вещи и покинули пляж.

Вернувшись к нам, Ирэн возмущенно сказала:

— Что они о себе возомнили, эти эстонские хуторяне? У них никогда не было ни достоинства, ни культуры. Да что они из себя представляют по сравнению с русскими?! Русские — это великая нация, а они — жалкие батраки! Перед моими родителями спину боялись разогнуть, а теперь воображают себя европейцами.

Кто же такая эта женщина? — думали мы, но расспрашивать считали неудобным. Она интриговала нас чем дальше, тем больше, и не просто интриговала, а прямо-таки привязывала к себе наши сердца.

Ирэн была не только очень привлекательна внешне, изысканно благородна и утонченна в манерах и поведении, порядочна, щедра и отзывчива, но и обладала неизъяснимым обаянием. В ней было что-то такое, чего не было ни в ком из тех людей, которых я знала. Иногда она, как бы дурачась, «хулиганила» с языком и отпускала всякие словечки, которые, как ни странно, звучали в ее устах как-то органично и естественно. «Заварим чифирчик», «наведем марафет» и другие подобные выражения удивительным образом добавляли ей оригинальности и шарма.

Так как дом Ирэн был недостроен и не отапливался, она зимой жила в Нарве, где у ее матери была однокомнатная квартира, но работала в Усть-Нарве радисткой в рыболовецком совхозе и ездила на работу на автобусе. Здесь ее все знали, и видно было, что она пользуется любовью и уважением. Со всеми Ирэн держалась ровно и приветливо, но слегка отчужденно.

— У меня здесь только двое друзей, — как-то призналась Ирэн, — пастор и Валерия Игоревна Северянина. Мы держимся вместе, у нас судьба одинаковая. Надо вас познакомить. Это очень приятные люди, и им можно доверять.

Валерия Игоревна Северянина (Семенова) была в те годы уже немолодой женщиной. Она очень походила внешне на своего отца поэта — такая же крупная голова, удлиненное лицо и копна темных с сединой курчавых волос. Это была некрасивая, но очень породистая женщина, серьезная, немногословная и замкнутая. Она работала в рыболовецком совхозе бухгалтером, жила в деревянном доме с соседями, занимая небольшую, бедно обставленную комнату с малень-

кой кухней. Ирэн говорила, что ее очень любят и ценят на работе, но в жизни она очень несчастный и одинокий человек.

Валерия Игоревна любила поэзию и прекрасно в ней разбиралась. Иногда, выпив за столом и раскрепостившись, она прокуреным, очень низким голосом начинала выразительно декламировать. «Идут белые снеги...» — медленно, тихо и напевно, почти басом начинала она читать Евтушенко, которого очень ценила. В отличие от Ирэн, она много читала, интересовалась театром и кино и знала имена известных в те годы деятелей искусства, расспрашивала о последних новинках в литературе и событиях в театральной жизни. Ирэн же поразила нас тем, что однажды призналась:

— Я книг не читаю и в кино не хожу. Последняя артистка, которую я помню, это Марика Рокк, а все, что снимают сегодня, мне неинтересно. Я лучше с собакой по лесу погуляю, чем читать и смотреть всякую ерунду.

В Усть-Нарве постоянно снимали дачу Коля Ломакин с женой Валей и приятели Августа семья архитекторов Тевьян. С ними мы встречались часто, но приобрели и много новых знакомых, общение с которыми поддерживали впоследствии долгие годы. И в первую очередь это два милейших семейства врачей из Ленинграда — Сергей Сергеевич и Вера Васильевна Быстровы и Эльмир Петрович и Вера Рувимовна Александровы. Они с юности были близкими друзьями и вместе уже много лет подряд снимали здесь дачу по соседству с Ирэн. А познакомились мы на пляже. Стояла жара, но у меня вдруг разразился сильнейший насморк. Я сидела в тени ивовых кустов, не купалась и отчаянно чихала. Вера Рувимовна, красивая черноглазая женщина, под села ко мне и участливо сказала:

— Вы напрасно не купаетесь. Не бойтесь этого насморка.

— Ну как же? — возразила я. — Такая сильная простуда, и где только я умудрилась ее подхватить?

— Это не простуда, говорю вам как врач. Это аллергия. Купите в аптеке супрастин, и все пройдет.

Я послушалась ее совета и скоро вновь начала наслаждаться жизнью. С этого времени мы и подружились.

Сергей Сергеевич Быстров, самый солидный из них, оказался главным судебным экспертом города, а также занимал тогда должность ректора Педиатрического института. Его жена, Вера Васильевна и Эльмир Петрович Александров были патологоанатомами, все они развлекали нас ужастиками и анекдотами, связанными со своими профессиями. Вера Рувимовна была специалистом по инфекци-

онным заболеваниям, и ее в тот год чрезвычайно беспокоила вспышка холеры на юге страны, поэтому она постоянно давала нам советы по гигиене и санитарии. Александровы и Быстровы были чрезвычайно квалифицированными, опытными и прекрасно осведомленными врачами, в чем мы сумели не раз убедиться впоследствии, обращаясь к ним за медицинской помощью и советами. Но главное, это были очень интеллигентные, очаровательные, веселые и добросердечные в общении люди. Несмотря на то, что они были старше не только меня, но и Августа, в них было столько молодого задора, активной пытливости и жизненной активности, что мы совсем не ощущали разницы в возрасте, и проявлялось это лишь в том, что мы обращались к ним по отчеству, а они к нам только по именам. В обоих семействах подрастали прелестные дочки-ровесницы.

Сергей Сергеевич, интересный, красивый человек, относился к редкому, а потому особенно ценному роду мужчин, которые всегда берут ответственность на себя и на которых можно опереться и всегда положиться. Этот человек ценил благородные традиции и не любил все пустопорожнее и поверхностно новомодное. Он буквально влюбился в нашего Варда, и позднее они с Верой Васильевной тоже завели дога. Вера Васильевна отличалась особым мудрым всепониманием. У нее были такие ласковые глаза, такой тихий спокойный голос и такие добрые руки, что она умела гасить и успокаивать, наверное, любой душевный пожар и смятение.

Такой же добротой и заботливой человеческой участливостью отличались и Александровы. Мне пришлось неоднократно в тяжелых жизненных ситуациях прибегать к их помощи, и она всегда была чуткой, безотказной и действенной.

Среди постоянных усть-наровских дачников, с которыми Ирэн широко общалась, близкой её подругой стала москвичка Галя Герасимова. Ирэн нас познакомила, и мы подружились. Галя, как яркая личность, безусловно, заслуживала внимания. Красивая блондинка с длинными, тяжёлыми, прямыми, отливающими ярким золотом распущенными волосами, высокой, стройной фигурой и тонкими, правильными чертами лица, она все годы, сколько я её помню, ходила только в чёрном, чаще всего в брюках и свободных блузах или свитерах. Имея столь эффектную, привлекающую внимание внешность, она не уделяла ей никакого внимания, обладала поистине мужским, решительным характером, который сознательно подчёркивала своими манерами и грубоватым голосом, отпугивая любых ухажёров и строя свои отношения с мужчинами исключительно на равных това-

ришеских отношениях. У неё была прелестная маленькая дочка Васса, которую она держала в ежовых рукавицах, но которую безумно любила. Каждый день, несмотря на погоду, она приводила Вассу на берег моря и властно отправляла в воду. Сколько раз мы наблюдали такую картину. Холод, дождь, ветер. Замёрзшая Галя, закутавшись в большой теплый чёрный платок, с полотенцем в руках, поглядывая на часы, жмётся и топчется на берегу, а среди серых волн, где-то за третьей отмелью, мелькает светлая головка Вассы. Наконец Галя призывно машет полотенцем, и девочка весело выбегает из воды.

Как-то мы с ней вдвоём гуляли по лесу, внезапно Галя остановилась у маленькой полянки и стала говорить:

— Вот здесь я спасала Вассу. Знаешь, когда я её родила, врачи заявили: у вашей дочки болезнь Дауна. Можешь представить себе моё состояние? Но я ведь не из таких, чтобы разнюниться и руки опустить. Медицина ничем мне помочь не могла, я напрягла мозги и решила для себя: или моя дочь умрёт, или будет нормальным, здоровым человеком. Приехала с ней сюда, сняла комнату. Ей было два месяца. Начало марта, кругом снег лежит, но солнце яркое, уже греет. Вот каждый день на эту поляну приходила, расстилала поверх еловых веток ватное одеяло, раздевала Васку догола и оставляла на солнце часа на три. Она выжила. И, как видишь, нормальна, не семи пядей во лбу, конечно, но и не идиотка. А характер замечательный — добрая, ласковая, покладистая. Кандидат наук, как её мамочка, из неё не получится, а спортсменку я из неё сделаю. Мужа я тогда сразу бросила, он, говнюк, не хотел её из родильного дома брать.

На другой день я внимательно присмотрелась к Вассе. Что-то дауновское, может быть, и могло померещиться в её мелких, правильных чертах лица, но я этого не обнаружила. Она была красивым, просто очаровательным ребёнком. Я сказала Гале:

— Слушай, врачи наверняка ошиблись. Ведь такое бывает.

Она пожала плечами:

— Всё может быть. Но я не имею права рисковать.

Прошло много лет. Неожиданно нам позвонила Галя.

— Братцы, я здесь, в Питере. Хочу вас повидать.

Она ничуть не изменилась, хотя ей уже было под пятьдесят.

— Я, ребята, в Питер приехала поднабрать денег. Может, и вы поможете. Задумала грандиозную аферу. У меня теперь есть муж. Он художник, из этих — «подпольных». На мой взгляд, очень талантлив, но, как вы сами понимаете, перспектив здесь никаких. Васса — молодчина, она сейчас входит в сборную страны по синхронному плава-

нию. Скоро с командой уезжает на соревнования в Испанию. Так вот я ей сказала: «Васса, оттуда не смей возвращаться, попроси убежища. А следом к родной дочке на воссоединение и мы приедем. Так как мы не евреи, а кондовые русские, другой возможности покинуть эту Богом проклятую страну у нас не будет». Ну, как вам мой план?

— Тебе виднее, — пожал плечами Август, а я спросила:

— И что ответила тебе Васса?

— А что может ответить молодая женщина, которую тренеры накачивают допингами? Я, конечно же, не из-за проблем муженька рвусь удрать отсюда подальше. Но ты же знаешь, Наташка, Васса для меня всё. Я не хочу видеть, как гробят мою дочь. Я сама сделала из неё спортсменку и теперь должна нести за это ответственность. Господи, до чего же в гнусном государстве мы живём!

Эта была наша последняя встреча с Галей Герасимовой, больше она не появлялась на нашем горизонте, и мы ничего не знаем о её дальнейшей судьбе.

* * *

Восьмого августа у Августа был день рождения, и мы с Ирэн решили по этому поводу устроить большое застолье.

В процессе наших с ней приготовлений я обнаружила в Ирэн новые качества. О том, что она обладает тонким эстетическим вкусом, мы с Августом догадались еще раньше. Так, она умела составлять исключительно красивые букеты, причём, из самых разных цветов, подбирая и сочетая их по цвету, размеру и количеству таким образом, что они становились в буквальном смысле слова произведениями искусства. Иногда она незаметно, когда нас не было дома, ставила нам такие букеты в нашей комнате. Это было очень трогательно и приятно и вызывало у нас восторг и признательность.

Оказалось, что Ирэн умела также удивительно вкусно готовить. И при этом оформляла еду очень красиво и изобретательно. С работы она принесла рыбу. Из салаки приготовила необыкновенные вкусные шпроты, а миногу искусно замариновала, и всё это красивым узором разложила на тарелках. Сама на рынке купила свиной окорок и запекла его, радуя глаз золотистой корочкой и дразня обоняние острым, пряным запахом. Из помидоров, фаршированных яиц и зелени она соорудила на блюде целую живописную композицию, шуточно назвав её «Мухоморы в траве». А про многообразие оригинальных салатов и их витиеватое оформление уж и не говорю.

Я выразила ей своё восхищение. Она небрежно ответила:

— Наташа, я получила прекрасное воспитание, в том числе, и по ведению домашнего хозяйства. Хочу и вам сделать комплимент. Я ещё ни у кого не ела таких вкусных вегетарианских супов, как у вас. Между прочим, по вкусу приготовленной пищи можно легко определить происхождение человека. Тонкий изысканный вкус еды говорит об аристократизме натуры.

«Спасибо маме за супы», — усмехнулась я про себя.

На первом этаже, в самой большой комнате с окном во всю стену от пола до потолка, которую Ирэн называла «каминной», собираясь со временем сделать здесь гостиную с камином, мы накрыли большой длинный стол, который составили из нескольких небольших, собрав их со всех комнат. Стульев на всех гостей в доме не набралось. Ирэн притащила из гаража две длинные доски, и Август соорудил лавки, а посуду пришлось позаимствовать у соседей — семьи профессора Иванова из Ленинграда, чья дочка Ксана стала нашей приятельницей.

Когда всё было накрыто, Ирэн сказала мне:

— Пошли за цветами. Самые красивые цветы на даче замминистра. Возьмите с собой на всякий случай кошелек. Эстонцы любят деньги.

Мы отправились за цветами. Роскошный цветник окружал не менее роскошную дачу. Разговаривая с женой замминистра по-эстонски, Ирэн, расхаживая по цветнику, тщательно отбирала цветы, а хозяйка послушно их срезала. Я, молча, стояла в стороне.

— Наташа, — с ироническим смехом сказала Ирэн, — с вас двадцать пять рублей.

Я протянула министерше тридцать. Та развела руками — у неё не было сдачи. Я махнула рукой, мы поблагодарили хозяйку и направились домой.

— И это госпожа министерша! — с презрением заметила Ирэн. — За копейку удавятся. Как были быдлом, так им и остались.

Этот день рождения Августа был одним из самых приятных и запоминавшихся. Народу было много: Ломакины, Тевьяны, Быстровы, Александровы, Валерия Игоревна, соседка Ксана Иванова с мужем Лёвой, Галя Герасимова, мы с Ирэн и её гость из Таллина, белокурый и голубоглазый, широкоплечий красавец-гигант, эстонец Георг («Возможно, мой будущий муж», — шепнула мне тайком Ирэн). Гости быстро перезнакомились, и мы великолепно провели этот вечер, надолго проникнувшись взаимной симпатией и интересом друг к другу. Тогда же решили на нескольких машинах совершить совместное небольшое турне по Эстонии с посещением женского монасты-

ря, что и осуществили через несколько дней, получив от этой поездки самые приятные впечатления.

А чуть позже к Ирэн из Нарвы приехала на несколько дней её мать. Увидев её, мы были озадачены. Высокая, представительная, с остатками былой красоты на лице, она была одета в длинное белое платье, а её прямые седые волосы свободно распущены ниже плеч. У неё был угасший, монотонный, невыразительный голос и пустые глаза. Как Офелия, привидением она бродила неприкаянно по дому и участку. Она всё понимала, и с ней можно было общаться, но рассудок её был повреждён, и порой она походила на маленького, потерявшегося и беспомощного ребёнка. Мы с Августом тактично сделали вид, что не замечаем её странностей, и Ирэн с явным облегчением могла удостовериться, что её мать мы воспринимаем как человека достойного и полноценного, отдавая дань уважения и её возрасту, и семейному статусу. Вскоре и она, и Георг, человек очень застенчивый и малоразговорчивый, нас покинули. По делам в Ленинград на несколько дней уехал и Август. Мы остались с Ирэн вдвоём.

Как-то, сидя вечером за «чифирчиком», мы по-женски откровенничали, и Ирэн мне вдруг сказала:

— Хотите, Наташа, я расскажу вам о себе? Я никому чужому о себе не говорю, но вам я доверяю, и иногда так хочется кому-то излить душу. Я очень сильный, но очень несчастный человек. Про меня всё только Валерия Игоревна знает. Мы с ней как сёстры, обе одиноки и никому не нужны, кроме своих собак. Теперь вот у меня Георг появился, ему я тоже всё о себе рассказала, но он странный какой-то, вижу, что любит меня и жалеет, а предложения руки и сердца не делает, даже не поцеловал ни разу. Никак я его не пойму. Он, конечно, из простых, но человек хороший, а мне мужчина очень нужен. Тяжело одной, и дом закончить надо. Я всё мечтаю, как доведу строительство до конца. Это будет чудесный дом, красивый и уютный, у меня всё продумано, только денег вот нет.

— Может быть, Георг женат? — осторожно задала я вопрос.

— Нет! Это точно. Он так же одинок, как и я. Что-то его гложет, что-то в нём не то, а что — не могу понять. Ну, Бог с ним, разберёмся.

(Забегая вперёд, скажу, что у Георга была своя личная трагедия, которую он, страдая, держал в тайне, — импотенция от перенесённого в детстве заболевания. Любя Ирэн, он долго не мог ей в этом признаться, а когда признался, они решили расстаться. Об этом она написала мне в письме).

Мы проговорили с Ирэн всю ночь, выкурили несколько пачек сигарет и выпили не один чайник. А когда взошло солнце, она сказала устало:

— Ну вот, вы и выслушали мою исповедь. Теперь знаете обо мне всё. Мне пора на работу. Сейчас покормим собак, и вы ложитесь отдыхать. Замучила я вас.

Но мне было не до сна. Я была потрясена историей жизни этой женщины. Историей, достойной не одного трагического романа.

— Я, Наташа, из очень древнего рода баронов фон Шеффельберг, — так начала свой рассказ Ирэн. (За точность фамилии не ручаюсь — Н.Л.) Это очень старинный и богатый немецкий род. У меня много родственников в Европе, но ни с кем из них я, конечно, не общаюсь. Мой дед был очень богат, имел замок в Германии, земли, леса и поместья в Польше и здесь в Эстонии. У них с бабушкой было две дочери: моя мама и её младшая сестра, она сейчас живёт в Швейцарии.

В 1919 году вся семья отдыхала здесь, они очень любили эти места. И вот к деду пришёл молодой и красивый русский офицер Вольдемар Алмазов. В гражданскую войну он воевал на стороне белых против большевиков и эмигрировал сюда в Эстонию. Он просил у деда какую-нибудь работу. Деду этот русский понравился, и он взял его к себе лесничим. Алмазов был дворянином из Петербурга, очень хорошо образован, после революции потерял всё своё состояние и оказался нищим. Он очень любил лошадей, был прекрасным наездником и часто сопровождал мою маму в конных прогулках по нашему парку. В результате они полюбили друг друга и поженились наперекор воле родителей. Это был настоящий семейный скандал, дед был в ярости от этого мезальянса. Моя мама была ведь не только очень красивой девушкой — это даже и сейчас видно, правда? — но и очень богатой и могла выбрать себе любого мужа среди лучших семейств Германии. Но характер у неё был — ой-ё-ёй! — очень решительный. Сейчас этого не скажешь, да? В конце концов дедушка простил их и выделил маме в приданое поместье в Польше. Так что я наполовину русская, и моя девичья фамилия Алмазова. А вы думали, что я эстонка? Тялли — это фамилия моего мужа. Мы развелись год назад, но я ещё не поменяла паспорт. О своём эстонском муженьке я вам расскажу потом.

Ну, так вот. Мои родители были очень счастливы в браке и очень любили меня и мою старшую сестру. Она сейчас живёт в ФРГ, и вот только теперь разыскала меня и мы стали переписываться. Но об этом после. Только в детстве я и была счастлива, и когда вспоминаю об этом времени — такая тоска охватывает, плакать хочется. Но плакать я давно разучилась...

Когда началась война, мне было шесть лет. Всё наше семейство презирало Гитлера, в глазах моих родных он был плебеем и выскочкой, а когда Гитлер напал на Советский Союз, мой отец его просто возненавидел, он всегда считал себя русским патриотом.

Всю войну мы прожили в Польше в своём имении. Фашисты нас не трогали, и мой отец никогда с ними не сотрудничал и не имел ничего общего, хотя на какое-то время одна из частей вермахта расположилась на нашей территории. Моя сестра влюбилась в одного из офицеров и вышла за него замуж. А когда русская армия стала наступать и пришла в Польшу, ухала с ним на Запад, так как боялась преследования НКВД. Они с мужем уговаривали уехать с ними и моих родителей, но папа заявил, что ему нечего бояться русских, он ни в чём не замешан и перед бывшей родиной ни в чем не виноват. Он ведь даже помогал польскому сопротивлению. И мама с папой, наивные люди! остались и радовались приходу освободителей.

Как только советские войска заняли Польшу, в имение сразу пришли чекисты и арестовали отца, а нам с мамой велели собрать вещи и отправили в Советский Союз куда-то под Москву. Таких, как мы, был полный состав — все из бывших эмигрантов.

Отца вскоре расстреляли как предателя и врага народа. Когда маме об этом сообщили, у неё что-то случилось с головой, и хотя разум она не потеряла, но превратилась в большого ребёнка. Ей сказали, что нас трогать не будут, но свободно передвигаться по стране нам не разрешается, и мама должна определиться с местом жительства. В больших городах нам жить запрещалось. Тогда мама назвала Нарву. Здесь неподалёку было когда-то наше поместье, здесь жили люди, которые её помнили и знали, и она надеялась на помощь и поддержку.

Постепенно мама начала приходить в себя, и хотя жили мы безрадостно, но надеялись, что наши мучения кончатся. Мама устроилась работать в столовую, а я училась в эстонской школе. Я знала: в институт меня не возьмут, но была старательной и способной ученицей, хотела поступить в техникум. У меня появился в школе дружок, старше на два года. Мне было шестнадцать лет, а ему восемнадцать, и когда он окончил десятый класс, пригласил меня с собой на вечеринку к своим одноклассникам. Один из них, сильно выпивший придурак, провозгласил тост: «За свободную Эстонию!» На другой день нас всех арестовали. Мне припаяли десять лет. За одну ночь мама стала седая.

Ну скажите, Наташа, как такое может быть? Я училась в восьмом классе, ещё не успела получить паспорт. О политике мы с мамой даже думать боялись, да эта проклятая политика меня никогда не ин-

тересовала, а уж эстонские дела меня и вовсе не волновали. Я оказалась в этой компании совершенно случайно и ни с кем, кроме своего кавалера, и знакома не была. За что такое наказание? Какую опасность я могла собой представлять? Какое преступление совершила? В чем моя вина?

Ну, а дальше было ещё страшнее. Сначала я попала в пересыльную тюрьму где-то под Рязанью, кажется, а может, под Иваново — уже не помню. Начальник тюрьмы оказался мерзким подонком, положил на меня глаз, а я была очень хорошенькой. Он несколько раз вызывал меня к себе в кабинет, делал гнусные предложения, приставал ко мне, говорил:

— Подумай, дура. Не упускай своего счастья. Станешь моей — оставлю при себе, будешь как сыр в масле кататься. А не согласишься — на лесоповал отправлю, и сдохнешь там раньше времени. Мужики не все выдерживают, куда уж тебе — этакой барышне-белоручке. Из господ, небось?

И матом, и матом.

Последний раз я не выдержала, размахнулась и влепила ему пощёчину. А потом кричать начала и звать на помощь, еле вырвалась от него.

И отправили меня в Сибирь, на лесоповал.

Я, Наташа, очень сильная. Вас могу одной рукой поднять. Вот встаньте.

Я встала. Ирэн как-то ловко одной рукой обхватила меня за талию, перевернула и подняла. Подержав некоторое время на весу, она аккуратно поставила меня на пол, а увидев моё ошарашенное лицо, рассмеялась:

— Вот так, Наташа! И здоровая я. Как оттуда вернулась, ни разу ничем не болела, только почти все зубы потеряла — это у меня мосты такие красивые. А вот сердце иногда ноет, но это уже другое.

О жизни на зоне Ирэн рассказывала в малейших подробностях и деталях, и я слушала её, цепenea от ужаса, возмущения и сострадания. Одно дело — читать об этом у Солженицына, и совсем другое — слышать живое свидетельство глаза в глаза от хорошо знакомого и ставшего близким тебе человека. К сожалению, многие детали её горькой повести я уже не помню.

— Вот построят нас утром в шеренгу, сверят по списку и зачитают «молитву». Каждое её слово на всю жизнь впечаталось в память. «...шаг влево, шаг вправо — конвой стреляет без предупреждения».

А потом идём колонной несколько километров по тайге до разработок. Зимой мороз пробирает до костей. Идём, стучим зубами от холода, трясёмся. Работаем целый день как ломовые лошади. Уж и мороза не чувствуем — мокрые насквозь от пота, пар от нас идёт. А вечером опять построят, «молитву» прочитают и гонят, как скот, обратно в

лагерь. Пока идёшь, мокрая одежда вся коркой льда покрывается. Еле ноги передвигаем и звеним ледяной коростой и сосульками: дзинь-дзинь! — вот такое у нас было музыкальное сопровождение.

Многие не выдерживали, хотели с собой покончить, только это не удавалось, а наказывали за такие попытки очень строго. Часто шмон устраивали, обыскивали, чтобы ничего для жизни опасного не припрятавали. Чтобы на больничную койку попасть, такой способ был: ниткой между зубов потереть, потереть, а потом этот налёт с нитки в ранку или царапину. Начиналось сильное гнойное воспаление с высокой температурой. Вот тогда и «отдыхали в санатории».

Люди были там разные и по происхождению, и по национальности, а вот из врагов настоящих только одну шпионку встретила, это уже было в другом лагере, на Дальнем Востоке. Красивая такая, держалась обособленно и долго себя за иностранку выдавала. А как-то, помню, к ней пристала одна из наших, начала оскорблять, а та на неё презрительно посмотрела и говорит: «Закрой хлебало, щами воняет!» Мы все так и покатались со смеху.

В 56-м году осуждённых несовершеннолетними освобождали первыми. Вернулась я домой в Нарву. Мама, слава Богу, жива. Добрые люди ей помогали, одну в беде не оставили. Пошла я работать на электростанцию. Тут меня приметил Тяли. Он работал там тогда простым инженером, а сейчас стал «шишкой» — главным инженером Нарвской ГРЭС, в высшее общество Нарвы пробился. Видели бы вы их — полное ничтожество! Мы поженились. Я его полюбила, хоть он был из простых крестьян, но видный мужчина, интересный. Я ему поверила, думала, вот смелый, порядочный человек, не побоялся жениться на такой, как я. Сначала всё неплохо шло. Мы даже начали этот дом строить. Я квартиры не люблю, считаю, что человек должен иметь свой дом на земле. И тут я забеременела. Он испугался, говорит, нам нельзя детей иметь. А если тебя снова арестуют? Что я тогда с ребёнком делать буду? А мне очень хотелось иметь детей. Но он настоял на своём. Аборты недавно разрешили, а тогда они были запрещены. Он нашёл на хуторе какую-то бабку, она так меня расковыряла, что я чуть не умерла. Еле спасли в больнице, но сказали: детей вы иметь не будете. Жалкий трус! Благородный мужчина никогда бы по отношению к любимой женщине так не поступил. И знаете, Наташа, он стал вдруг мне физически отвратителен, и я ничего с собой поделать не могла. И его речь грубая, и манеры плохие — всё меня стало раздражать. Когда я потребовала развода, он опять испугался. Это, видите ли, может помешать его карьере! А я ему сказала: «Мне плевать на твою карьеру, ты трус и лишил меня

материнства». Тут мне предложили купить щенка, и у меня появилась Веста. Я с ней возилась, нянчилась, и мне стало легче. Она заменила мне ребёнка. Но Тялли терпеть не мог собак (чего ждать от примитивного человека?). Он стал Весту бить и шпынять. Тогда я перебралась с ней жить сюда, в этот недостроенный дом. В общем, история эта тянулась долго, много нервов мне потрепала, но теперь я, наконец, свободная, независимая женщина и хозяйка этого дома. Правда, легче жить мне не стало. Иногда зимой, когда дачников нет, сидишь тут с Вестой одна в холоде и выть от тоски хочется.

— А ваша сестра в Германии? Как она живёт? — спросила я.

— У неё умер муж, и она тоже одинока, но обеспечена хорошо. Зовёт меня к себе, а сама сюда приехать боится.

— Так, может быть, вам есть смысл поехать к ней? Если не навсегда, то хотя бы в гости?

— Мне очень этого хочется, но я боюсь. Стоит только мне подать заявление, и меня могут снова арестовать.

— За что?! Теперь совсем другие времена. Очень многие родственники сейчас воссоединяются, а уж в гости друг к другу ездят все желающие. Я знаю много примеров.

— Нет, — покачала головой Ирэн. — Вам меня не понять. Вы даже представить не можете, с каким постоянным страхом в сердце я живу. Все, кто прошёл через этот ад, живут в страхе и никому и ничему не верят. Сегодня так, а завтра иначе. Уверена, что я до сих пор под надзором. И Валерия Игоревна, и пастор — все мы живём, как улитки. Да и на кого я оставляю Весту? Она для меня и любимый ребёнок и самый верный друг. Чем больше я узнаю её, тем больше убеждаюсь, что собаки намного выше, чище, лучше и благороднее людей...

Мы общались с Ирэн много лет, иногда навещали её зимой, неоднократно отдыхали летом. Активно переписывались. У меня сохранилась стопка её писем. У Ирэн был очень красивый, правильный и выразительный почерк. И если графология не врёт и почерк раскрывает натуру человека, то Ирэн была человеком редкой, красивой души и благородства. Впрочем, мы это и так прекрасно знали.

Жизненные невзгоды и неудачи продолжали преследовать эту женщину: отравившись газом, умерла мать, она рассталась с Георгом, а затем погибла Веста, вскоре умерла и Валерия Игоревна. Дом оставался недостроенным. Ирэн ожесточилась, стала нетерпимой к людям. Её любили все ленинградцы, которые жили летом и отдыхали в Усть-Нарве и были с ней знакомы, потому что не любить её было невозможно, если ты не равнодушен к яркому, красивому и благо-

родному началу в человеческой личности. Ей искренне сочувствовали, её жалели, но она не нуждалась в жалости. Она роптала на судьбу, боролась и сопротивлялась. Наконец она вышла замуж. Её выбор поразил всех. Ирэн оказалась заложницей своего навязчивого представления о благородном происхождении и голубой крови как панацее от подлости и низости. Под звучной и громкой фамилией скрывался примитивный и малодостойный человек. Он не принёс ей счастья.

И вдруг всё резко изменилось. В конце семидесятых в Швейцарии умерла тётка Ирэн и завещала ей большое состояние. И хотя советское государство оставило наследнице только четверть всей суммы, забрав остальное себе, Ирэн превратилась в богатую женщину. Ей было уже около пятидесяти лет. «Наконец я расправляю крылья», — оповещала она радостно друзей и знакомых.

Ирэн рьяно стала доводить до конца внешнюю и внутреннюю отделку дома и в первую очередь установила современную отопительную систему. Купила машину, и теперь её большой подземный гараж не пустовал. Согреваемая надеждами, Ирэн строила масштабные планы новой жизни.

Она умерла, сидя за рулём автомобиля, когда ехала в гости к друзьям. У неё разорвалось сердце.

* * *

Окончив университет и получив диплом, я задумалась о своей дальнейшей судьбе. Надо было устраиваться на работу. Как? Куда? Кем? И главное — ради чего: денег, карьеры, далёкой пенсии? После недолгих размышлений мы с Августом пришли к выводу: только ради морального удовлетворения и творческого интереса. В силу того, что я никогда не знала, что такое нужда, а мой муж в силу творческого призвания, мы мало задумывались о материальной стороне жизни. Август сразу сформулировал наш хозяйственно-экономический принцип: «Вещи должны приходить сами». И как это ни покажется парадоксальным, так оно и было. Конечно, они не падали нам с неба. Но они и не занимали наши мысли и не являлись целью и смыслом жизни. Бывали и очень трудные периоды абсолютного безденежья и долгов. Выручали родители, выручали друзья. Помню, как в один из таких периодов однажды зимой Реня Френц, вернувшись с охоты, притащил нам часть лосиной туши. Замороженная, она хранилась на балконе, и долгое время мы питались исключительно одной лосятиной. Иногда же Августу перепали очень выгодные заказы, и за пару

недель работы он получал суммы, значительно превышавшие годовой заработок среднего советского человека. Свободная профессия Августа не ограничивала его строгими служебными рамками и позволяла распоряжаться временем по своему усмотрению. Чтобы быть всегда вместе, мы решили, что я могу пока не работать. Рассудили по схеме: женщины выходят на пенсию с 55 лет при 20-летнем рабочем стаже. Вот в 35 лет я и пойду работать, а пока будем жить так, чтобы использовать личную свободу для активной, полноценной и насыщенной впечатлениями жизни. Ну а уж если очень приспичит или надоест, то безработицы у нас в стране нет. Личная карьера меня несколько не занимала, я с самого начала чётко осознала, что моя роль — быть хранительницей домашнего очага и опорой своему мужу. Это совсем не означало, что я посвятила себя исключительно домашнему хозяйству, хотя первое время с интересом постигала и эту, совершенно для меня новую сферу жизни: училась шить, вязать, кулинарничать. Я записалась в две библиотеки и продолжала много читать. Ну и, конечно же, познавала город, пытаюсь проникнуть в суть его души, — очень зыбкой, переменчивой и необъятно-непостижимой. Почти каждую неделю на выходные мы с Августом выезжали из города в его прекрасные и знаменитые пригороды. Август любовно и терпеливо лепил из меня ленинградку.

* * *

Август был общительным человеком и считал, что двери мастерской должны быть открыты, а так как его мастерская располагалась в самом центре города, в двух шагах от Невского проспекта, к нам постоянно заглядывали на огонёк все: и друзья, и просто мало-мальски знакомые люди.

Светская жизнь ленинградской интеллигенции в те годы заключалась не в посещениях развлекательных шоу, клубных и ресторанных тусовках или рекламных презентациях. Творческая, научная, техническая интеллигенция тех лет всюду читала, смотрела, слушала, встречалась, обсуждала и спорила. Главное — было *что* читать, *что* смотреть, *кого* слушать, *о чём* думать и спорить. Дискуссии, дискуссии, дискуссии...

В первые годы правления Брежнева наступательная кампания против инакомыслия в искусстве, начатая Хрущёвым и Ильичёвым, на какое-то время утихла. Массовых преследований не наблюдалось вплоть до начала семидесятых, а потому тенденции к обновлению и

раскрепощению продолжали исподволь активно развиваться. Люди могли ночами стоять в очередях за билетом в театр, часами — на кинофильм или выставку. Возник самиздат. Печатных машинок в свободной продаже практически не было, о ксероксах понятия не имели. Чаще всего тексты размножали фотографированием. Их передавали из рук в руки.

Какое-то время наша жизнь была тесно связана с Союзом художников. Надо сказать, что ЛОСХ представлял собой сложный, многообразный и противоречивый организм, насчитывающий более двух тысяч членов. Его можно было бы сравнить с айсбергом. На виду — официально-признанные, обласканные властью художники, отмеченные наградами и званиями, пользующиеся вниманием прессы и критиков. Эта привилегированная каста и определяла жизнь Союза художников. Те, кто входили в нее, состояли в Правлении, являлись членами выставкомов, художественных советов и бюро секций, преподавали и вели художественные мастерские в Академии художеств. Фактически они определяли и направляли художественную жизнь города.

Большинство же рядовых членов Союза, если и были известны, то в очень узкой среде. Среди них было много ярких и талантливых художников, так и не сумевших продемонстрировать свои работы широкой публике единственно по причине их несовпадения с художественными пристрастиями и вкусами правящей верхушки. А податься больше было некуда. Союз художников являлся абсолютным монополистом, вне этой системы оставались разве что изокружки при Дворцах культуры.

Помню, как однажды мы поднимались с Августом по лестнице ЛОСХ, а навстречу нам легко, почти вприпрыжку спускался невысокий, худенький, немолодой мужчина. Они с Августом поздоровались.

— Кто это? — не удержалась я, так как моё любопытство вызывало всё, что касалось моего мужа.

— Это Натан Альтман, — ответил Август.

— Как?! — не поверила я. — Тот самый? Разве он жив?

— Как видишь.

— А почему же на выставках не бывает его работ? Он же классик!

— Выставком, очевидно, так не считает.

Когда в середине шестидесятых в жизни Союза художников начались перемены, это оказалось полной неожиданностью для его руководителей. Правящая верхушка СХ СССР и их приспешники в областных и республиканских отделениях, по сравнению с другими

творческими Союзами, отличались особо тупым консерватизмом, умственной ограниченностью и нетерпимостью к любым проявлениям нового, свежего и оригинального. Так что корабль изобразительного искусства раскачивался долго, исподволь: «оттепель» художники словно проспали. А затем вдруг неожиданно вырвались из арьергарда и стали играть значительную роль в идеологическом обновлении на протяжении нескольких лет, вызвав необыкновенные страсти и волнения в самой художественной среде и широкий интерес у публики. К сожалению, этот период оказался недолгим, в семидесятые годы ЛОСХ снова превратился в изолированный от общества застойный анклав, хотя и несколько другого толка, и опять стал исполнять функции инквизиции по отношению к новым художественным движениям, которые возникли и стали поневоле развиваться уже вне стен этой организации.

После пресловутого заседания бюро секции графики по борьбе с формализмом произведения Августа систематически отклонялись выставкомом, и сам он долгие годы был лишён возможности общаться со зрителем, но мы не пропускали ни одной выставки, ни одной экспозиции, которые разворачивались в ЛОСХ, Русском музее и Эрмитаже (других выставочных залов в городе ещё не было). Тогда любая выставка по традиции завершалась зрительским и профессиональным обсуждением.

В ЛОСХ эти обсуждения проходили бурно, собирая много народу. Наверное, никогда больше члены ЛОСХ не проявляли такой публичной активности, как в середине шестидесятых годов. С захватывающим интересом собравшиеся слушали острые, страстные выступления непримиримых идеологических и эстетических противников, подогревая выступавших эмоциональными репликами, смехом и аплодисментами. Разворачивалась яростная борьба между апологетами социалистического реализма и сторонниками «свободы творчества». Среди последних было много неплохих ораторов, блистающих жёсткой логикой и остроумием.

Настоящим трибуном проявил себя Ярослав Крестовский, регулярные выступления которого воспринимались с неизменным вниманием, вызывая бурю противоположных эмоций.

— Вы обвиняете нас в формализме, — активно жестикулируя, громыхал он. — Для начала хоть разобрались бы в терминологии, потому что формалистами являетесь как раз вы, это вы возвели единственную формально-стилистическую систему в ранг канона. Искусство передвижников, которым вы требуете подражать, принад-

лежит 19 веку, а жизнь не стоит на месте. Почему мы должны игнорировать все остальные достижения русского и мирового искусства?!

Мне особенно нравились выступления искусствоведа Евгения Ковтуна, которые порой превращались в прекрасные лекции по истории русского искусства начала 20 века, малоизвестного в те годы не только широкой публике, но и многим художникам, и всегда выделялись эрудицией, глубоким, убедительным анализом и чрезвычайно интеллигентной, хотя и жёсткой, манерой ведения спора.

Не менее яркими и острыми были выступления Моисея Самойловича Кагана, философа и искусствоведа. Они были чётко продуманными, логически неотразимыми, а помимо этого отличались артистизмом и блистательной речевой культурой.

Их противники, напротив, выглядели беспомощно, демонстрируя примитивность и невежество, но главное — откровенную агрессивную непримиримость и ненависть.

Помню выступление представительного, благообразного, влиятельного в то время художника N, претендующего на роль человека интеллигентного и широко мыслящего. Начав свое выступление с призыва к терпимости и взаимопониманию, с утверждения, что он не противник нового, и перейдя затем к «объективным оценкам» и «критическим замечаниям» в адрес оппонентов, он, всё более и более горячась, довёл себя почти до истерики и закончил выступление криком:

— Таких расстреливать надо!

Август не принимал участия в этих спорах, считая их достаточно наивными и даже абсурдными. Спорить о том, является ли импрессионизм искусством и нужен ли он народу, было нелепым даже для мало-мальски подготовленного зрителя, и я просто ужасалась тому, что в среде профессиональных художников возможны подобные разговоры и подобное непонимание.

— Откуда такая глупость и невежество? — с недоумённым возмущением спрашивала я у Августа.

— Ну что ты хочешь? — объяснял он мне. — Художник не думает, он видит глазами, а пишет нутром. Наша Академия учит не искусству, а ремеслу, а потому большинство из них высокопрофессиональные ремесленники, бездумно выполняющие партийный заказ. А искусство — это всегда открытие. Одного ремесла для этого недостаточно. Но, по сути, борьба идёт не за искусство, а за власть и влияние в Союзе. Хотя, если к власти придут такие, как Крестовский, дышать станет легче.

* * *

Я обратила внимание, что в ЛОСХ было мало молодых художников, а вот пожилых много, и некоторые из них выделялись особым, каким-то дореволюционно-аристократическим внешним обликом. Мой интерес сразу вызвала график Татьяна Шишмарёва. Ей было, наверное, около шестидесяти лет, но её благородная, классическая красота и теперь производила сильное впечатление, в молодости же она, наверное, была неотразима. Ей целовали руки, расточали комплименты, она была любезна и приветлива, но вот с Августом здоровалась суховато. Мне стало обидно.

— Ты ей чем-то не нравишься? — спросила я у него.

— Ей не нравятся мои работы, — ответил он.

— А почему? — продолжала допытываться я, хотя и чувствовала, что ему этот разговор неприятен.

— Видишь ли, есть группа художников, которые убеждены, что существует только одна «истинная» линия петербургского и ленинградского искусства, и связана она с традициями «Мира искусства». Все, что создается вне этой традиции, у них вызывает подозрение и неприятие. Меня же эстетика даже самих мирискусников всегда отталкивала своей сухостью, вычурностью, манерностью. А уж об эпигонах и говорить нечего. Хотя именно Шишмарёва и её муж Власов — талантливые графики, прекрасные рисовальщики, они, безусловно, противостоят всей этой казенно-официальной партийной орде, но мне они не союзники. Кажется, я вообще вне струи, этакий одиночка на обочине.

Последние слова он произнёс с грустью. Впоследствии я убедилась, насколько он был прав.

Неожиданно на одном из очередных лосховских мероприятий Шишмарёва с приветливой улыбкой подседа к нам и сказала:

— Август, познакомьте меня с вашей женой. Меня очень привлекает её лицо. Я хотела бы поработать с ней. Вы не возражаете?

Я чуть не подпрыгнула от радости. Сама Шишмарёва, чьи изысканные работы так нравились мне на выставках, хочет сделать мой портрет!

— Мы польщены, — ответил Август.

На другой день Татьяна Владимировна приехала к нам домой. С собой она взяла большой альбом с ватманом и свинцовые карандаши. Усадив меня в кресло у окна, она начала работу. Я наивно решила, воспользовавшись случаем, попробовать разобраться в отношении Шишмарёвой к работам моего мужа и для начала завела разговор о бурном

обсуждении последней выставки в Союзе. Скорее всего, Татьяна Владимировна снисходительно воспринимала мои суждения, но не показывала этого и разговаривала со мной вполне серьёзно и доверительно.

— Свобода творчества, — обронила она, — вещь довольно опасная, но мои симпатии на стороне этих молодых бунтарей.

— А как вы относитесь к экспериментам?

— Эксперимент эксперименту рознь, — уклонилась она от ответа.

Тут необходимо пояснить значение очень модного тогда в изобразительном искусстве слова «эксперимент». Кем-то пушенное в оборот для безопасности, это слово стало эвфемизмом для определения «нереалистическое».

— Меня не смущает беспредметное искусство, если вы это имеете в виду, — пояснила Шишмарёва. — Но сейчас стало слишком много «новаторов», которым не мешало бы для начала как следует изучить историю искусства и воспитать свой художественный вкус.

— А можно я задам вам бестактный вопрос? — осмелилась я, наконец, перейти к главному.

— Задавайте, — улыбнулась она.

— Как вы относитесь к творчеству моего мужа?

На минуту она задумалась, потом ответила:

— Я не могу о нем судить, потому что недостаточно его знаю. Но то, что я видела, не сделало меня его поклонницей.

— Вам что-то категорически не понравилось?

— Нет, конечно. Просто у нас с ним разное понимание целей и средств искусства.

Тут Шишмарёва придиричиво окинула взглядом свой рисунок и откинула его в сторону.

— Не то. Начнём сначала.

Я решила больше не отвлекать её разговорами.

Следующий лист она в сердцах разорвала. Принялась в третий раз. И опять осталась недовольна.

— Ничего не понимаю! — расстроено воскликнула она. — Я была уверена, что работа пойдёт легко. Мне казалось, что я схватила вашу суть, а вы вдруг стали неуловимой. Сделаем последнюю попытку. Вы не устали? Если и в этот раз не получится, больше вас мучить не буду.

И в этот раз не получилось. Мы обе были огорчены, и тут домой вернулся Август.

— Ну, Август, ваша жена оказалась мне не по зубам, — вымученно улыбнулась Шишмарёва.

— Да ну? — искренне удивился он. — Покажете?

— Ни за что! — она быстро собрала рисунки. — Просто позор! Кстати, а вы сами её рисовали?

— Пока нет. Но теперь сделаю это обязательно, — засмеялся он.

— Когда сделаете, покажите мне, обещаете?

Когда Шишмарёва ушла, Август с недоумённой улыбкой долго разглядывал меня.

— Очень странно! — задумчиво произнёс он. — Она ведь великолепный портретист. Надо мне, действительно, за тебя приняться.

Но это случилось ещё не скоро.

* * *

Однажды Август пришёл из института домой и сказал:

— Я сегодня вечером иду в мастерскую к моему коллеге по кафедре. Очень интересный человек.

— Кто же это? — поинтересовалась я.

— Ты его не знаешь. Он у нас недавно, почасовик. Феликс Самойлович Лемберский.

— И во сколько мы пойдём?

— Ты не пойдёшь. Приглашён только я.

— Как это? Почему? — уязвлённо возмутилась я.

Мы с Августом везде и всюду бывали всегда вместе, и не было ещё ни разу такого случая, чтобы он оставил меня дома одну.

— Я говорил о тебе, но он не разрешил. Человек своеобразный, какой-то недоверчивый. Ко мне долго присматривался, приглядывался, а сегодня вдруг пригласил. Отказываться было неудобно. Но ты не огорчайся, может быть, ничего интересного и не будет, — успокоил меня Август.

Вернулся он потрясённым.

— Это лучший художник из всех, кого я знаю. Необыкновенный человек, необыкновенный художник, такой глубокий... Очень талантлив!

Я расстроилась. Август задумался.

— Как бы вас познакомить? Если ты ему понравишься, он, может быть, и тебя пригласит.

Мы решили предложить Лемберскому с женой в воскресенье съездить на машине в Выборг. Оказалось, что они там не бывали, а потому с удовольствием приняли наше приглашение.

Была весна, конец апреля. Стояла солнечная ясная погода. Мы подъехали около десяти утра к дому Лемберских на улице Марата.

Они уже ждали нас у подъезда. Феликсу Самойловичу было тогда 54 года, но выглядел он старше. Крупный, немного тяжеловатый, с большой копной седеющих волос, с острым пронзительным взглядом. Людмила Евсеевна — маленькая, худенькая брюнетка с живыми чёрными глазами и подвижной мимикой лица. Феликс Самойлович с удовольствием развалился на переднем сиденье и почти не принимал участия в разговорах, получая явное удовольствие от езды на машине и мелькавших за окном карельских пейзажей. Людмила Евсеевна, напротив, была оживлена, много и звонко смеялась, и мы непринуждённо проболтали с ней всю дорогу. С ней я сразу почувствовала себя легко, несмотря на разницу в возрасте.

Мы с удовольствием побродили по Выборгу, с интересом осматривая его исторические и архитектурные достопримечательности, погуляли в прекрасном парке, пообедали в ресторане. Феликс Самойлович, этот пожилой, солидный и очень серьёзный, как мне показалось, человек, отличался дотошной любознательностью и воспринимал всё с непосредственной радостью ребёнка, который получает удовольствие от новых приятных открытий.

На обратном пути мы решили остановиться и немного побродить по лесу. Феликс Самойлович углубился куда-то один, и вдруг я услышала его возбуждённый крик:

— Наташа! Идите скорее сюда! Скорее!

Я испуганно помчалась на его голос, думая, уж не случилось ли чего со стариком. Он сидел на корточках и что-то пристально разглядывал на земле.

— Сюда, идите сюда! Смотрите! — позвал он.

Я опустилась рядом и в недоумении ничего, кроме мха, не увидела.

— Вы посмотрите, какая фактура! А цвет! Ах, как красиво! — восторженно восклицал он с восхищённым выражением на лице.

Я присмотрелась и вдруг тоже увидела, до чего красив этот лесной мох. Мы стали ползать с ним на коленях по этому лесному ковру и руками обрамлять самые красивые его куски, вскрикивая по очереди:

— А вот этот кусок! А здесь! А тут!

Со стороны это выглядело, наверное, смешно и нелепо.

Когда мы вернулись в город и высадили Лемберских у их дома, Феликс Самойлович наклонился к открытому окошку машины, в которой я осталась сидеть, и с царственной интонацией торжественно произнёс:

— Наташа, я приглашаю вас к себе в мастерскую.

В то время я работала на Ленинградском телевидении помощником режиссёра в литературно-драматической редакции. Попасть туда было трудно, но меня устроил приятель Августа Леонид Николаевич Наричин — директор театра БДТ. Работа помощника режиссёра, работа «на побегушках», меня не устраивала. Я мечтала сама готовить литературный материал. Одна из регулярных еженедельных тематических передач называлась «В мастерской художника». Побывав у Лемберского и познакомившись с его работами, которые произвели на меня ошеломляющее впечатление, я решила подготовить о нём материал для этой передачи и предложить его Володе Лаврову — умному, интеллигентному, авторитетному телевизионному редактору.

На протяжении нескольких недель мы с Феликсом Самойловичем совместно трудились по воскресеньям, разбирая его архивы. Он самозабвенно отдался этой работе. Рассказывая мне о себе, о своём творчестве, делясь мыслями об искусстве, он как бы заново осмысливал всю свою жизнь, проверял её, оценивал.

Он настолько доверчиво и откровенно распахнул передо мной сокровенные тайники души, что меня пронзило чувство непонятной ответственности перед этим человеком. Я подумала: «Если передачи не будет, я должна сохранить свои записи, чтобы рано или поздно имя этого художника стало известно людям».

Мастерская Лемберского находилась в доме на углу 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта. Она поражала своим аскетизмом. В ней не было ничего, кроме картин. В примыкающей тёмной, без окон камерке стояло несколько старых расшатанных стульев, стол и допотопная электроплитка, на которой Людмила Евсеевна иногда готовила еду.

Этого обеда я не забуду никогда. Была осень. Рынки завалены дешёвыми овощами и фруктами.

— Обедать! — звонким голосом позвала нас Людмила Евсеевна.

В маленькие детские тарелки она налила нам суп, в котором плавали отдельные кусочки капусты и картошки и маленькие жиринки подсолнечного масла.

— О! Щи! Даже со сметаной! — воскликнул Феликс Самойлович, с предвкушением потирая руки.

А на второе Людмила Евсеевна поставила тарелку с маленькими зелёными яблочками — падалицей, которые тогда на рынке стоили 25 копеек за килограмм. Затем мы выпили пустой чай.

— Замечательно, Люсенька! Как я сыт! — довольный Феликс Самойлович откинулся на спинку стула.

Я потрясённо молчала.

Когда я вернулась домой и, голодная, открыла дверцу холодильника, в котором стояла большая кастрюля наваристых мясных шей, кастрюля с домашними котлетами, лежали ветчина и сыр, а внизу — два килограмма винограда «дамские пальчики» и огромные яблоки апорт, мне захотелось плакать.

Всю жизнь Лемберские прожили в коммунальной квартире, в 24-метровой комнате, обстановку которой составляло приданое Людмилы Евсеевны. Вечная экономия, страх перед надвигающейся пенсией. Никаких бытовых радостей, ни намёка на маломальский жизненный комфорт. Полнейшее неумение и нежелание «делать деньги». Вся жизнь в творчестве, но оно не приносит ни денег, ни успеха.

Один-единственный раз Лемберские пожили жизнью, которой раньше никогда не знали, — Союз художников выделил им семейную профсоюзную путёвку в Дом творчества в Дзинтари. Август рассказывал мне, как Феликс Самойлович, вернувшись осенью с отдыха на работу в институт, помолодевший, в новом костюме, взхлёб, как ребёнок, делился своими впечатлениями.

— Я и не знал, что существует такая замечательная жизнь! — повторял он с восторженным удивлением.

Я точно уверена в том, что если бы мы не встретились с Феликсом Самойловичем, многое в нашей жизни было бы глупее и примитивнее. Вспоминая, какими мы с Августом были в те годы, я задаюсь вопросом: что его могло привлечь в нас? Не говоря о возрастной разнице, мы были настолько во всём непохожими, даже в чём-то противоположными, что, казалось, кроме профессиональных художественных интересов, ничто не может нас связывать. Тем не менее Феликс Самойлович искренне, по-человечески любил нас, мы это чувствовали и были ему за это благодарны, потому что для нас он был, безусловно, существом высшего порядка. Дружба с ним — это уникальный подарок судьбы, урок постижения подлинных, а не мнимых жизненных ценностей.

Жизненная и творческая судьба Лемберского не только, хотя и в первую очередь, пример жизни и судьбы истинного Художника, но и ярчайший пример судьбы человека советской формации, родившегося, выросшего в советскую эпоху, воспитанного и образованного в духе советского мировоззрения, которое он разделял, потому что никакого другого не знал и не мог знать, но тяжёлый пресс которого он

уже в зрелом, даже пожилом возрасте, сумел преодолеть, и, внутренне раскрепостившись, начал писать новые страницы своей жизни — невыносимо трудной материально и радостно свободной духовно.

«Оттепель» открыли его, но за ней довольно скоро последовал Пленум ЦК по идеологическим вопросам, испугавший и остановивший многих. Лемберский его как будто не заметил. Он всегда был честен и верил в то, что делал. Ему были глубоко чужды любые компромиссы. И когда он чётко осознал, что есть истина, а что есть ложь, он твердо и неотступно выбрал путь истины. Его необузданная искренность и прямодушные сыграли роковую роль. Он публично выгнал из своей мастерской главного идеолога изобразительного искусства — Президента Академии художеств СССР и первого ответственного секретаря Союза художников СССР В. Серова, пользующегося неограниченным влиянием и властью. Это был беспрецедентный шаг, вызвавший шок в Союзе художников. Как вспоминал Феликс Самойлович, Серов пришёл к нему с членами всесоюзного выставкома, чтобы принять договорную работу на всесоюзную выставку. Он стал по-барски снисходительно делать замечания по картине, с которыми Лемберский никак не мог согласиться, а потому начал возражать. Тогда Серов повёл себя оскорбительно, начал хамить, обвинять в отсутствии профессионализма, и Феликс Самойлович взорвался: «Да на каком основании вы позволяете себе меня учить! Кто вы такой? Убирайтесь вон из моей мастерской!»

С этого момента он стал изгоем. Перед ним закрылись все двери. Оказалось, что рассчитывать не на кого, кругом слишком много было трусов и предателей, круг общения резко сузился. Осталась только верная Люся и единицы самых близких друзей. И Лемберский замкнулся, стал осторожен и недоверчив. Остался наедине с искусством. В мастерскую он почти никого не пускал. И работал. Работал на износ. Теперь он был твёрдо уверен, что на верном пути. Всё новые замыслы переполняют его, он не хочет ни на что отвлекаться, ему нет дела ни до чего, кроме творчества. Быт для него вообще не существовал, как будто его и не было в природе. Но жить как-то надо было, и он брался за любую, чаще всего невыгодную и глубоко неинтересную работу, вплоть до плакатов по технике безопасности. Наконец он устроился почасовиком преподавать рисунок в ЛИСИ.

Шесть лет он никому не показывал своих новых работ. И тут, наверное, наступил момент, когда необходимо перевести дух. Лемберский потихоньку начинает открывать двери своей мастерской. Именно в этот период его жизни мы и познакомились.

— Если бы вы знали, Наташа, какую трудную борьбу с самим собой вёл я эти годы, как тяжело и мучительно освобождался от мусора и шелухи, слишком многое пришлось преодолеть.

Он говорил об этом горячо и взволнованно. Но в то же время он не отвергал ничего из своей прошлой жизни, вспоминая о ней с любовью, достоинством и уважением.

Его жизнь начиналась счастливо и многообещающе. Он родился на Волынщине, в городе Бердичеве. С теплотой рассказывал мне о живописности родного города, белых мазанках, соломенных крышах, ясном голубом небе и щедрой украинской природе. С особой нежностью вспоминал родителей. Отец преподавал в школе математику, мать была пианисткой, ученицей Ференца Листа. Она безгранично любила искусство и не придавала никакого значения быту.

— В этом — я в мать, — сказал Феликс Самойлович. — Родители учили меня жить честно и скромно, любить людей, природу и искусство. Люся! Где письма мамы? Дай их Наташе, пусть почитает.

Письма были семейной реликвией, и, прочитав их дома, я поняла, почему ими так дорожили и почему с таким трепетным чувством Феликс Самойлович говорил о своих родителях. Они были наполнены такой ласковой любовью, нежностью и заботливыми пожеланиями и советами, которые не могли не тронуть до глубины души даже чужого человека.

В 1935 году Лемберский стал студентом Академии художеств, выдержав небывалый конкурс — 42 человека на место.

— Я учился с жадностью, учился у великих мастеров прошлого, у своих профессоров, у друзей, у природы. Между учёбой и творчеством нет и не должно быть границ. К сожалению, учёба в Академии была только учёбой, я не сумел ни выявить, ни раскрыть своих творческих возможностей.

В 1941 году он с отличием защитил диплом и окончил Академию. Началась война. Ленинград в блокаде. В 1942 году через Ладогу его, тяжело больного, вывозят на Большую землю, и он попадает на Урал.

— Урал — моя первая любовь. Этот край сделал меня художником, — эти слова он повторял неоднократно.

Северная природа, гигантские реки в чашобах, старые заводы, Высокогорский железный рудник, необыкновенные промышленные пейзажи. И люди.

— Какие замечательные люди! — восклицал он. — Мужественные, колоритные! С ними я жил одной семьёй. Писал на народе,

прямо на производстве. Знал их семьи, быт. Особенно подружился с проходчиками, добывающими железную руду. Я ведь тоже искал «свою руду».

Образ человека труда был для него привлекателен в философско-психологическом плане. Он был прекрасным портретистом, но не копиистом и не натуралистом.

— Я вглядывался в своих героев и пытался передать их сущность через форму, через цвет. Был такой случай. Писал я портрет одного рабочего, прямо в цехе. Дело подходило к концу, но я не был удовлетворён. Что-то не получалось, чего-то я не нашёл. Я стал нервничать. Рабочие подходили и успокаивали: «Чего вы нервничаете? Ведь так похоже!» А я никак не мог им объяснить своей неудовлетворенности. Тогда достал карманное издание Матисса и показал им репродукции. Они притихли, по очереди рассматривали, а кто-то задумчиво протянул: «Да-а, это красиво!» Я тогда решил про себя: народ всегда поймёт настоящее искусство.

На Урале он подружился с известной советской писательницей Мариэттой Шагинян. В своих статьях об искусстве она отвела место и молодому Лемберскому. Как человека она характеризовала его так: «Этот быстрый, живой, черноглазый сангвиник с неутомимой работоспособностью, равнодушный ко всяким житейским невзгодам и неудобствам, страстный артист и отчаянный спорщик». Лемберскому было тогда 29 лет.

Мы узнали его уже немолодым, уставшим от лишений, и, хотя он никогда не говорил о своём здоровье, чувствовалось, что организм его изношен, а здоровье подорвано. Это выдавала чуть шаркающая походка, трудно дающиеся подъёмы по крутым лестницам в художественные мастерские, которые, как правило, располагались в бывших чердачных помещениях под крышей. Но молодой облик, который запечатлела Шагинян, сохранился. Страстный темперамент, живая, бурная непосредственная реакция, желание докопаться до истины в жарких спорах — всё это осталось в Феликсе Самойловиче до конца жизни.

Лемберский был человеком огромной внутренней энергии и напряжённости, он загорался от любого нового впечатления. Столкнувшись с чем-то сильным, значительным, он реагировал мгновенно.

— Разрешили говорить об «убитом» русском искусстве двадцатых-тридцатых годов. И тут как упала пелена: ведь всё это я видел и знаю! Но воспитание, окружение, Академия, Союз художников забили, загнали всё, а тут наступило прозрение! Но я не пере-

чёркиваю своё прошлое и не записываю свои старые холсты, как это делают сейчас многие. Они мои дети, но и учителя. Я смотрю на них и учусь: что было неверно, а что верно.

Феликс Самойлович много размышлял о назначении художника, природе творчества, о сути искусства и его роли в жизни людей.

— Знаете, Наташа, я понял, что искусство — это жизнь, существующая сама по себе, — проронил он как-то.

Среди знакомых художников (за исключением, пожалуй, Ярослава Крестовского) я не встречала такого глубокого и всестороннего знатока искусства, как Лемберский. Он не просто его знал. Он его чувствовал каждым нервом своей эмоциональной натуры. Этот внешне усталый пожилой человек совершенно преображался, когда говорил об искусстве. В эти минуты раскрывался его светлый и блестящий ум. Но он не анализировал, не толковал — он делился любовью.

В каждом художнике он находил что-то интересное. В любой «эксперимент» вдумчиво вникал и всегда обнаруживал значительное и ценное, если это и были крупички. В нём начисто отсутствовало даже подобие догматического восприятия. Но он безошибочным чутьём определял конъюнктуру, ремесленничество и эпигонство. К ним он был непримирим. Возмущался гневно и бурно:

— Кого они хотят обмануть?!

Меня поражало, насколько всегда и во всём он оставался художником.

— Послушайте, — воскликнул он, будучи у нас дома, — ваша собака необыкновенно живописна!

И затем, в течение всего вечера, он не спускал с неё задумчивых глаз, как будто в нём рождался какой-то замысел.

Лемберский работал очень тяжело. Каждая вещь — муки творчества. Он трудился над каждой линией, над каждым мазком, над каждой клеточкой своей картины. Он говорил:

— В картине два слоя. Первый — это то, что изображено. Второй — то, что вложено. Чем больше вложено в картину, тем больше она отдаёт.

Его работы последнего десятилетия поражали необыкновенной, завораживающей глубиной. Вспоминаю его пейзажи.

Тихая, стоячая вода. Сгрудившиеся над ней старые покосившиеся домики жалко существуют в маленьком узком мирке запертой шлюзом заводи. А сверху обрушивается простор без конца и без края, свободная стихия моря, брызги которого падают на дорогу, разделяющую два мира, две философии, две жизни.

Мир, залитый солнцем. Белоснежный монолит храма как символ вечной красоты и гармонии и старые доски разваливающегося забора как столпившиеся растерянные люди — неотъемлемое, но чудеродное явление в прекрасной реальности.

Распахнутая калитка старого забора. Дом, которому, наверное, сотни лет. Загадочно мерцающее окно, нелепая пристройка мрачного входа — всё дышит вечным трагизмом человеческой судьбы. Перед домом дорога, уходящая в бесконечную даль. А даль светлая и прозрачная. Это «Калитка» — моя любимая картина. Я смотрела на неё много раз, и каждый раз испытывала необычное волнение.

Пейзажи Лемберского вовсе не пейзажи в обычном нашем представлении. Сам Феликс Самойлович говорил:

— Мне хотелось не столько отразить объективную красоту предметов, сколько передать свое настроение и восхищение ими. Я стараюсь отыскать в природе её потаённую духовность.

Мне кажется, он достиг большего. Его пейзажи, натюрморты не просто художественные метафоры, когда каждая деталь вызывает множество ассоциаций. Нет ни одного неодушевлённого предмета. Каждый дом, строение, каждая доска в заборе — как живое существо. Сложный, затаённый мир человека сливается, растворяется во внутреннем мире природы и вещей — это сама Вечность Жизни.

Ещё в самом начале творческого пути Лемберский сформулировал своё жизненное кредо художника: нельзя лгать в искусстве; искусство не кормит; путь художника — нелегкий путь.

В раннем «Автопортрете» молодой Лемберский стоит перед мольбертом, в рубище, непреклонный, решительный, устремлённый в будущее. Работа воспринимается как картина-клятва, картина-присяга, картина-провидение: он никогда не лгал, искусство его не кормило, путь его был нелегок...

Он не раз говорил, что хочет сделать мой портрет. Я ждала этого с надеждой. Но он тянул.

— Фалек, ну когда же ты напишешь Наташу? — спрашивала Людмила Евсеевна.

— Не приставай, — отмахивался он. — Я думаю. Это очень ответственное дело.

Он так его и не сделал.

Но и у меня ничего не получилось с телевизионной передачей. Собрав материал и написав текст, я отдала его редактору Лаврову. Он прочитал, не пришёл в восторг от написанного, но творчеством Лемберского заинтересовался, и мы с ним вместе пошли к Феликсу

Самойловичу в мастерскую. И сам хозяин, и его работы произвели на Лаврова сильное впечатление. Он долго сидел, задумавшись, а потом сказал:

— Это очень интересно. Передачу надо будет обязательно сделать, но не сейчас. Надо ждать цветного телевидения. Можно и сейчас это пустить, но в черно-белом изображении пропадёт главное. Ждать осталось недолго. Наберёмся терпения.

И мы согласились. В общем-то, он был прав. Ну, а потом... Потом Феликс Самойлович тяжело заболел, я ушла с телестудии, ушёл и Лавров.

Когда Феликс Самойлович умер, Людмила Евсеевна с дочкой покинула страну и увезла с собой его работы.

Так ленинградская публика и не увидела его картин, не узнала этого имени — Феликс Лемберский.

С наступлением нового века закончилась эпоха широкого интереса и любви к искусству, отношение к нему как выразителю высших духовно-нравственных и философско-эстетических категорий. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, неизбежно. Только горько сознавать, что время романтического подвижничества в искусстве кануло в Лету. Феликс Самойлович Лемберский был одним из самых ярких, светлых и талантливых его представителей.

* * *

Ярослав Крестовский жил в соседнем подъезде нашего дома на проспекте Космонавтов. При встрече мы здоровались, но по-настоящему знакомы и тем более дружны ещё не были. Мне нравилась его жена Роза — очень милая женщина, чем-то похожая на одну из моих самых любимых французских актрис Симону Синьоре.

Однажды, когда я гуляла с Вардом около дома, Роза подошла ко мне.

— И как только вы справляетесь с такой огромной собакой? — поинтересовалась она, разглядывая Варда с восхищённым любопытством.

Вардик, действительно, поражал всех своим ростом и экстерьером. Он был в городе самым крупным догом, в холке достигал почти метра. Поднявшись же на задние лапы, он на любого человека смотрел сверху вниз. При этом, в отличие от большинства особенно рослых догов, Вард вовсе не выглядел тощим и болезненным, у него были идеальные пропорции: широкая грудь, великолепные мощные лапы.

Мы разговорились, и в результате Роза пригласила нас с Августом в гости.

— Приходите с мужем к нам сегодня вечером, познакомимся, посидим, поговорим.

В тот вечер у Крестовских мы засиделись допоздна. Говорили о самом разном, в основном, об искусстве, о ситуации в ЛОСХ. У нас оказалось много общего. Ярослав тоже был охотником, увлекался собиранием икон, и мы обменивались советами по их реставрации. Они оба с большим интересом слушали наш рассказ о поездках по Заонежью. Проникнувшись взаимной симпатией, мы решили встретиться и впредь.

— А зачем откладывать? Приходите к нам завтра, — сказали мы.

— С большим удовольствием, — ответили они.

Крестовские нам понравились, и мне хотелось принять их как-нибудь по-особенному. Роза угощала нас оригинально приготовленным, крепким ароматным кофе с очень вкусным домашним печеньем, а чем же мне их угощать? И тут вспомнила о подарке Ирэн — большой шоколадной «голове»-сырце, которую она достала где-то «по благу». «Буду поить их шоколадом с домашним тортом».

Шоколад произвел впечатление.

— Мы тогда решили: эти Ланины — большие пижоны, — со смехом позднее вспоминала Роза, а Слава добавил:

— Но очень симпатичные пижоны!

С тех пор мы часто собирались вчетвером, а у меня отношения с Крестовскими и вовсе сложились почти по-родственному, и пока мы жили по соседству, их дом был моим вторым домом, Роза же стала мне самым близким человеком, и никого я так не любила из своих питерских подруг и знакомых, как её. Кажется, она платила мне тем же. Никогда и ни с кем я не была так откровенна, как с ней. И никогда и никто из женщин так отзывчиво, любовно и с пониманием ко мне не относился, как она. Роза была намного старше меня, и первое время в её отношении ко мне было что-то материнское, но с годами мы совсем перестали с ней ощущать эту возрастную разницу, а иногда мне даже казалось, что я намного опытнее, чем она. Возможно, так оно и было. Провинциальная девочка из Приозерска, Роза из-за травмы позвоночника в детстве на долгие годы была прикована к кровати, а потому привыкла к одиночеству и размышлениям. Замужество не прибавило ей ни уверенности в себе, ни умения лёгкого общения с людьми активными и громкими. У неё был на редкость застенчиво-деликатный характер, хотя сразу это не бросалось в глаза из-за привлекательной

внешности и открытого, пристально-вдумчивого взгляда красивых серых глаз. Они с Ярославом были очень разными людьми, и вряд ли её можно было считать счастливой женщиной. Художник по текстилю, Роза мало работала творчески и была полностью подмята своим напористым, уверенным и талантливым мужем. Детей у них не было, но Роза на судьбу не жаловалась. Она вообще не любила жаловаться, жила интересами Ярослава и его друзей, исправно вела домашнее хозяйство, изредка выполняла заказы по росписи тканей, мечтала плести гобелены и иметь собственную мастерскую. Внешне её жизнь казалась обыденной и даже серой. Но это было не так. Да, она не проявляла себя ни в какой активной деятельности, но являлась необыкновенно тонким, умным и проницательным наблюдателем жизни. И если бы у неё был не художественный, а литературный дар, она могла бы писать великолепные, глубокие книги. Роза много читала, причём не столько художественную, сколько познавательную литературу. Какими-то путями она доставала очень редкие по тем временам книги, чаще дореволюционного издания, и всегда охотно делилась ими со мной. Так я впервые прочитала религиозно-философские книги Льва Толстого, Мережковского... С особым увлечением я погрузилась в чтение Ницше и Шопенгауэра. Вся эта литература была в те годы практически недоступна.

Ярослав Крестовский, коренной петербуржец, был внуком известного русского писателя Всеволода Крестовского, автора знаменитого романа «Петербургские трущобы». Его имя было тогда забыто и, казалось, навсегда вычеркнуто из русской литературы. Ярослав долгие годы мечтал приобрести собрание сочинений своего деда. Он просил об этом букинистов, обещая заплатить любые деньги. И вот однажды, очень счастливый, он продемонстрировал мне это многотомное издание.

— Если хочешь, можешь прочитать, конечно, все романы, — сказал он мне после того, как они с Розой прочитали сами. — Но, честно говоря, не все из них заслуживают внимания. Для начала я тебе дам два тома: «Петербургские трущобы» и «Торжество Ваала». Интересно будет потом обменяться мнениями.

Надо сказать, что «Петербургские трущобы», самая известная книга, которая в своё время сделала имя писателя знаменитым, не произвел на меня ожидаемого впечатления, я отнесла её к разряду бульварной литературы. А вот роман «Торжество Ваала, или Жид идёт» был идеологического толка, его тенденциозная направленность оказалась для меня неожиданной, и в первую очередь тем, что «ев-

рейский вопрос» был поставлен так остро писателем 19 века, когда, как я считала, евреи в России жили в зоне оседлости, были лишены значительных гражданских прав и не только не играли никакой роли, но и никак не фигурировали на социально-общественной сцене. Но произведение Всеволода Крестовского свидетельствовало об обратном.

Тема евреев стала часто возникать в компанейских разговорах, в том числе, и среди многих наших знакомых во второй половине шестидесятых годов. В те годы, если говорить о национальных отношениях, недоброжелательное, а порой враждебное отношение со стороны русских испытывали только евреи. К этому подталкивали арабско-израильская война, негласная переоценка революционных событий 1917 года и драматических событий советской истории, первые, пока ещё робкие, ручейки эмиграции в Израиль, а также, наверное, общее смутное ощущение неблагополучия в советском государстве, которое побуждало искать «внутренних врагов».

Когда я поделилась с Августом впечатлениями о прочитанном романе Крестовского, он рассказал мне об одном разговоре с живописцем Кабачеком, с которым оказался в одном гостиничном номере во время какой-то совместной поездки. Леонид Кабачек был ярким антисемитом, глубоко убеждённым в том, что все беды России исходят от евреев.

— Знаешь, — рассказывал Август, — я и не предполагал, что можно так заикнуться на ненависти к евреям. Он не давал мне спать всю ночь, буквально вербуя в сторонники. Оказывается, таких совсем не мало, он называл мне очень известные имена. Они создали довольно фундаментальную основу своему мировоззрению, подкреплённую фактами, документами и цифрами. Мне было даже интересно его слушать.

— В каком смысле?

— Наверное, в том, что так привлекательно легко и примитивно эти люди объясняют сложнейшие явления и события истории.

— А что он за человек, этот Кабачек?

— Довольно способный художник и неглупый. Считает себя русским патриотом, народником. Но малоприятен, уж слишком злобен и, подозреваю, нечистоплотен. Предпочитаю общаться с такими людьми, как Лемберский и Каган.

До этого времени мне никогда не доводилось сталкиваться с попытками идеологического обоснования антисемитизма. С этим явлением я встречалась лишь на бытовом, обывательском уровне и крайне редко, и не придавала ему никакого значения, считая ругань

в адрес евреев одним из многих проявлений типично советского хамства. То, что возможен интеллектуальный, интеллигентский антисемитизм, было для меня открытием. Я этого просто не понимала, и до сих пор не понимаю. Мне самой эта нация всегда казалась на редкость привлекательной, возможно потому, что у меня всегда было много друзей-евреев, и они были лучшими друзьями — умными, верными и участливыми.

Помню, как-то ещё в Минске мы шли с мамой по улице и в витрине книжного магазина увидели объявление: «Принимается подписка на собрание сочинений Лиона Фейхтвангера». Это имя мне ничего не говорило.

— Подпишись, Талка, — сказала мама. — Очень хороший писатель. В молодости я зачитывалась его романами.

Я подписалась. Фейхтвангер на время стал одним из моих любимых зарубежных писателей наряду с Моэмом и Уайльдом. Его романы «Еврей Зюсс», «Успех», «Иудейская война» и другие я перечитывала не единожды. Этот писатель раскрыл мне глубокую и напряженную жизнь еврейской души, и она мне не только импонировала, но и была в чём-то очень близка.

Я пришла к Крестовским, чтобы вернуть прочитанные книги.

— Ну, и каковы впечатления? — с любопытством поинтересовался Слава.

— Сложные, — осторожно ответила я. — Но интересно и неожиданно. Всё-таки плохо мы себя знаем. Вот я филолог по образованию, а по сути невежда в своей области. Если бы не знакомство с тобой, о писателе Крестовском могла и не узнать.

— Ты прочитала второй роман — «Жид идёт»?

— Прочитала, конечно.

— И как?

— Ну, не знаю. Роман производит странное впечатление. С одной стороны, он вроде антисемитский, а с другой — антирусский. Ведь единственным положительно-идеальным персонажем является Сара, а она в конце романа разочаровывается и в христианстве, и в русской добродетели.

— Верно. Дед был слишком умён, чтобы быть примитивным антисемитом.

— А ты сам что думаешь об этом?

Слава засмеялся.

— Все евреи, кого я знаю, — милейшие люди. А дед мой, думаю, был не совсем правильно понят. Мне кажется, он хотел как раз заста-

вить русское общество внимательно посмотреть на самих себя. Ведь мы, русские, гробим друг друга, как пауки в банке, а у них взаимовыручка и поддержка. Нам бы так.

— Да-а, — с улыбкой поддержала Роза. — Сколько раз я это чувствовала на себе. Надо же иметь такие паспортные данные: Крестовская Розалия Семёновна. Как только назову их, со стороны евреев сразу возникает необыкновенная теплота и любезность. А это очень приятно.

Ярослав был человеком содержательным и умным, хотя и не отличавшимся особой широтой интересов. Он был полностью погружён в свою профессиональную среду и в рамках этой среды стремился к признанию, влиянию, власти. Это совсем не означает, что он был прагматичным и корыстным честолюбцем, стремящимся любой ценой достичь славы. Да, он был чрезвычайно честолюбив, но я не встречала ни одного художника, лишённого этого качества, только у одних оно глубоко запрятано, а у других лежит на поверхности. Просто Ярослав отличался прямолинейно-откровенной, почти детской непосредственностью в выражении своих мыслей и желаний, подчас игнорируя правила приличия, и многие Крестовского поэтому не любили, а Роза от этого глубоко страдала, так как сама держала себя под постоянным внутренним нравственным и этическим контролем.

У него был свой, узкий круг друзей, состоящий из бывших однокурсников и близких ему живописцев-единомышленников, которые составили в ЛОСХ так называемую «Группу одиннадцати», куда входили такие талантливые художники, как Аршакуни, Егошин, Шаманов, Тюленев и другие. Крестовский среди них был явным лидером, так как, помимо художественного таланта, обладал ещё и организаторскими способностями, и умением говорить и убеждать. Цепкий, волевой, он умел не только идти напролом, но и лавировать, и идти на компромиссы. Этот человек умел добиваться своего. Таким он был в ЛОСХ, где «Группа одиннадцати» после ожесточенной борьбы с «динозаврами» если не официально, то фактически захватила власть и удерживала её больше двадцати лет, вплоть до середины девяностых. Но совсем другим он становился в бытовой, домашней и дружеской обстановке. Тут он был мил, добр, безобиден и мягок, податлив и участлив. И те, кто знал его с этой стороны, были к нему искренне привязаны.

Для меня общение с ним было не только приятным, но и познавательно-интересным и полезным. Часто Август задерживался в мастерской допоздна, и вечера я проводила у Крестовских. У Славы было ко мне особое отношение. Я стала для него одним из привычных

домашних атрибутов, и он был со мной открыт, раскрепощен и доверителен. «Ты на него хорошо действуешь», — говорила мне Роза, и это, на самом деле, было так. Он возвращался домой уставший, а потому раздражительный и ворчливый, но, увидев меня, улыбался, тяжело плюхался на диван, вытягивал ноги, закуривал беломорину и, пока Роза подогревала ужин, шутливо интересовался: «Ну, как жизнь молодая?»

После ужина мы вместе пили чай на кухне (Слава любил только свежесваренный и очень крепкий чай), а потом, взбодрившись, он рассказывал нам с Розой все союзовские новости и сплетни, в курсе которых был всегда, потому что Союз художников считал чуть ли не домом родным.

Он с требовательной настойчивостью всегда заставлял меня высказывать своё мнение о последних выставках, работах отдельных авторов, особенно спорных, но, в первую очередь, пристрастно испытывал мое мнение о собственных картинах. И я его понимала. Наблюдая, как художники смотрят работы друг друга, я с удивлением замечала, что они предпочитают отмалчиваться, своё мнение не высказывать. А если и высказывали, то первой фразой, как правило, было: «Я бы на твоём месте...». Каждый оценивал чужие работы исключительно сквозь призму своего художественного видения, стиля, манеры, пристрастий. Постепенно я пришла к выводу, что мало кто из собратьев по цеху может объективно воспринять произведение своего товарища.

Но поначалу я стеснялась высказывать своё мнение, отнекивалась, ссылаясь на то, что не являюсь специалистом, на что он отвечал:

— Я сам специалист, и что мне скажут другие специалисты, меня не интересует. Я знаю, что они могут сказать. Мне важно знать мнение зрителя, как раз такого, как ты.

Постепенно я осмелела, начала вещать бойко, и мы даже иногда отчаянно спорили с ним. В такие моменты он возбуждался, начинал сильно раскачивать ногой (его любимая поза — нога на ногу), пыхтел папиросой и дёргал крючковатым носом. Роза, глубоко затягиваясь сигаретой, с улыбкой наблюдала за нами.

Его работы я всегда хвалила, и он, как ребёнок, расплывался счастливой, самодовольной улыбкой. Хвалила и расточала ему комплименты я совершенно искренне. Мне, действительно, очень нравились его картины. Но просто комплиментов ему было мало. Он хотел знать конкретно и во всех деталях, почему нравится, чем именно, что кажется особенно ценным и что отличает его работы от работ других.

Роза, безусловно, радовалась растущей популярности и успеху своего мужа, но мне часто высказывала недоумение по этому поводу: ей, как художнику, казалось, что слабым местом живописи Ярослава был цвет, что он уступает в этом очень многим другим художникам, а цвет в живописи, полагала Роза, — самое главное. Возможно, она была права, но я считала, что хороших колористов в Союзе художников много, а Крестовский один.

— На выставках обилие работ, и около большинства из них я почти не задерживаюсь, — объясняла я Славе своё восприятие его картин. — Мимо твоих работ так не пройдёшь, они останавливают. Сначала, конечно, чисто визуально — своей непохожестью и выразительностью, затем увлекаешься содержанием — оно всегда богато ассоциациями, говорящими деталями, а это уже волнует. Ну а потом обращаешь внимание на профессионализм и мастерство. Ты оригинален и неподражаем в замысле, парадоксален в мышлении, изобретателен в образности, у тебя мужской и серьёзный стиль и строгий вкус.

Такие примерно слова я ему говорила.

Как художник, Крестовский развивался и рос быстро и на глазах. Его картины от выставки к выставке становились все отточеннее, глубже и самобытнее. Среди них настоящими шедеврами я считаю картины «Старое дерево» и «Часовщики».

«Часовщики» — очень тонкая, изысканная и причудливо-загадочная картина. Когда Роза шутливо говорила об этой работе: «Изобразил самого себя», — она имела в виду только внешний облик сгорбленно-сосредоточенных фигур часовщиков, мне же кажется, что в картине этой раскрылась внутренняя, глубоко сокрытая, театрально-фантастическая сущность самой натуры Крестовского. Раскрылось и засверкало его гофмановское, философское начало. К тому же работа несла в себе много запрятанных деталей подтекста: старчески-немошные, в чём-то зловещие фигуры часовщиков в старомодных сюртуках, колдующих над временем, их замкнутая отгороженность от внешнего мира вызывали ассоциации с дряхлеющими кремлёвскими правителями, пытающимися остановить ход времени. Это подчеркивалось и настольными электрическими лампами, и полом с современным и модным узором «в шашечку». Небольшая по размеру картина была маняще глубокой, содержательно многослойной и при этом завораживающе красивой.

Слава считал эту работу этапной в своём творчестве. Когда я говорила ему о произведённом впечатлении, он беспокойно ёрзал в кресле, дрыгал ногой и пыхтел папиросой.

— А как тебе часы на стене? Сколько я их придумал — самых разных! — хвастался он, как мальчишка.

— Здорово! — кивала я головой.

— А внутри них видела, как живут разные фигуры? — продолжал допытываться он.

— Конечно! — продолжала кивать я.

— А ты обратила внимание, что все часы показывают разное время?

— Да ну? — удивилась я. — А вот этого не заметила.

— Ну, как же? — расстроился он. — Это ведь очень важно!

«Часовщики» были приобретены Русским музеем, и Слава был на седьмом небе от счастья. Его мечты и помыслы начинали сбываться.

Не раз он убеждал меня:

— Наташка, тебе надо писать.

И добавлял не то в шутку, не то всерьёз:

— Напиши вот про меня, например. А что? Я человек неординарный, ещё стану академиком, вот увидишь, да и родословная у меня интересная.

И это была правда. Слава был неординарным человеком. Изобразительное искусство было его стихией, и он плавал в ней как рыба в воде. Думаю, что мало кто из искусствоведов так знал историю искусства, как Крестовский. И он продолжал любовно изучать его до конца жизни. У него была прекрасная по тем временам библиотека, в которой были собраны редкие и очень дорогие книги по искусству. Он не жалел на них никаких денег.

Внешне Крестовские жили очень скромно. У них не было ни машины, ни дачи — главных символов достатка и зажиточности. Когда-то в юности на охоте Ярослав потерял глаз, поэтому не мог водить автомобиль. Дачи и загородные дома он тоже не любил, предпочитая бродить с ружьём по новым местам, а не быть привязанным к одному. Они не отдыхали на престижных курортах и не придавали значения внешнему лоску, одеваясь скромно и без претензий. Все лишние деньги он тратил на приобретение книг, икон и антиквариата. С годами это увлечение превратилось в настоящую страсть, а Ярослав в настоящего знатока и ценителя, что очень огорчало Розу.

— Скоро кухня станет моим единственным местом обитания, — жаловалась она мне. — Покупать дворцовые вещи в малогабаритную «хрущёвку»! Ну что может быть нелепее? Мне неуютно и неудобно сидеть на этих ампирных креслах и диване, зачем нам эти бронзовые часы и канделябры? Я понимаю, это редкие, кра-

сивые вещи, но какое отношение они имеют к моей жизни? Живу, как в музее...

Ярослав же, напротив, чувствовал себя среди этих старинных и дорогих вещей комфортно и органично. Вероятно, в нём говорили гены предков.

* * *

Окна нашей квартиры на проспекте Космонавтов выходили во двор. Напротив располагалось отделение милиции, рядом ограждённая мусорная яма, к которой прилепился сарайчик по приёму вторсырья. Стоя однажды на балконе, я увидела молодую пару, которая тащила в соседний подъезд от мусорной ямы сломанные стол и стулья, отнюдь не антикварные, кто-то выбросил их за ненадобностью. «Интересно, — подумала я, — кто же это у нас такой бедный, что мебель приобретает на помойке?» Ими оказались Саша (Вениамин) и Света Леоновы, жившие этажом ниже Крестовских. Через Крестовских мы с ними и познакомились где-то в 1965 году. Слава представил нам Сашу как очень способного и многообещающего живописца.

По мере того как сбрасывались оковы социалистического реализма, в среде художников нарастали лихорадочное брожение и эпидемия экспериментаторства. Каждый пытался откреститься от кондовых традиций, определиться с собственным видением, найти собственные средства самовыражения и совершить собственное художественное открытие. Прежде достаточно равнодушные друг к другу, художники стали вдруг испытывать необыкновенную любознательность, тягу и острое любопытство к любым новаторским идеям и технологиям, а также к поиску единомышленников. Разрозненные одиночки искали других таких же, чтобы обменяться советами, мнениями и поддержкой, а также информацией, которую каждый добывал где и как мог. Те, кто был лишен возможности выставляться и общаться со зрителем, охотно демонстрировали всем желающим свои работы дома или в мастерской.

Новым веяниям в искусстве сочувствовали учёные, особенно физики и математики. Довольно распространённым явлением стали небольшие выставки в научно-исследовательских институтах. Иногда закрытые, иногда с ограниченным доступом, но молва о них быстро распространялась. Центром притяжения свободной мысли в Ленинграде был Дом учёных. Среди научно-технической профессуры, достаточно обеспеченной материально, появились не только

поклонники, но и коллекционеры, собирающие произведения «подпольных» художников. В Ленинграде одним из таких известных коллекционеров был профессор Новожилов. Однажды, по чьей-то рекомендации, он принял нас и любезно ознакомил со своей коллекцией. Стены его небольшой квартиры в Московском районе были сплошь увешаны картинами русских художников начала 20 века и полотнами молодых авторов из Москвы и Ленинграда, имена которых были тогда практически неизвестны. Из них на меня самое сильное впечатление произвели работы художника Жарких.

Надо сказать, что по большому счёту все эти новаторские поиски у большинства художников в шестидесятые годы носили поверхностный, вторично-подражательный характер. Замаечило множество эпигонов — от импрессионистов и кубистов до абстракционистов и сюрреалистов. Но чужая, слепо заимствованная форма не спасала их работы от пустоты.

Одна из знакомых искусствоведов Августа, Галина Леонтьева, обратилась к нему с просьбой устроить в мастерской небольшую выставку работ московского художника Харитонов. Он согласился. В течение недели прерывистыми ручейками в мастерскую тянулись оповещённые зрители. Мы с Августом с любопытством за всем наблюдали.

Сам Харитонов, маленький, нервно-суетливый, непоколебимо уверенный в собственной гениальности, производил впечатление человека недалёкого и наивного. Его небольшие картины отличались претенциозной салонностью. Помню каких-то дам в кринолинах среди парковой зелени — эклектичная смесь Сомова и Бенуа с Борисовым-Мусатовым и детским, примитивным мироощущением. Поэтому те восторженные излияния, которые высказывали наши гости, а это были люди неслучайные, вызвали у нас некоторое недоумение. Поклонники творчества Харитонova и организаторы выставки принадлежали к определённому кругу людей, считающих себя интеллектуальной элитой города и собирающихся на квартире архитектора Цехновицера. Я внимательно вглядывалась в этих амбициозных посетителей и пришла к выводу, что они относятся к той категории людей, которые умеют громко и шумно заявлять о себе. Существует меткое, ироническое замечание: кто говорит, тот и герой. Оно в полной мере относилось к этим людям.

Помню, как один из этих гостей, рассматривая картины и жмурясь от счастья, со сладким восхищением приговаривал: «Вкусно! Ах! Как вкусно!» Потом он, попросив стул, взобрался на него, а затем,

спрыгивая со стула и передвигая его, уткнувшись носом в холсты, продолжал всхлипывать: «Как же это вкусно!» Зрелище было мало-приятное, но характерное.

— Вы плохо видите? — поинтересовалась я.

— Нет, отчего же? — удивился он. — Просто наслаждаюсь живописью.

Самой яркой фигурой среди этих посетителей был, безусловно, поэт Глеб Горбовский, молодой, красивый и очень похожий на Сергея Есенина. Он ходил тогда в непризнанных бунтарях, был резок и самонадеянно горделив, но всё равно чем-то мне понравился, наверное, всё-таки своей чужеродностью среди остальных. Позднее он покинул эту компанию.

Галя Леонтьева, считающаяся в ЛОСХ умным искусствоведам, поинтересовалась нашим мнением.

— Правда, красивые работы? — спросила она.

— Красиво и красивость — это разные вещи, — возразил Август.

Как раз в это время произошло наше знакомство с Лемберским, от картин которого мы находились под большим впечатлением. Я поинтересовалась у Леонтьевой:

— А вы знаете художника Лемберского?

— Есть такой, кажется, в Союзе. А что?

Мы поделились своими впечатлениями. Она пренебрежительно заметила:

— «Серьёзное», «глубокое»... Кому это надо?

И окинула нас снисходительным взглядом.

Но среди «непризнанных» появились и очень талантливые художники, которые, опираясь на современные направления и тенденции, создавали яркие, остро оригинальные и глубоко содержательные вещи. Саша Леонов относился именно к таким.

Он работал дома. У Леоновых была такая же двухкомнатная «распашонка», как и у нас. Вторая, дальняя, комната служила Саше мастерской. Войдя первый раз в квартиру, я с любопытством огляделась. Тут же узнала «помойный» стол со стульями. Но как же они преобразились! Саша расписал их красивым тёплым декоративным узором, и они стали украшением комнаты. Наше внимание привлекли стоящие на полке из простой доски изысканно-чеканные медные сосуды тонкой восточной формы.

— Старинные, дагестанские, — пояснил Саша. — У нашего старёвщика за копейки приобрёл. Света их чистила несколько дней.

На других полках стояли книги, в углу старая ножная швейная машинка, а широкий матрац, служивший и постелью и диваном, был покрыт весёлым лоскутным покрывалом ручной работы. (Света была большой мастерицей, прекрасно шила и вязала, благодаря этому они с Сашей были модно и со вкусом одеты). Рядом на тумбочке стоял допотопный старенький приёмник — Сашин источник информации, слушал он исключительно западные радиостанции. «Наверное, приёмник тоже с помойки», — почему-то решила я. У них было бедно, но очень мило, и эта обстановка не изменилась на протяжении остальных лет вплоть до их отъезда из СССР.

Работы Саши произвели на нас впечатление. В отличие от многих других виденных мною в те годы «экспериментальных» вещей, его холсты были профессионально, более того — мастерски сделанными, глубоко продуманными и спонтанно-импровизационными одновременно. Он тяготел к абстракции, но картины не были полностью беспредметными. В сложную, богато-живописную ткань абстрактно-структурного пространства он искусно вплетал, встраивал, запрятывал не сразу угадываемые, изощрённые в смысловой образности фигуры и предметы, и это придавало полотну не только изобразительное, но и содержательное качество.

В последующие годы Саша регулярно приглашал нас к себе, чтобы показать новые работы. Примерно раз в году он возил их в Москву на продажу, главным образом в западные посольства, и о дальнейшей судьбе своих вещей ничего не знал. Платили ему копейки — по 150—300 рублей за картину. Но и этим деньгам Леоновы были рады.

Помню, как особенно понравился нам цикл из четырёх больших холстов под названием «Карты». От картины «Пиковая дама» я просто не могла оторваться. Мы предложили Саше продать её нам за 500 рублей, больше дать не могли. Он отказался, рассчитывая, что в Москве ему заплатят больше. Вернулся Саша огорчённым.

— Лучше бы я продал вам, — почти со злостью посетовал он. — За весь цикл мне дали тысячу. Но везти картины обратно у меня уже не было сил.

Отец Саши был главным художником Дулёвского фарфорового завода, человеком преуспевающим, влиятельным, членом партии. Саша же стал отщепенцем в своей семье. Советский строй он ненавидел настолько, что даже когда происходили международные матчи по футболу или хоккею, болел всегда за западные команды. Его желчная озлобленность, отсутствие чувства меры и объективности во многом препятствовали более тесному человеческому сближению. Он был

эгоистичен, уверен в собственной гениальности и в том, что в любой другой стране он добился бы шумного признания и славы. Когда Леоновы покидали страну, Саша говорил:

— Скоро вы обо мне услышите.

Но этого не случилось.

Возможно, это и было бы так, обладай Саша хотя бы мало-мальской способностью к устройству своих практических земных дел. Но он был в них абсолютно беспомощен. В доме всё держалось на Свете. Она принадлежала к той особой когорте русских жён, которые всю себя беззаветно и жертвенно отдают служению мужу. Из простой рабочей семьи, инженер по образованию, рядовая служащая, она мало разбиралась в искусстве, ни на что не претендовала и на всё смотрела Сашиними глазами. Но про неё смело можно было сказать: славный человек!

Мы особенно подружились с ней, когда почти одновременно родили наших детишек: она — дочку Настю, а я — сына Данилу.

В эти годы Леоновы увлеклись религией, крестились, а потом стали проповедовать аскетизм и вегетарианство. Главной для них пищей зимой стали грибы, и мы часто брали их осенью с собой на машине в лес, чтобы они сделали запасы. Уже зная Сашу достаточно хорошо, я не верила, что и христианство, и вегетарианство были для него душевной потребностью. Они никак не вязались с его задиристо-воинственным характером и очевидной тягой к комфортной жизни. Скорее, это было средством самозащиты от собственной беспомощности, способом противостояния окружающей действительности.

— Саша, а ведь вы человек лукавый, — позволяла я себе откровенные замечания.

Он смеялся и не обижался.

С годами Саша стал в среде «подпольных» художников авторитетным человеком и вошёл в состав оргкомитета выставки во Дворце им. Газа, самой большой и представительной выставки «подпольного» искусства. Вот тут-то они с Крестовским и превратились из друзей во врагов.

Ярослав чрезвычайно ревниво отнёсся к тому огромному успеху, которым пользовалась эта выставка. Он яростно и непримиримо выступил от лица ЛОСХ на её обсуждении, критикуя и утверждая, что представленные работы — это тупик искусства. Леоновы были шокированы.

— Как можно, — возмущалась Света, — в лицо, наедине, говорить одно, а публично другое?! Или он рассчитывает на то, что за это

выступление получит звание академика или народного художника? Бог его за это накажет.

Живя в одном подъезде, они перестали здороваться. Роза мучительно переживала этот конфликт.

— Понимаешь, — объясняла она мне, — Слава ведь не Сашино творчество имел в виду. Он говорил искренне, он действительно так считает. Но, конечно, ему не надо было выступать...

Вскоре после этого Крестовских постигла жестокая трагедия — Слава ослеп. Несчастный случай в молодости на охоте оказался в итоге роковым. Один глаз пришлось удалить из-за раковой опухоли, а второго не было. Эта трагедия потрясла всех художников. Она подрезала Крестовского на самом взлёте, в самом расцвете жизненных и творческих сил и возможностей.

Света Леонова на это страшное известие отреагировала так:

— Вот видишь, бог есть.

Я содрогнулась.

* * *

В один из дней начала зимы 1965 года наши знакомые Гриша Шилов и его жена Надя навестили нас в мастерской. В разговоре Надя вдруг сказала:

— Мы очень расстроены. Завтра в Союзе панихида. Умер очень хороший художник и замечательный человек. Он когда-то преподавал у нас в Мухе. Мы его очень любили. Вы его, конечно, не знаете — Володя Ольшевский, он потом уехал в Москву.

Мы с Августом буквально обмерли.

— Этого не может быть! — в страшном волнении закричала я.

Не менее взволнованный, Август спросил:

— Как это могло случиться? Несчастный случай?

Они покачали головой:

— Нам ничего неизвестно.

На другой день мы пошли в Союз. Поднимаясь по лестнице, я увидела на площадке перед входом в зал фотографию Володи в черной рамке и заплакала. В моей жизни это была первая потеря близкого человека и друга.

В голове постоянно крутилась мысль: «Бедная Нина! Как она переживёт эту утрату?» Войдя в зал и остановившись у входа, я стала искать её взглядом среди людей, стоявших у гроба. Но её там не было.

— Наташа! — откуда-то тихо раздался знакомый, хрипловатый, надтреснутый голос.

Я огляделась. Она стояла в одиночестве, недалеко от двери, вжавшись в угол. Я подошла к ней, и мы горестно обнялись.

— Как же это случилось, Нина? — прошептала я.

— Он покончил с собой. Поехал в Крым, в Судак, и бросился с обрыва крепости вниз.

Отпрянув, я непонимающе уставилась в её потерянные, воспалённые глаза.

— Но почему?!

— Володька меня бросил, Наташа. Он меня разлюбил. А я... я без него не могла. Я его преследовала, всюду за ним ходила, умоляла, стояла на коленях... Он требовал развода, я не давала. Я сказала ему: «Мне легче видеть тебя мёртвым, чем с другой женщиной». И тогда он сделал это, безумец!

Она говорила мне эти слова громким шёпотом, взхлёб, приблизив почти вплотную своё лицо к моему и глядя на меня сухими, сумасшедшими глазами. Я слушала её потрясённая, оглушённая и не могла поверить в то, что она говорила.

Подошёл Август и недоумённо на нас посмотрел, он ещё ничего не знал.

— Иди, попрощайся, — сказал он.

Плохо помню процедуру похорон, ибо пребывала в каком-то полубессознательном состоянии. Помню только, что Нина была в изоляции, родственники и друзья Володи от неё презрительно отгораживались, её игнорировали и старались не замечать, и она судорожно цеплялась за меня и за Августа и жалобно шептала:

— Не бросайте меня одну.

Когда гроб опустили и кинули первый ком земли, она дико закричала:

— Володька! — и, потеряв сознание, упала.

Через несколько лет, работая в Художественном фонде, я как-то разговорилась с Сашей Скрягиным — председателем художественного совета по декоративно-прикладному искусству. Он относился ко мне одновременно и по-товарищески, и по-отечески покровительственно. С ласково-благодарной улыбкой он заявил:

— А я прекрасно знаю историю твоего замужества.

— Откуда? — удивилась я.

— Володя Ольшевский был моим лучшим другом.

Я тяжело вздохнула.

— Эта стерва погубила его, — с ожесточением сказал он про Нину. — Такого мужика погубила, замучила его, всюду преследовала, проходу ему не давала. Вцепилась в него, да кем она была по сравнению с ним?

— Она была женщиной, которая его безумно любила, — горестно ответила я.

* * *

Самые первые иконы появились в мастерской Августа задолго до нашего знакомства. Происходили они из деисусного чина иконостаса знаменитой Волкостровской часовни, и приобрел он их против своей воли. Дело было так. В самом начале своих профессиональных занятий графикой Август подрабатывал преподавателем живописи и рисунка в архитектурном техникуме на улице Герцена. Летом у студентов была практика, в ходе которой они делали обмеры памятников архитектуры. Август повез их на Киж и Волкостров. Там он и заметил, что в качестве чертежных досок студенты используют иконы из иконостаса. Тогда он собрал всю группу в часовне и прочитал студентам целую лекцию о древнерусском искусстве, о мировом значении иконописи, о том, что под планшеты для своих ученических работ они приспособили вещи музейного уровня. Студенты все поняли, но вывод сделали свой, такой, который Августу и в голову не приходил: они тайком отобрали четыре самые старые и самые выразительные иконы, тащили их на себе через все пересадки, а на вокзале в Ленинграде торжественно вручили тяжёлые пакеты Августу. Август снова их отругал, говорил, что иконы должны быть на своем месте, но студенты резонно возразили, что в заброшенной, с протекающей крышей часовне иконы все равно через несколько лет погибнут, а так они сохранятся. На дворе стоял 1957 год, о коллекционировании икон никто еще и не помышлял. Так Август невольно стал пионером этого собирательства, которое десять-пятнадцать лет спустя превратилось в повальное увлечение интеллигенции, а ещё позднее, в конце семидесятых — в процветающий нелегальный бизнес.

Но следующие приобретения в нашем собрании появились лишь в 1964 году, при поездке в Батово, о которой я уже рассказывала. О том, насколько это захватывающее увлечение, прекрасно написал в своей книге «Черные доски» Владимир Солоухин. Сам процесс — проникновение по бездорожью в глухие, малодоступ-

ные уголки и экзотика новых мест, азарт поисков и находки, порой необычные и неожиданные, общение и встречи с местными жителями и служителями церкви, полные интереснейших социально-психологических наблюдений и открытий, — всё это было впечатляюще познавательно, наполнено эмоциональным содержанием не только в силу иного образа мыслей, но и иного образа жизни, для меня нового и необычного.

Понимание иконы как произведения искусства, как художественной и исторической ценности у местных жителей, разумеется, отсутствовало. Иконы для них являлись предметом культа и не более. У верующих они висели в красном углу, а неверующие, как правило, складывали их на чердаках. Выбрасывать осторожно несли, всё-таки это грех, да и память об ушедших из жизни стариках. Если в деревне была часовня, хоть и полуразрушенная, составляли их там, если действующая церковь — относили батюшке со словами: нам они не нужны, а вам, может быть, пригодятся. Батюшки складывали их на колокольне.

Отдавали их по-разному, но никогда не брали за них денег. Молодые были рады избавиться от лишнего «хлама», верующие старики в предчувствии скорого конца дарили «в хорошие руки».

Кощунственное пренебрежение прошлым укладом жизни, особенно связанным с религией, верой, предметами культа и старины, с «памятью крови», как называл это Август, поражало до глубины души.

Трудно передать словами то трагически щемящее и в то же время восторженно возвышенное ощущение, которое испытываешь, когда, например,ходишь в стены разрушенного и почему-то обязательно изгаженного храма с открытым небом и вдруг обнаруживаешь одинокую большую икону, темную, местами осыпавшуюся, но всё ещё прекрасную, или повреждённое распятие, каким-то чудесным образом здесь забытые и оставленные и своим одухотворённым обликом разительно контрастирующие с мерзостью окружающего развала и запустения.

В одной из деревень Вытегорского района в здании старой деревянной церкви 17 века разместился дом культуры. Август предъявил членский билет общества по охране памятников архитектуры и искусства, и нам разрешили осмотреть здание. В помещении библиотеки внимание Августа привлекла странная филёнчатая стена, густо покрашенная серо-зелёной масляной краской.

— А что под краской? — поинтересовался он.

— Иконостас, — добродушно пояснил нам заведующий клубом. — Рушить стену не хотели, решили вот закрасить.

— Но это же варварство! Вы же погубили иконы.

— Почему варварство? — обиделся заведующий. — А что нам с ними делать было? Мы же не выбросили, не сожгли. Да и кому они теперь нужны? Пережиток прошлого...

У одной хозяйки иконой была накрыта бочка с квашеной капустой. Август сделал ей крышку, и она отдала нам эту сильно повреждённую доску. В сельском магазине продавщица использовала иконы в качестве ставней. Пришлось Августу сделать ей новые ставни. В другом доме икона служила крышкой сундука.

Большую икону «Георгий Победоносец» мы нашли среди груды мусора в разрушенном сарае на краю деревни. В полумраке развалин она слабо светилась, мерцая позолотой и алым плащом святого на белом коне. С огромным волнением и большой осторожностью мы высвобождали её из кучи обломков. Она была прекрасна, несмотря на плохое состояние и потери.

Помню, в одной из деревенок Новгородской области мы разговорились с местным знахарем, который заговаривал зубную боль и укусы гадюк. Их водилось там несметное количество, и практически не было ни одного жителя, не пострадавшего от их ядовитых зубов. Мы поинтересовались у него иконами. Он ответил:

— Приехали бы на неделю раньше. Тут нагрянули пожарники и стали наши чердаки чистить, так из этих икон посреди деревни такой костёр развели...

Но было и другое — совершенно удивительные старики и старухи, исполненные строгого достоинства и благонравия. В них напрочь отсутствовало то духовно искажённое, негативно-советское обличье, которое так изуродовало не только жизнь, но и самих людей российской деревни. Это были люди, жившие другой, прошлой жизнью, и советская действительность их как бы не коснулась, не сумела искорёжить их духовный облик. Старые лица были благородно красивы, живые глаза светились мудростью и добротой. Несмотря на убогую бедность, а иногда и откровенную нищету, несмотря на страдания, которые им наверняка пришлось пережить за свою долгую жизнь, в них совсем не проявлялись обозлённость, мелочное брюзгливое недовольство или старческая сварливость. Зато явственно ощущалось некое мощное духовное свечение, вызывающее глубокое почтение и даже некоторую робость. Все они были глубоко и истинно верующими людьми, без налёта какого бы то ни было фанатизма, скромно и

с достоинством несли свой жизненный крест. Среди простых людей таких благородных стариков в советской действительности я больше никогда не встречала.

В одной из заонежских деревень нам сказали:

— Если вы собираете старину, зайдите к соседям, у них много старинных книг. Сам хозяин очень старый и слепой, книги ему уже и не нужны, может, отдаст вам.

Мы зашли. Старая, покосившаяся избёнка поражала бедностью. Голый деревянный стол, лавки, скупая деревенская утварь. В углу икона. Над столом длинная доска в виде полки, вся заставленная книгами. Хозяин общался с нами с удовольствием. Мы засиделись. На ощупь он снимал с полки одну книгу за другой, любовно оглаживая их и любезно позволяя нам рассмотреть и познакомиться с каждой. Книги были уникальны. Большие, толстенные тома, в дощатых переплётах, обитых тиснёной кожей, с декоративными металлическими замками, они относились в основном к 17–18 веку, но были среди них и очень ранние, даже рукописные, почти все религиозного содержания.

— И вы все эти книги читали? — спросила я с удивлением, не понимая, что может быть интересного в их содержании для простого крестьянина и как он разбирает старославянское письмо.

— А как же? — спокойно ответил старик. — Всю жизнь перечитываю, с большим удовольствием. Очень содержательные книги. Вот эта, например, переписка Никона с Питиримом, несколько раз её читал. Очень интересно, хорошо написано.

Мы сказали о цели своего визита. Старик, подперев рукой голову, задумался.

— Мне, конечно, жить уже недолго осталось. И старуха моя тяжело больная, дай бог, год этот протянет, а детей у нас нет. Так что оставить книги некому. Но расстаться с ними мне уж очень тяжело. Хоть и не вижу и читать не могу, а всё общаюсь с ними. Возьму в руки, полистаю, как друзья они мне. Что без них делать буду?

Голос у него дрогнул, он заволновался.

— Приезжайте года через два, тогда отдам вам, чтоб не пропали зазя. Уж не обессудьте.

Мы заехали в эти места с друзьями через три года. Хозяева умерли, заколоченный дом почти рухнул. Судьба книг осталась неизвестной.

Проезжая по Новгородчине, мы попали в большую деревню, в центре которой возвышалась белокаменная церковь. Остановившись, мы подошли к ней. Над входом висела большая надвратная

икона, очень необычная и выразительная, с редко встречающимся сюжетом — «Троица». Мы стали её рассматривать. Подошёл батюшка. Судя по всему, наше рассматривание ему не понравилось, и он не очень доброжелательно спросил, кто мы и почему так «непочтительно» разглядываем святыню.

Август представился, сказал, что мы художники и нас интересуют иконы как произведения искусства.

Батюшка был крупным, полным, представительным мужчиной, с сытым, холёным, розовым лицом, держал себя важно, и мы явно пришлось ему не по душе. Но, узнав, что мы «художники», вдруг проявил интерес.

— А реставрировать иконы вы умеете? — спросил он.

— Вообще-то мы не реставраторы, — ответил Август, — но кое-какие навыки имеем. Смотря какая реставрация. Надо посмотреть.

Батюшка показал нам несколько икон.

— Их очень любят мои прихожане, — пояснил он, — надо бы их подновить, почистить, закрепить, кое-где вот осыпаться стали. Я вам заплачу. Уж не знаю, сколько времени вам на это понадобится, но у нас при церкви для паломников и божьих странников что-то вроде гостиницы имеется. Там ночевать сможете, а кормить попадья будет. Выручайте, а то у нас тут художников и в помине не бывало.

— Деньги нам не нужны, — сказал Август, — а вот если у вас есть ненужные иконы, мы бы их взяли.

Батюшка пренебрежительно махнул рукой.

— На колокольне полным-полно, куда и девать не знаю. Слазьте потом сами и выберите. И на что вам? Они все черные, не видно ничего.

Нам пришлось съездить в Новгород, и на это ушёл целый день. Мы закупили там рыбий клей, даммарный лак, спирт и скальпели, а краски и кисти были у Августа в этюднике, который он всегда брал с собой. Работали мы прямо на улице, в церковном дворе, за большим деревянным обеденным столом с лавками, предназначенным для паломников. Погода стояла тёплая, сухая, солнечная, и мы занимались делом с удовольствием. Батюшка часто подходил к нам, наблюдал и пытался завязать разговор, который никак не получался. Он был совсем неинтересным человеком, даже примитивным и малообразованным, считал себя обиженным, сетовал на притеснения властей, на то, что в школе недолюбливают его сына и ставят ему плохие оценки, потому что он сын священнослужителя, а мальчик умный, но дорога ему одна — в духовную семинарию, а хотелось бы в светский инсти-

тут. Мы его явно раздражали, были для него слишком чужеродны. Особенно его шокировало, что во время работы мы курим. Он не выдержал и заметил недовольно:

— На святые лики смотрите, а богопротивное творите. Нельзя так.

Мы стали делать перерывы, чтобы покурить в сторонке.

У батюшки было большое добротное хозяйство, которым он гордился, но сам не занимался, всё делала попадья, с которой он обращался как с прислугой. У меня сложилось впечатление, что он маялся от безделья, бесцельно по-барски слоняясь по двору вокруг храма. В течение дня не раз он «менял туалеты» — утром в зелёном с позолотой одеянии, вечером — в красном, а два-три раза даже в белом. В черной рабочей рясе мы его и не видели. Может быть, так и надо было по церковному уставу, но у нас это вызывало улыбки, особенно, когда он в своём сверкающем облачении брал в руки метлу и, демонстративно несколько раз помахав ею при входе в церковь, вновь начинал важно вышагивать по двору.

— Ну вот, — сказал ему Август, когда мы всё закончили, — можете их повесить на место.

— Ну, нет, — ответил батюшка, — после того, как вы к ним прикасались, нельзя их в храм вешать, освятить надо.

И вновь переодевшись, он расставил иконы у входа в церковь и стал их освящать, торжественно помахивая кадилом.

Работой нашей он остался доволен и слово своё сдержал — мы уехали оттуда с несколькими иконами.

В эту же поездку нам довелось познакомиться совсем с другим батюшкой. В пути мы увидели в стороне над лесом необычную, высоченную разветвлённую мачту. На атрибут военного городка она не была похожа, и мы решили подъехать к ней, свернув на узкую просёлочную дорожку. Она привела нас в небольшую деревню. В центре, типа площади, стояла деревянная церковь, а рядом возвышалось необычное сооружение, которое и привело нас сюда. Тут же, на площади, высокий, худой батюшка в чёрной рясе азартно футболил мяч с кучей мальчишек. Они прервали игру, с любопытством окружили нас, мы познакомились и разговорились. Батюшка был молодым, лет тридцати пяти — сорока, с живым, весёлым выражением лица, а разговор его был совершенно светским и городским. Обнимая за плечи сгрудившихся вокруг него ребяташек, он рассказал, что это всё его собственные дети, а в ответ на наше удивление, когда он успел столько сделать, рассмеялся — это, мол, дело нехитрое. Сам он оказал-

ся ленинградцем, бывшим телевизионным мастером, жена его тоже горожанка, с высшим филологическим образованием. В этой глухой деревеньке они живут в полном согласии с окружающим миром и очень счастливы. Странное сооружение оказалось телевизионной антенной, которую батюшка самолично придумал и водрузил.

— Без телевизора нельзя, надо же знать, что в мире делается, а у нас тут плохо принимало, зато теперь мы не оторваны от всех остальных, — пояснил он.

Батюшка радушно согласился показать нам церковь. Он прекрасно понял наш интерес к иконам, но тут же заметил, что церковь поздняя и старинных икон нет. Внутри было опрятно и уютно. Я вообще больше люблю деревянные церкви, они как-то теплее, интимнее, и в них, по-моему, Бог ближе к человеку.

— Вы сами-то крещёные? — полюбопытствовал батюшка.

Мы отрицательно покачали головой. Лицо его выразило сочувствие. Пока я ходила по церкви и рассматривала иконы, у них с Августом завязался разговор об отношении к вере, об искусстве, о человеческой душе. Под конец батюшка сказал:

— А вы ведь, наверное, и не подозреваете, что как раз и являетесь верующим человеком, в отличие от тех моих бабулек, которые здесь бьют об пол неистовые поклоны.

Это замечание нас поразило, а Август был явно польщён. На прощание батюшка заметил:

— Надо вам всё-таки креститься, очень советую.

Этого батюшку мы впоследствии часто вспоминали, но совет его так и не исполнили.

Собранные иконы мы привозили в город и раздавали и дарили их знакомым художникам, а самые любимые оставляли себе. Несколько икон мы продали, когда оказались в материально бедственном положении.

По возвращении из поездок мы неделями по вечерам приводили иконы в порядок. И это было тоже захватывающе увлекательное занятие. После снятия тёмного слоя старой олифы, которой покрывали раньше иконы, на глазах происходило чудодейственное преображение: почти чёрная доска, на которой иногда даже трудно было распознать сюжет, становилась благородным в патине своего времени иконописным духовным творением во всей мощи своей красоты. Ещё более захватывающими были открытия, связанные с позднейшими записями. Август всегда очень тщательно изучал саму доску, которая и являлась главным показателем времени создания иконы. Иногда он говорил:

— Доска очень старая, рубленая, с ковчегом, а письмо позднее. Рискнём?

Он брал в руки скальпель и крайне осторожно счищал кусочек живописи, где-нибудь с краю. И тут, к несказанной нашей радости, обнаруживалось другое письмо, более раннее, иногда даже совсем другого сюжета. И мы долго и осторожно, сдерживая рвущееся азартное нетерпение, открывали истинный, первозданный облик иконы.

Консультировал нас по реставрации икон художник Михаил Звягин — страстный коллекционер. У него была лучшая коллекция икон в городе. Будучи человеком осторожным и боязливым, он редко кого допускал в свою святую святых, но нас как-то пригласил. Иконами, поистине уникальными, были увешаны все стены квартиры. Они были в прекрасном, любовно и профессионально отреставрированном состоянии и, без сомнения, представляли собой большую ценность — все не позднее 15–16 века, яркие, нарядные, праздничные. В отличие от Звягина, предпочитавшего средне— и южнорусскую иконопись, Август больше ценил северное письмо — строгое, даже суровое, и часто не каноническое, может быть, именно потому, что мы, в отличие от других коллекционеров, не приобретали иконы за деньги или путём обмена, а находили их сами, в северных районах, и с каждой иконой была связана своя история и свои воспоминания.

Наши летние и осенние поездки-путешествия стали традиционными и продолжались на протяжении многих лет. Одну из таких поездок мы совершили на двух машинах вместе с Реней и Наташей Френц и Олей Заботкиной и её первым мужем Серёжей. У Френцев тогда машины ещё не было, и они изрядно помучились на заднем сиденье нашей «Победы» рядом с Вардом, который всей своей тяжёлой массой наваливался на Реню, а тот, недовольно шипя, отталкивал его локтем или щипал. Попутно решили навестить Анастасию Васильевну. Она приняла нас радушно, и мы вшестером с удовольствием расположились в уже знакомой нам светёлке. Вард ночевал в машине.

На другой день рано утром я спустилась вниз к Анастасии Васильевне, чтобы позаботиться о завтраке.

— Наташа, — с чуть испуганными глазами обратилась она ко мне. — А чем это Оля таким странным занимается? Спозаранку смотрю, она вся в чёрном костюме, таком в обтяжку, у стенки ногами дрыгает. Физкультура такая, что ли?

Я рассмеялась.

— Балерина она, Анастасия Васильевна. Работает, форму боится потерять.

— А-а! — понимающе протянула та. — Балерина, значит. Надо же!

После завтрака мужчины отправились на рыбалку, а мы в лес за грибами. Перед уходом я обратилась к Анастасии Васильевне:

— Вы нам сварите к обеду картошку, ладно? А ужин мы сами приготовим.

Она согласно кивнула.

— Только сначала зайдём на почту, мне надо отправить маме телеграмму, чтобы она не волновалась, — попросила Оля.

На почте работали две совсем молоденькие девушки. Они протянули по просьбе Ольги бланк и, пока она его заполняла, внимательно разглядывали её, а потом, пошептавшись, одна из них сказала:

— Ой, вы так похожи на артистку Заботкину.

Мы переглянулись. Сказать или не сказать? Я сказала:

— А это она и есть.

От изумления они сначала онемели. Потом недоверчиво спросили:

— Шутите, да?

Оля сдержанно улыбнулась.

— Да я это, девочки, я.

Под их восторженное верещание мы покинули почту и, размахивая корзинками, отправились в лес. Бродили мы долго, даже слегка поплутали в незнакомом лесу, поэтому домой возвращались, когда уже начало темнеть.

Изба Анастасии Васильевны светилась всеми окнами, а у крыльца столпились все немногочисленные местные жители. Все они ждали Ольгу. Эти люди не умели говорить о своих чувствах и расточать комплименты. Мужчины просто, не смущаясь, глазели на неё, некоторые чинно протягивали и пожимали ей руку, а женщины удивлённо ахали, качали головами и что-то приговаривали. Анастасия Васильевна, принарядившаяся и оживлённая, вышла на крыльцо и прикрикнула на них:

— Ну, чего уставились? Дайте пройти человеку! Устала, небось, да голодная? Целый день по лесу-то шастать. Идите, идите по домам, нечего вам тут...

А когда мы вошли в сени, она, сначала всплеснув руками, а потом, приложив их к щекам, воскликнула:

— Ну, как же я, дура старая, не узнала-то тебя сразу?! Ведь ты же любимая моя артистка! По несколько раз фильмы твои смотрела, всё налюбоваться не могла. Да разве ж мне могло прийти такое в голову! Как же я рада-то, господи...

Ольга звонко смеялась, потом обняла нашу хозяйку, расцеловала её и сказала:

— Я тоже очень рада знакомству с вами.

Из горницы вышел Август.

— Вы загулялись. Мы уже начали беспокоиться, уж не заблудились ли. Стол накрыт, и гости ждут.

Нас, действительно, ждал празднично накрытый стол и трое или четверо гостей, судя по всему, из местного избранного общества. Один степенный мужчина, кажется, был начальником МТС. Оля была, конечно, в центре внимания, охотно отвечала на все расспросы, была проста, мила и обаятельна. Кто-то из гостей стал заводить патефон и перебирать старые пластинки.

— Давай нашу, русскую! — велела Анастасия Васильевна и, хитро прищурившись, обвела нас взглядом: — Небось, наши танцы народные танцевать-то не умеете?

— Как это не умеем? — возразил Август. — Очень даже хорошо умеем. Вас на конкурс вызвать можем. Ну, кто не боится принять участие?

Френцы, я и Серёжа отказались, мы, действительно, народных плясовых танцевать не умели.

Серёжа шутливо отговорился:

— Мы будем членами жюри.

Все остальные задорно встали в круг. Иголка зашипела, зазвучала «Барыня», и пошёл пляс-перепляс. Скоро Август и Оля остались вдвоём. Оля танцевала темпераментно, помахивала платочком, подбоченьясь, кружилась и наклонялась — в общем, всё делала по правилам, как танцуют на сцене в народных ансамблях. А вот Август поразил нас всех. Я так просто глазам своим не верила. Он танцевал так пластично естественно, так душевно и природно органично, с таким по-настоящему народным артистизмом, как будто сызмала отплясывал на деревенских хороводах. Их наградили дружными аплодисментами, а затем обменялись впечатлениями.

— Ты, Оленька, конечно, танцуешь хорошо, очень правильно. Так тебе и положено как балерине, — поделилась своим мнением Анастасия Васильевна. — Но за душу твой танец не берёт. Сердца в нём нет. Ты уж не обижайся. А вот Август Васильевич — орёл, душа у него наша, народная. А ведь поначалу-то, на него глядя, ни за что так не подумаешь. Надо же!

— Да уж! — уважительно произнёс Серёжа. — Поразил ты нас, Август. А я-то тебя принимал за рафинированного интеллигента.

И укоризненно добавил:

— А ты, заслуженная артистка, что же так подкачала? Ай-я-яй! Итак, победителем объявляется Август Ланин!

Мы дружно посмеялись и заплодировали.

При расставании Анастасия Васильевна каждому из нас преподнесла заранее ею приготовленный подарок. Нам, трём женщинам, каждой по иконе, Августу — фаянсовое блюдо фабрики Кузнецова с изображением герба и датой: 1883 год. Что она подарила Серёже и Рене, не помню. Всё-таки она была удивительной женщиной!

Как и мы с Августом, Оля искренне полюбила её, послала ей свою фотографию в роли цыганки из фильма «Дон Сезар де Базан» с дарственной надписью, а потом ещё раз как-то навестила её.

После этой поездки Ольга тоже увлеклась собиранием икон, и мы ещё не раз ездили вместе с ней по Северу. Последний раз, уже с её вторым мужем Славой Самсоновым, мы побывали в прекрасных местах Новгородской области, тогда ещё глухих и малодоступных.

* * *

Общение со знакомыми и друзьями-художниками у нас складывались несколько странным, необычным образом. Мы находились с Августом как бы между двух дорог, которые никак не хотели и не могли соединиться, потому что вели в разные стороны, а нас привлекали они обе, но каждая по-своему.

С одной стороны, — самоотверженное служение и полная отдача искусству в самом высоком понимании этого слова, а потому пренебрежение к материальной стороне жизни, бытовой культуре, семейным радостям и житейским удовольствиям. Люди, идущие этой дорогой, привлекали сердца, но почему-то (и это для меня так и осталось загадкой) почти все они страдали очень серьёзными нравственными и общекультурными изъянами, были ущербны в жизни домашней и общественной, производили порой просто убогое и отталкивающее впечатление плохими манерами, запущенной неряшливостью, дурными привычками и нарочито вызывающим неуважением к этическим и эстетическим нормам человеческого общежития.

На другой дороге — респектабельность, благопристойность и благовоспитанность, культурные и нравственные устои и традиции, уважение к окружающим, чувство ответственности за судьбы близких и родных и много светского шарма и человеческого обаяния.

Но при этом — покорно-соглашательская лояльность во всех общественных делах и чисто обывательское понимание жизненных целей, всепоглощающее стремление к максимальному бытовому комфорту и материальной достаточности, которая позволяла получать радость и удовольствия от земной жизни.

Как совместить лучшее, что есть в этих двух способах жизни? Это было трудно, но возможно, и мы с Августом протаптывали свою, узкую тропинку жизни. От скатывания в ту или другую крайность нас спасала поразительная трудоспособность Августа, которой поражались все окружающие. Он преподавал и выполнял договорные заказы через Художественный фонд, что позволяло нам существовать безбедно, а параллельно напряжённо творчески работал, и эта работа была «в стол», без какой-либо надежды на публичное представление и признание. Он уходил из дому рано утром в институт, а возвращался из мастерской далеко за полночь. И так много и много лет.

В 1967 году начала работать и я. Моя трудовая биография имеет случайный и бессистемный характер и, наверное, производит странное впечатление: помощник режиссёра на Ленинградском телевидении, мастер в комбинате декоративно-прикладного искусства Художественного фонда, редактор, а затем руководитель группы в отделе научно-технической информации института Ленгипроводхоз (такой отдел, имевшийся в каждом советском НИИ, по своим функциям соответствовал современным пресс-службам и отделам PR и рекламы) и, наконец, учитель русского языка и литературы в школе. Подобный разброс объясняется тем, что я не искала целенаправленно своего места в жизни — точнее, уже нашла, и оно заключалось в том, чтобы быть женой художника Августа Ланина — и не пыталась профессионально самоутвердиться. Я искала работу, удобную для уклада моей семьи. Но на любом месте я всегда работала добросовестно, ответственно и увлечённо, поэтому, когда я подавала вдруг заявление об уходе в связи с семейными обстоятельствами, начальство всякий раз долго уговаривало меня передумать и пыталось сделать всё возможное, чтобы удержать меня: обещало повысить зарплату, перевести на более высокую должность, предоставлять отпуск за свой счёт, даже помочь найти няню и домработницу. Это поднимало самоуважение, льстило самолюбию, но никогда не оказывало влияния на моё решение. Семья была для меня всегда самым главным в жизни.

На телевидении я проработала недолго, около года. Пришла туда в начале 1967 года, как раз после разгрома в литературно-

драматической редакции, когда были уволены и главный редактор, и ведущие журналисты за целый ряд довольно свободомыслящих передач, хотя сегодня эта расправа выглядит совершенно нелепой. Так, например, страшный гнев начальства вызвала беседа с писателем Владимиром Солоухиным, в которой он подвергал критике многие советизмы в русском языке, в частности, обиходное обращение «товарищ», и предлагал возродить забытые русские слова типа «сударь» и «сударыня». Желание очеловечить нашу жизнь, избавиться от казённого налёта в общении и дурного советского вкуса было воспринято чуть ли не как угроза общественному строю. Но хотя творческая инициатива и свобода мысли были властно пресечены, дух бунтарства ещё тлел, правда, только в кулуарных беседах, а вот интересных, содержательных передач и спектаклей уже почти не осталось, а потому не осталось и ярких впечатлений и воспоминаний.

Одним из ведущих режиссёров в редакции являлся Александр Белинский. В среде телевизионщиков он вызывал о себе противоречивые суждения. Одни считали его человеком талантливым и оригинально мыслящим, другие иронизировали в отношении его способностей, возможно, завидуя тому, что с ним никогда не отказывались работать самые известные и талантливые актёры ленинградских театров. Именно это обстоятельство, а не режиссёрский талант, утверждали его критики, и создаёт ему успех. Его бурный напор, амбициозность, стиль работы взхлёб тоже подвергались нападкам. Помню, Володя Лавров насмешливо заметил:

— Он и за Достоевского возьмётся не моргнув глазом и слепит спектакль за месяц, как свой очередной «шедевр».

Тогда это казалось очень смешной шуткой. О том, что на телевидении ещё будут делать развлекательные сериалы «по Достоевскому», мы не догадывались...

Трудно сказать, насколько справедливы были те или другие оценки способностей этого человека как режиссёра, но, как личность, он, безусловно, был фигурой яркой и своеобразной. Его выступления по понедельникам на общетелевизионной утренней «летучке» всегда отличались не только блестящим остроумием, но и меткой, часто едко сатирической, смелой критикой и дельными соображениями и предложениями. И зал всегда нетерпеливо ждал его выступлений и бурно, одобрительно на них реагировал. Он был неудобным человеком, но с ним считались и его побаивались в силу авторитета, который он имел в театральных кругах.

Когда его неизменный помощник Инна Осипова получила повышение, главный редактор Юрий Васильевич Коробченко вызвал меня к себе и сказал:

— Белинский хочет, чтобы вы стали постоянно работать только с ним.

Обрадованная, я согласилась. Но Август этому категорически воспротивился.

— Я его знаю. Он не пропускает ни одной юбки, ты с ним работать не будешь.

— Но как же я теперь откажусь? Это неудобно, да и невозможно.

— Значит, надо искать другую работу, — заявил Август, который, как выяснилось, оказался мужем ревнивым и подозрительным.

Помню ещё одну ситуацию, с одной стороны, забавную, а с другой, в чём-то показательную. Как-то нас собралось несколько человек в одном из кабинетов редакции. Моя коллега, Жанна Скверчинская, любившая подначивать людей, задумчиво поглядывая на меня насмешливыми глазами, произнесла:

— А что, ребята, наша новенькая, вполне свой человек. Ей можно доверять, да и работает она хорошо, старательно, с огоньком. Вот только есть у неё один, очень значительный изъян. Вы, конечно, понимаете меня?

Остальные с любопытством переглянулись и в ожидании шутки оживились.

— Вот чем эта женщина отличается от нас? — продолжала с деланным осуждением Жанна. — Наташа, ты как сама думаешь?

Понимая, что это розыгрыш, я растерянно пожала плечами, лихорадочно соображая, что же она может иметь в виду.

— Она не умеет...чего? — окидывая всех многозначительным взглядом, допытывалась Жанна.

Тут все догадливо заулыбались и хором выпалили:

— Ругаться матом!

— Точно! — подняла вверх указательный палец Жанна. — Это непрофессионально. И мы, как опытные товарищи, должны ей в этом помочь. Займёмся?

Все со смехом закивали головами.

— Начнём с азов. Ну, Наташа, повторяй за нами.

И они начали со вкусом, дружно, в один голос, диктовать столь сакраментальные для души русского человека слова и выражения, приглашающе приговаривая:

— Ну же, повторяй, ну, давай же! Да не красней ты! Ну! Смелее!

Веселились они громко и от души. Я смеялась вместе с ними, краснела, но ни одного из этих слов так и не произнесла, просто никак не могла этого сделать по какому-то органично физическому состоянию.

Наконец они успокоились, осознав бесполезность своих попыток.

— Безнадёжна! — подвела итоги их усилий Жанна, но в её глазах и глазах остальных я уловила уважительное удивление.

Меня никогда не шокировал мат, и я не осуждаю тех, кто им пользуется, но при одном условии: если это делается артистично, выразительно, от души и к месту. В противном случае, мат вызывает омерзение, свидетельствуя, на мой взгляд, о низменности и пошлой примитивности того, кто его употребляет.

* * *

Долгое время у нас с Августом не было телевизора, и когда я работала на телевидении, то передачи, в которых принимала участие, если они не шли в прямом эфире, бегала смотреть к Крестовским.

Вскоре после предложения Белинского стать его помрежем Роза меня спросила:

— А ты не хотела бы поменять работу? У нашего приятеля, художника Вовы Прошкина, жена Галя работает референтом главного художника в Комбинате декоративно-прикладного искусства и ищет человека на должность мастера творческого отдела. Работа с художниками, и зарплата неплохая. Тебе, как жене художника, было бы интересно.

Я готова была согласиться, но возникало одно «но» — я снова забеременела.

— Получится некрасиво, полгода поработаю, а потом уйду в декрет — неудобно как-то, — сказала я Розе. — Не хочется подводить вашу приятельницу.

Однако на следующий день Роза позвонила мне и сказала:

— Знаешь, Галю это не испугало. Вам надо с ней встретиться и поговорить. Запиши её телефон.

Галина Карловна Звейник оказалась приветливым и доброжелательным человеком. Она просто и доходчиво объяснила мне суть будущей работы.

— Мастер — это посредник между заказчиком и художником-исполнителем. Вы заключаете с автором трудовое соглашение от лица Комбината и прослеживаете исполнение заказа. Участвуете в

заседаниях Художественного совета, который принимает и окончательно оценивает выполненную работу, ведёте протокол. Оформляете акт сдачи и приёма и выписываете зарплату исполнителю. Ничего сложного в этой работе нет, но требуются честность и аккуратность, потому что имеют место финансовые документы. Сейчас договоров мало, мы только создали этот участок, поэтому будете входить в курс дела постепенно и без напряжения. Но мы надеемся, что со временем заказов будет много, спрос на декоративное оформление растёт. Кроме того, вы будете курировать группу дизайнеров, которые входят в штат Комбината, их всего десять человек. Промышленная эстетика — дело абсолютно новое, но очень перспективное. Так что, соглашайтесь! Работа интересная.

— Но Роза, наверное, поставила вас в известность... — решила ещё раз предупредить я о будущих затруднениях.

— Ничего страшного. Главное, чтобы после декретного отпуска вы вернулись, а на это время я вполне могу вас подменить. Дети — это самое главное... Буду с вами откровенна. Для работников Комбината художники — источник зависти. Суммы договоров вызывают раздражение, и оно сказывается на характере общения и обслуживания. Большинство художников мало что смыслит в финансово-деловых бумагах и отношениях, а потому и сметчики, и бухгалтерия шпыняют их почём зря. Я сама жена художника, а потому искренне сочувствую, когда им приходится сталкиваться с хамством и недоброжелательством. Мы ищем человека, с которым у художников будет взаимопонимание. Вы нам подходите.

В Художественном фонде я проработала несколько лет, и только когда мама по состоянию здоровья не смогла больше сидеть с моим маленьким сыном, мне пришлось уволиться. Работа эта была действительно интересной, соответствовала моему характеру и подарила мне много жизненных наблюдений и знакомство со многими незаурядными людьми.

Случилось так, что начало моей работы в Комбинате ДПИ совпало с новыми ветрами, которые подули в Союзе художников. Там прошли перевыборы, и в руководстве этой организации появилось много новых людей. Самые радикальные изменения претерпела секция ДПИ. Переворот, который в ней произошёл, в ЛОСХ шутливо окрестили «заговором чёрных полковников», по аналогии с недавними политическими событиями в Греции, где к власти пришла военная хунта. Под «чёрными полковниками» подразумевались новые члены бюро секции и, в первую очередь, ставший её председателем

Игорь Оминин и его заместитель Саша Скрягин, возглавивший Художественный совет в Комбинате ДПИ.

Заговор, действительно, существовал, и готовился он исподволь, долго и тщательно во всех секциях. Во многие его детали нас посвящал вечерами на кухне Ярослав Крестовский, который принимал в нём активное участие от живописцев. Деятельность секции ДПИ в те годы в жизни ЛОСХ была незначительной, а художники-прикладники не играли особой роли. Царицей искусства считалась живопись, именно секция живописцев была самой многочисленной, авторитетной, но и самой вялой и консервативной, а потому «штаб» заговорщиков возглавил Игорь Оминин — прикладник, промграфик.

— Художник-то он так себе, — характеризовал его Слава, — но мыслит широко и современно. Очень головастый мужик и очень деловой.

— По-моему, очень неприятный, — возразила я, вспомнив свои впечатления от встреч с этим человеком у Жоры Песиса и в Усть-Нарве, где Омнины отдыхали по соседству.

— Возможно, — согласился Крестовский. — Он, конечно, нагловат, хамоват и циничен, но в политических играх без этого нельзя, а тут он — просто асс!

Позднее я изменила своё мнение об Омине и даже прониклась к нему некоторым уважением, не столько от личного общения, которое всегда оставляло почему-то мутный осадок, сколько от его деятельности в ЛОСХ и Художественном фонде. При нём секция ДПИ расцвела, расширилась и пополнилась за счёт большого притока молодых и талантливых художников и стала играть важную и существенную роль в творческой жизни Союза.

* * *

Если первое время на своём рабочем месте в Комбинате ДПИ я откровенно скучала и занималась тем, что училась печатать на машинке и считать на счётах, что было необходимо уметь из-за специфики работы, то через два-три месяца я уже крутилась как белка в колесе. Заказы вдруг повалили как из рога изобилия, и я еле успевала оформлять документы. Декоративно-прикладное искусство и промышленная эстетика активно входили в моду. В домах культуры, кафе и ресторанах выбрасывали фикусы и пальмы, снимали старые картины в багетных рамах и заменяли их расписными тканями, керамикой, витражами, деревянными панно и де-

коративным металлом. Я с удовольствием ходила по мастерским, отслеживая сроки исполнения заказов, общалась с самыми разными художниками, но больше всего любила дни заседаний Художественного совета, которые проводились раз в неделю. Советов было три: по промышленной эстетике, по сувенирам и самый главный — по интерьерам, руководил которым Александр Георгиевич Скрягин. В состав художественных советов входили авторитетные, мастеровитые и влиятельные художники, а следовательно, и личности непростые, оригинальные.

Одной из самых колоритных фигур в интерьерном совете была Таисия Семёновна Воронежская. Она покорила моё воображение при первой же встрече. Ей было тогда не меньше сорока пяти лет. Её внешний облик впечатлял: видная, броская, грузная. Почему-то мне сразу стало ясно, что эта женщина — личность крупная, индивидуально нестандартная, не укладывающаяся ни в один человеческий типаж. Крупным в ней было всё: голова, черты лица, фигура, руки, ноги. Но она не была мужеподобной, а своими величественными манерами, покровительственными интонациями глубокого грудного голоса походила на вкрадчивую, но очень властную восточную царицу. Свои чёрные, почему-то всегда сальные волосы, она укладывала в небрежный низкий пучок, а платья носила тесные, обтягивающие её полную, расплывшуюся, складчатую фигуру. Казалось, что она не только совершенно не придаёт значения своей внешности, но чуть ли не сознательно подчёркивает её изъяны.

На первом же заседании она села рядом со мной, широко и удобно разложив на столе свои большие, с крутым валиком у кистей руки, и, снисходительно-заинтересованно бросив на меня взгляд пронизательных чёрных глаз, медовым голосом почти пропела:

— Вы наш новый мастер? Очень приятно. А я Таисия Семёновна Воронежская, — и она раздвинула свой рот в приветливо-змеиной улыбке.

— Мне тоже очень приятно, — пробормотала я как-то робко, такая подавляющая аура исходила от этой женщины.

В тот же день вечером мы смотрели у Крестовских по телевизору чемпионат мира по фигурному катанию — всеобщему тогда увлечению. Потом пошли на кухню пить чай.

— Как работаете на новом месте? — полюбопытствовал Слава.

— Сегодня познакомилась с Художественным советом. Было интересно. А что такое — Воронежская? Она произвела на меня сильное впечатление.

Роза многозначительно улыбнулась, а Слава воскликнул:

— Тайка-то? О! Это умная баба и талантливая.

Но Роза предупредила:

— Ты будь с ней осторожнее, у тебя слишком открытый характер, а она человек коварный и опасный.

— Чем же?

— Сама потом поймёшь. Не дай Бог тебе иметь такого врага.

К счастью, прогноз Розы не оправдался, и у нас с Воронежской сложились самые хорошие, сердечные отношения, хотя человеком она была, действительно, сложным и недобрым.

Известно, что, выбирая круг общения, мы часто стоим перед дилеммой: кто лучше — добрый, но безликий дурак или умная, талантливая сволочь. Дилемма эта, конечно, в принципе неразрешимая и слишком однозначно-прямолинейно сформулированная, но тем не менее с ней приходится сталкиваться. Умный и одновременно добрый человек — это мудрый человек. А если он ещё и талантлив, то это величайшая редкость. Таких слишком мало, и на моём жизненном пути среди своих знакомых, по большому счёту, я встретила только одного такого человека — Моисея Самойловича Кагана, о котором тоже постараюсь рассказать. Что же касается остальных, то в своём выборе я всегда предпочитала умных и талантливых. Сначала инстинктивно, по зову сердца, с годами осмысленно, ибо пришла к выводу, подтверждающему, что «сон разума рождает чудовищ», а бездарная серость опасна, агрессивна и безжалостна.

Талант Воронежской был мощным, размашистым, безудержным и неженским. Такими же были её ум и характер. Это делало её на редкость органичной личностью, и я в неё просто восторженно и подетски влюбилась. Даже её распушенная внешность вызывала у меня восхищение, из неё просто выпирало плотоядное, чувственное, животное начало сильного зверя. Она его не стеснялась и не скрывала, как и не скрывала своих острых и язвительных мнений в отношении окружающих, которые высказывала громко и довольно бесцеремонно. Её побаивались все, а многие откровенно ненавидели, но никто не мог отрицать её художественного таланта, и это делало её в среде художников неуязвимой.

Первое время Воронежская была со мной предупредительна из-за моей должности, от меня всё-таки зависело, насколько быстро и внимательно я оформлю все её денежные дела, каким образом охарактеризую её авторские возможности перед лицом заказчика. Она, безусловно, подметила, как быстро и по-дружески стали развиваться

мои отношения с членами Художественного совета и, особенно, с его председателем Сашей Скрягиным. Ну, а кроме того, я была женой художника, а следовательно, мы вращались в одном кругу. Но всё это могло и не играть никакой роли, если бы у неё не возникла ко мне чисто человеческая симпатия. Толчком к ней, очевидно, послужило моё собственное чувство к ней. Я его не высказывала и не демонстрировала, но Таисия Семёновна безошибочным чутьём наверняка ощутила моё бескорыстное восхищение.

На заседаниях совета мы с ней сидели рядом. Чаще всего, бросив несколько быстрых взглядов на представленную к утверждению работу, она, опустив голову, начинала что-нибудь рисовать фломастером или ручкой на листе бумаги, прислушиваясь к тому, какие мнения и оценки высказывают остальные члены совета. Если работа была заурадной, но вполне профессиональной, предназначалась для второстепенного объекта и мнение большинства склонялось к тому, чтобы принять её, Воронежская подчёркнуто равнодушно, небрежно роняла:

— Мне нечего сказать.

Это было похоже на лёгкую пощёчину: мол, работа так себе, внимания не заслуживает, но, Бог с ней, пусть будет — особого художественного ущерба не нанесёт, а ведь автору тоже кушать надо.

Но если ей что-то активно не нравилось, она проявляла принципиальное упорство в отклонении работы и очень аргументированно отстаивала свою точку зрения, всегда сумев убедить остальных, даже несмотря на то, что минуту назад они придерживались другой позиции.

Бывали и такие случаи, что она не могла позволить себе прогослововать против, когда, скажем, художник-исполнитель был мужем или женой какого-либо влиятельного лица, а иногда и само это лицо. Тогда Таисия Семёновна с презрительно-каменным выражением на время покидала заседание, и все вздыхали с облегченной совестью.

Правом голоса на художественном совете я не обладала, если только речь не шла о делах производственных: сроках, расценках, претензиях заказчиков и распределении заказов. Но я всегда с интересом всматривалась в заказные работы и с обострённым вниманием слушала высказывания и мнения о них членов совета, сверяя собственные впечатления и оценки. Это была лучшая искусствоведческая школа, и через некоторое время я с чувством удовлетворения отметила, что мои собственные внутренние замечания и впечатления совпадают с мнениями профессионалов.

Неожиданно возник широкий интерес к гобеленам — ремеслу почти совсем забытому. Текстильщики принялись за его активное возрождение. Гобелены тяготели к монументальному искусству, в отличие от расписных тканей, их жизнь была долголетней, они были дорогостоящи и требовали высокого профессионального качества, а потому стали невероятно престижными. Все трудности и проблемы заключались в утраченных технологиях и мастерах-исполнителях, которых было с огнём не сыскать.

В один из дней на Художественный совет пришла пожилая преподавательница, доцент и заведующая кафедрой по текстилю училища им. Мухиной Сара Моисеевна Бунцис. Она принесла письмо-заказ от кукольного театра Демени с просьбой выполнить занавес и гобелен-задник для сцены. Вместе с ней пришли две её студентки как будущие помощницы-исполнители. Сара Моисеевна ввела меня в курс дела, отдала мне письмо, и они остались ждать в коридоре. Тут их увидела Воронцовская. Она помрачнела, напряглась и в глубокой задумчивости стала усаживаться за стол. Члены совета уважительно и любезно приветствовали Бунцис, её знали как прекрасного педагога и уважали как человека. За ней сразу утвердили заказ, который она достала сама. И довольная, слегка возбуждённая, Сара Моисеевна тут же выставила большие эскизы. Они проходили с одобрением, почти на ура. Мне тоже понравились. Но Таисия Семёновна ещё не сказала своего слова. Когда наконец дошла её очередь, а она была предпоследней, так как последнее слово оставалось за председателем, я увидела Воронцовскую в новом для меня свете.

Не поднимая глаз, медленно она засучила рукава сначала на одной руке, потом на другой и, наконец, подняв тяжёлый взгляд, враждебно произнесла:

— Я не понимаю, почему мы, собственно, утверждаем этот заказ постфактум, нарушая регламент.

— Но, Тая, — попытался возразить Скрягин, — Сара Моисеевна — уважаемый человек, и она сама принесла этот заказ, он именной.

— Мало ли кто и каким образом достаёт заказы. Существует определённый порядок, а театр Демени — слишком важный культурный объект нашего города, чтобы отдавать его в любые руки. Ну ладно, здесь я в меньшинстве. Поговорим о представленных эскизах...

И дальше последовал беспощадный, тонко продуманный, тщательно взвешенный полный разгром. Члены совета растерялись. Бунцис побледнела как мел. Студентки стояли красные, опустив глаза. Все ждали, что скажет нахмуренный, явно рассерженный Скрягин.

— Мне очень жаль, Сара Моисеевна,— выдавил он. — Но Таисия Семёновна во многом права. Придётся ещё над эскизами поработать. Есть возражения? — и он обвёл глазами членов совета.

Возражений не было. Бунцис дрожащими руками стала укладывать эскизы.

По окончании заседания я подошла к Скрягину и спросила:

— Почему ты так поступил с Бунцис? Ведь эскизы были хорошими.

— Хорошими, — согласился он. — Но с Воронежской лучше не связываться, а то история эта могла закончиться ещё хуже. Отобрали бы у бедной женщины заказ.

— Но за что она её так?

— За что, за что! Тайка рвалась в Муху преподавать, а Бунцис встала насмерть, такая интриганка, говорит, нам не нужна. Сегодня это была месть чистой воды.

Теперь я поняла, о чём предупреждала меня Роза.

Один раз Скрягин с раздражением заметил:

— Тая, ну нельзя же так демонстративно обижать людей!

Она подняла свою тяжёлую голову, пристально посмотрела на него умными глубокими глазами и сказала:

— Я здесь не для того, чтобы поощрять бездарей и халтурщиков. Их и так более чем достаточно, и зарабатывают они, между прочим, больше, чем мы с тобой. По-твоему, это справедливо?

— Я не считаю чужие деньги, — резко ответил Скрягин.

— А напрасно, — заметила Воронежская. — Талантливый человек должен стоять дороже.

— У нас расценки для всех одинаковые.

— А вот потому я и предлагаю ввести коэффициент на качество.

Скрягин только махнул рукой и буркнул мне:

— Зови следующего.

Сам Скрягин — прикладник-дизайнер — не был наделён особым художественным талантом, но обладал благородным умом, требовательным художественным вкусом и объективным, широким восприятием чужого творчества. В качестве председателя Художественного совета он был на своём месте. В ЛОСХ и худфонде он пользовался большим авторитетом и уважением за свои деловые и организаторские способности, принципиальность и прогрессивные убеждения.

Саша был красивым крупным мужчиной с окладистой русской бородой и тонкими выразительными чертами лица. Меня в нём больше всего привлекали его человеческие качества, он любил

покровительствовать и помогать молодёжи и всем тем художникам, которые в этом нуждались, проявляя искреннюю доброту и душевную щедрость. Ценил в людях самые разные достоинства, умея найти и разглядеть их, снисходительно-добродушно закрывал глаза на мелкие недостатки, но откровенно не выносил наглую глупость и ложь. При столкновении с этим его лицо принимало надменно-холодное, безгливое выражение. Говорил он всегда лапидарно, негромко, даже тихо, но с очень весомо властными, иногда категоричными интонациями. Тем, кто его не знал или знал мало, он внушал робость и почтение, но те, кто знал его хорошо, привязывались к нему всем сердцем и навсегда. В его отношении ко всем людям, женщинам и художникам, была какая-то отцовская мудрость старейшины. Он всё понимал с полуслова, и работать с ним мне было не только легко, но и по-человечески приятно.

Как-то он неожиданно появился в Комбинате и велел быстро собрать документы по одному договору.

— Поедешь со мной, надо срочно принять работу на месте. Позвонил заказчик, у него финансовые неурядицы, необходимо до нового года перевести на наш счёт деньги.

— А остальные члены совета?

— Я с ними договорился, возьмёшь у них подписи для протокола задним числом.

Пока мы ехали с ним в его «Волге» к автору в художественную мастерскую, зашёл разговор о непредсказуемости человеческой судьбы.

— Сам не пойму, каким ветром меня занесло в искусство, — признался Саша. — Я ведь прекрасно понимаю, что художественного таланта у меня нет и шедевров мне не создать. Но я всё равно не жалею об этом. Чертовски люблю свою братию.

— У тебя столько времени занимает организационная работа в Союзе, заседания в худсовете. На творчество, наверное, и времени не остается, на других его тратишь. Зачем тебе это? Вот Августа на аркане не затащишь ни на какую официальную должность.

— Я над этим много размышлял в молодости и пришёл к выводу, что нельзя иметь над собой дураков. Если я, в отличие от них, знаю и понимаю, что и как надо делать, чтобы вышел толк, то и делать это надо самому. А дураков у нас, как ты понимаешь, слишком много. Если им давать зелёный свет и пропускать вперёд, потом останется только рвать волосы на голове.

— Поэтому вы с Омининым и устроили заговор «чёрных полковников»?

— Как ты сказала? — удивлённо посмотрел на меня Скрягин.

— А ты что, разве не знаешь, что вас в ЛОСХ прозвали «чёрными полковниками»?

Лицо его помрачнело.

— Первый раз слышу.

— Извини, я не хотела тебя огорчать, была уверена, что ты в курсе и относишься к этому с юмором.

— Да ладно, чего уж там, — усмехнулся он и надолго замолчал. Лицо его стало по-детски расстроенным, а я мысленно обругала себя за развязанный язык.

Но вернусь к Воронежской.

При всей своей несговорчивости, подчас даже непримиримости, вредности и субъективности, а иногда и приступах откровенной зависти, Таисия Семеновна могла быть ласковой, заботливой и щедрой женщиной, но только по отношению к тем, кто, по её мнению, заслуживал любви и уважения. Однако требования её были слишком высоки, а потому таких людей было слишком мало. Зато она никогда не скупилась на комплименты в адрес талантливых художников, всегда выступала за то, чтобы поднять стоимость их работы и прощала им любые прегрешения. Так, она высоко ценила Ярослава Крестовского, но при этом почему-то очень не любила Розу, считая, что она не пара своему мужу. Скорее, тут имела место чисто женская ревность. Она не только не понимала, почему я считаю Розу самым дорогим другом, но и не хотела этого понять, ревниво отменяя все мои доводы.

Меня это расстраивало, так как Роза с появлением Воронежской в составе Художественного совета перестала брать заказы в Комбинате на женские головные платки, которые тогда были в моде и которые у неё очень хорошо шли, являясь значительным материальным подспорьем. Воронежская тоже занималась росписью платков и конкурентов на этом поприще не терпела.

— Она не пропустит ни одной моей работы, — с горечью утверждала нерешительная и боязливая Роза.

Я решила схитрить.

— Знаете, Таисия Семёновна, у Крестовских сейчас трудное материальное положение, — поделилась я озабоченно.

— Это плохо, — отреагировала она. — Такой художник, как Слава, не должен бедствовать. Кстати, а почему не зарабатывает его жена? У нас что, не найдётся для неё работы?

— Работа-то есть, я предлагала, но Роза не хочет.

— Странная она всё-таки женщина! — вырвалось раздражение у Воронцовской.

— А она боится вас, — напрямик заявила я.

Что-то вроде смущения промелькнуло на её лице, тем не менее, она с деланным возмущением воскликнула:

— Какие глупости! Роза, конечно, средненький художник, но я всегда могу войти в чужое положение. Надо сегодня же дать ей какой-нибудь заказ!

Когда Роза через некоторое время принесла свои эскизы, Воронцовская демонстративно вышла из комнаты.

Иногда она затаскивала меня в кафе или ресторан, чтобы пообедать. Я отказывалась, она обижалась:

— Вы не хотите со мной общаться? Просто по-женски, по-человечески, вне рабочей обстановки.

Я сдавалась. Она была очень любопытна, знала всё про всех и любила по-бабьи посплетничать. Как-то вдруг неожиданно плачущим голосом Таисия Семёновна пожаловалась:

— Я одинокая, незащищённая женщина, меня мало кто понимает. Все считают, что я слишком злая, слишком жадная, слишком люблю деньги, беру себе слишком много заказов. Вот вы, умная и откровенная женщина. Занимаетесь такой работой, которая просвечивает нас, художников, как рентгеном, мы перед вами как голенькие. Скажите, я, действительно, произвожу такое впечатление?

— Таисия Семёновна, вы для меня большой, настоящий, талантливый художник, а остальное неважно, — откровенно ответила я.

— Понятно, — грустно протянула она. — А знаете, я вам завидую. У вас такой интересный муж, скоро будет ребёнок. Вы кого хотите — мальчика или девочку?

— Мальчика.

— Правильно. Иметь сына — это прекрасно. У меня сын уже взрослый, очень красивый молодой человек. Я его очень люблю. Правда, обходится он мне дорого.

Её душа требовала мужской любви и внимания, человеческого участия, тепла, дружбы, но все вокруг видели в ней только талантливого художника и сильную личность. Мне было её жалко, но ведь она сама поставила себя в такие рамки.

Мы, хоть и реже, но продолжали общаться с ней и после того, как я уволилась из Комбината ДПИ. В самом начале семидесятых состоялось наше переселение в новую кооперативную квартиру по улице Кораблестроителей. По соседству, через два дома, жила Воро-

нецкая, там же она получила новую прекрасную мастерскую. Иногда она заходила к нам в гости.

Воронецкая не раз предлагала мне перейти на «ты», говорила:

— Зовите меня просто Тая. К чему этот пиетет? Ведь с остальными вы ведёте себя запросто.

— Не могу, — почти сокрушалась я. — Не знаю, в чём дело, но не могу. Наверное, слишком вас уважаю.

По сути, Воронежская жила только творчеством. Она сама говорила:

— Это моё естественное состояние. Я работаю, как дышу, всегда и везде. Когда работа большая и сложная, я испытываю от неё наслаждение и никогда не устаю. Моя рука требует постоянной работы, я разрисовываю и расписываю всё, что попадает мне под руку. Приходите ко мне в мастерскую, там столько всякого художественного барахла...

— А когда? — сразу уцепилась я.

— Да хоть в эту субботу вечером. Буду рада, если придёте вместе с Августом.

Мы пришли вместе. Вошли и остолбенели от восторга. Большое окно было задёрнуто плотной расписной тканью, и складывалось впечатление, что его нет вообще, а мы находимся внутри какой-то удивительной, огромной, сказочно-волшебной шкатулки, все внутренние стены которой, всё её пространство заполнены, насыщены прекрасной декоративной живописью. Но это не была настенная роспись, на самом деле всё было плотно увешано самыми разными декоративно-прикладными произведениями: расписные ткани и платки, тарелки, блюда и подносы, деревянные доски и дощечки, миски и мисочки, пасхальные яйца и женские украшения. Даже перила лестницы, ведущей на антресоли, были декорированы работами. Это богато многообразное, причудливое, но странным образом гармонично сочетающееся обилие производило эффект эстетического взрыва.

Таисия Семёновна была довольна произведённым впечатлением. А потом мы поднялись на антресоли. Они представляли собой небольшую диванную комнату, застеленную ковром. Многочисленные подушки и подушечки, накидки и покрывала, низкий придиванный столик и посуда на нём — ко всему прикоснулась рука художника.

— Тут я отдыхаю и чирикаю эскизы, — пояснила хозяйка. — Устраивайтесь поудобнее, сейчас попью кофе.

Мы повалились на большие мягкие подушки.

— Здесь у вас царит дух Востока, — заметил Август.

— А я и есть восточная женщина. Мои предки были ассирийцами, должно же и во мне что-то от них остаться.

— Воинственность, например, — пошутил Август.

Таисия Семёновна бархатно рассмеялась:

— Ну вот, и вы туда же. Да совсем я не воинственная, а очень даже домашняя, и больше всего люблю уют и комфорт. А ещё я очень люблю путешествовать. Уже побывала во многих странах. Сейчас покажу фотографии.

Она достала альбом и протянула его Августу. Он начал его перелистывать и вдруг споткнулся.

— А это что за женщина? — спросил он.

— Это я. В молодости.

Август не смог скрыть восхищения.

— Я ошеломлён. И почему мы с вами тогда не были знакомы? Трудно встретить лицо прекраснее.

Он протянул мне альбом, и я увидела на фотографии красивую женщину с распахнутыми, одухотворёнными глазами, тонким чуть удлинённым абрисом лица, со слегка впалыми щеками, прямым точёным носом и чувственными губами. Да, это была Воронежская, но как же она изменилась! Как неузнаваемо потяжелело, обрюзгло и потеряло свою вдохновенность это необыкновенно влекущее и покояющее лицо!..

— Всё-таки она славная женщина! — сказала я Августу, когда мы вернулись домой.

— Возможно. Но так потерять себя!

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду её лицо.

Сувениры, платки, всевозможные расписные поделки... Не они определяли творческое лицо Воронежской, хотя именно они приносили ей материальный доход. На самом деле, по природе своей она являлась художником крупномасштабным. Об этом говорили её выставочные работы, а также многие заказные. Помню, она выполняла заказ для ресторана в Новгороде, нужно было расписать занавеси на окна большой площади. Кажется, ресторан назывался «Застолица».

В день сдачи этой работы Художественному совету Воронежская с помощницей приехали в Комбинат утром и долго развешивали занавеси в самом большом помещении — пустующем актовом зале. Когда всё было готово, я привела туда членов совета. Они вошли, встали рядом и замерли. Воцарилась тишина. Воронежская волновалась. Она стояла, опустив голову, и нервно перебирала руками. А затем

раздались дружные аплодисменты. Они были долгими. Воронежская вопросительно смотрела на Скрягина.

— И чего ты на меня так уставилась? — добрым, размягчённым голосом спросил он.

— Как чего? — удивилась она. — Обсуждайте.

— А что тут обсуждать? Обсуждать тут можно только одно. Какая у неё там в договоре стоимость работы? — обратился он ко мне.

Я назвала сумму.

— Пойдёт заказчик на повышение, как думаешь?

— Не знаю, — ответила я.

— Надо уговорить.

— Попробуем. А как объяснить?

— А это мы сейчас сформулируем, запротоколируем, и ты им пошли выписку. Надо будет — и в командировку кого-нибудь пошлём. Такая работа дорогого стоит.

Действительно, работа Воронежской несколько не походила на привычные, часто выполняемые другими художниками-текстильщиками занавеси, расписанные декоративным рисунком и узорами. По сути, она создала большую монументальную картину-панно на тему русского, праздничного национального застолья — фундаментальную многофигурную композицию, отличающуюся неистощимой фантазией и сказочно-былинным воображением, восходящую по художественному стилю и приёму и к народному творчеству, и к русской иконописи. Виртуозный рисунок, искрометная, сочная живопись, пластичность и выразительная образность фигур, натюрмортное богатство посуды и яств на столе — всё вызывало восхищение, всё свидетельствовало о глубине авторского таланта и мастерства.

«И этому произведению искусства суждено висеть в ресторане!» — с грустной жалостью подумалось мне.

* * *

В то время в Ленинграде строили много больших кораблей. В Комбинат поступило несколько заказов на их художественное оформление. Достал эти заказы какими-то своими путями художник Кирилл Петров-Полярный и принёс на заседание Художественного совета. Многих художников они кормили несколько лет.

Не помню, как это получилось, но почему-то один большой gobelen был поручен эстонской текстильщице, проживающей в Тал-

линне. Фамилию её, к сожалению, тоже не помню. Когда она нам сообщила, что заказ выполнен, Скрягин отправил двух членов совета — Даниила Городецкого и Генриха Хозацкого — и меня, как представителя Комбината, в Таллинн для приёма работы и оформления документов.

Автор пригласила нас не к себе в мастерскую, а в небольшой выставочный зал Художественного фонда Эстонии. Помню, как нас приятно удивили прекрасно обставленные, застеленные коврами, ухоженные, уютные холлы и комнаты этой организации с расставленными и развешанными повсюду произведениями искусства. Какой контраст с нашими обшарпанными, голыми помещениями, стенами, покрашенными грязно-серой масляной краской, и старой, казённой мебелью!

Когда мы посмотрели и приняли гобелен, не вызвавший, кстати, у нас особого восторга, кто-то из администрации фонда подошёл к нам с просьбой задержать отправку этой работы заказчику.

— А в чём причина? — поинтересовалась я.

— Видите ли, — важно ответили нам, — из республики уходит работа заслуженного художника. Гобелен больше не вернётся домой, будет, так сказать, путешествовать по морям. Мы хотим дать объявление в газетах и по радио и дней на пять-семь выставить этот гобелен, чтобы наши граждане смогли его увидеть.

Мы переглянулись. Вот это да! Хорошо жить в маленькой культурной республике, где так ценят искусство и уважают собственных коллег и граждан и результаты их труда!

Наш поезд на Ленинград уходил ночью, и мы решили вечер провести в одном из ресторанов Таллинна. Не помню как, но разговор зашёл о «подпольных» художниках.

— Дилетанты они все! — отмахнулся Даниил Городецкий, художник-текстильщик, заместитель Скрягина.

— Не все, — возразила я и рассказала о Саше Леонове. — У нас в фонде работает столько бездарных прохиндеев, такие деньги защищают, а он нищенствует, не может получить заказ, так как не является членом Союза.

— Чтобы получить заказ, членом Союза быть не обязательно. Пусть принесёт свои работы на Художественный совет по сувенирам. Если они профессиональны, его можно принять в штатный состав Комбината, и тогда он будет обеспечен работой. Только уверяю тебя, что не будет твой Саша ничего делать. Знаю я эту публику. Все они хотят заниматься только тем, что им нравится, писать свои сомни-

тельные холсты и ходить в непризнанных гениях. Ты думаешь, у меня нет творческих замыслов? Но чтобы заработать, я вынужден выполнять порой дурацкие заказы.

— Ты, наверное, готов продавать свой талант, а они этого не хотят, может быть, просто дело в этом?

Даниил с удивлением посмотрел на меня.

— Ну, ты и ортодокс! Не хотят — пусть нищенствуют!

Вернувшись из Таллинна, я обсказала этот разговор Леоновым.

— Саша, может быть, действительно, стоит попробовать? У вас есть такие работы, которые вы могли бы показать на Художественном совете?

— Найду что-нибудь, но, честно говоря, не хочется мне что-то, не верю я в это.

Света уговорила его, и через несколько дней мы вместе тщательно отбирали для показа эскизы, этюды, наброски и фотографии с выполненных работ.

— Вот это моя козырная карта, — сказал Саша и показал фотографию панно. — Книжный магазин на Литейном. С помощью знакомого директор заключил со мной договор в обход Художественного фонда.

Председателем Художественного совета по сувенирам был Владимир Городецкий, главный художник Ломоносовского фарфорового завода, имеющий звание заслуженного художника РСФСР. У него была репутация талантливого фарфориста и керамиста, но я к его работам оставалась равнодушной. Они казались мне однообразными, выполненными в одном ключе, без особой фантазии и художественного своеобразия. Поговаривали, что он интриган и вообще человек недобрый. В таком качестве я с ним не сталкивалась, он производил впечатление интеллигентного, эрудированного, остроумного и внешне очень привлекательного мужчины. Предварительно поговорив с ним, я получила заверения, что с моим протеже будет всё в порядке.

Действительно, сначала всё шло гладко, и мы с Сашей даже победно улыбнулись друг другу. И тут Владимир Городецкий взял в руки фотографию интерьера книжного магазина с панно на заднем плане. Его лицо исказилось. Оно стало настолько злобно отталкивающим, что я испугалась.

— Что это? — зловеще прошипел он.

— Это моя работа, панно в технике сграффито, — бодро ответил совсем было уже успокоившийся Саша.

— Так это вы увели у меня из-под носа этот заказ! Да как вы посмели это сделать?!

От его яростного крика все обомлели. Дальше началось что-то просто базарно неприличное. Городецкий кричал и неистовствовал так, что ожидающие своей очереди художники в коридоре не на шутку перепугались. Он оскорблял Сашу, называя его наглым, самодеятельным неучем, которому нет места в искусстве, в лучшем случае, — за партой СХШ. Обычно бледное, даже землистое лицо Саши покрывлось красными пятнами. Внезапно Городецкий успокоился.

— И сколько вам заплатили за эту работу? — уже тихо, но язвительно поинтересовался он.

— Тысячу рублей, — буркнул тот.

— Вы сильно продешевили, — ехидно констатировал Городецкий. — Идите.

Сдерживая себя, Саша, не торопясь, вышел. Я выскочила за ним. Он стоял на лестничной клетке и нервно курил.

— Саша, — залепетала я. — Мне так стыдно. Кто мог этого ожидать? Простите меня, ради бога. И зачем я только вас в это втянула?

— Не расстраивайтесь, — ответил он. — Видите, я был прав. С этими людьми у меня не может быть ничего общего. Это ведь не роковая случайность, это роковая закономерность.

«Что же это за люди такие, эти художники? — с отчаянием иногда думала я. — Чем талантливее, тем страшнее в своём эгоизме и тщеславии, непримиримее к коллегам и соперникам. Слава Богу, что Августу не приходится сталкиваться с такими врагами!»

Я ошиблась. Моего мужа ждали тяжёлые испытания.

* * *

Вопреки господствовавшей в официальном советском искусстве узкой специализации, строгому разделению художников на живописцев, графиков, скульпторов и прикладников, Август по диапазон своих творческих интересов и возможностей оказался не просто многогранным, но многопрофильным художником и никак не укладывался в прокрустово ложе искусственно разделённой на секции, забюрократизированной системы Союза художников.

Я не ставлю своей целью рассказывать о его творчестве, сложном, многэтапном и разностороннем. Об этом говорят его произведения, об этом можно прочитать в его книге-рукописи «Ученичество души», которые, как я надеюсь, когда-нибудь всё-таки

найдут и своего зрителя, и своего читателя. Но кое о чём рассказать всё-таки надо.

Володя Ольшевский, предсказывавший, что в связи с женитьбой у Августа возникнут творческие проблемы, оказался прав. Август охладел вдруг к прежним замыслам и вообще к графике. Он искал новые средства выразительности и нашёл их, как это ни покажется странным, на мусорных свалках пустырей, которые окружали наш дом на проспекте Космонавтов и где мы выгуливали собаку. Когда он в первый раз притащил домой какие-то грязные детали промышленных отходов, я удивилась:

— Зачем они тебе?

— Пока не знаю, — ответил он. — Но что-то в них есть.

Начался этап «помойного искусства», как окрестил его он сам. Что-то похожее искусствоведы называли поп-артом — последним достижением современного западного искусства тех лет. В этой сложной и многотрудной технике, сочетающей в себе компоновку самых разных материалов, предметов и деталей, которые клеились, прессовались и обжигались, Август создал около двадцати масштабных, остро выразительных, философски серьёзных произведений. Работы эти высоко оценивали все, кто их видел, как за эстетическую новизну в форме и технологии, так и за содержательную образность и глубину.

Летом 1970 года все они были похищены из его мастерской. Ограбление было наглым и демонстративным. На столе оставили свёрнутые в трубочку автобусные билеты. Вскрыть дверь мастерской было несложно, а вот тихо и незаметно вытащить работы такого размера и в таком количестве, что они могли уместиться только в грузовике, практически невозможно. Грабителям помогли строительные леса, возведённые для покраски дома. Поражало, как профессионально точно были отобраны украденные вещи — самые лучшие и оригинальные. Были похищены также ценные книги по искусству, набор заказных штихелей для линогравюр, старинные резные прялки и большая, размером полтора на два с половиной метра, икона «Сошествие во ад».

В милиции сказали:

— Всерьёз заниматься этой кражей мы не можем, нам не до ваших картин. У нас такой район — убийства, проституция, иностранцы — не до вас. Если что узнаем — сообщим.

Действительно, через какое-то время Августу сообщили:

— Следы ведут в Москву, а дальше, скорее всего, за границу. Сделал кто-то явно из своих. Вот и думайте, вспоминайте, кто из мо-

сковских художников бывал в вашей мастерской. Он или навёл, или сам организовал. Больше помочь ничем не в состоянии.

Потеря работ, да ещё такая подлая — это удар. Но Август перенёс его легче, чем можно было предполагать. Как раз в это время он был обуреваем новыми идеями и замыслами.

Мой муж всегда активно интересовался достижениями науки. Его интересовали и физика, и математика, и астрономия, и изыскания, связанные с безграничными возможностями самого человека. Август относился к той редкой категории людей, которые в своём творчестве всегда мыслят по-новому оригинально, стратегически и перспективно. С полным основанием можно сказать, что он первым в стране осознал те безграничные возможности, которые открывала перед искусством электроника. «Идеи носятся в воздухе» — так говорят недаром. В середине шестидесятых вспомнили о цветомузыкальных замыслах композитора Скрябина и литовского художника Чюрлёниса. Электронный анализатор звука открывал новые возможности в осуществлении этих замыслов. Но и московская группа художников-кинетистов Льва Нусберга, и казанское конструкторское бюро Галеева, с которыми у Августа установились тесные контакты и которые активно пропагандировали свои идеи и разработки, рассматривали цветомузыку исключительно как декоративную и эффектно-впечатляющую подсветку или для фонтанов, или для эстрадного сопровождения, или для кинетических конструкций. В дальнейшем именно по этому пути она и стала развиваться в рекламе и различных шоу. Но Август мыслил иначе, глобальнее. Им овладела идея синтеза искусств на электронной основе.

Толчком послужило посещение храма в Печорском монастыре Псковской области, по которой мы колесили в очередном своём путешествии. И раньше мы неоднократно бывали на службах во многих церквях и соборах, но почему-то именно в этот раз литургия произвела на нас необыкновенно сильное впечатление. Мы вышли со слезами на глазах. Так как мы всегда были и остались атеистами, причину столь сильного эмоционально-очищающего воздействия надо было искать не в религиозных чувствах, которых у нас не было.

— Вот чем может и должно быть искусство, — сказал Август, уже сидя за рулём, после того как мы выехали из Печор. — Пластика архитектуры, живопись икон, цвет, свет, музыка, хоровое пение, театральное обрядовое действо — всё это вместе, в органичном синтезе, потрясает и возносит. Религиозные функционеры были очень мудры:

для утверждения веры они не просто использовали силу искусства, но и нашли форму объединения всех его видов.

С этого момента у него стал рождаться грандиозный проект: синтезом искусств с использованием последних научно-технических достижений воссоздать духовные этапы человеческой жизни. Он стал работать над архитектурно-образными павильонами «Детство», «Юность», «Зрелость», «Реквием» и, как завершение человеческой эпопеи, — «Апофеоз». Сначала на бумаге, потом в макетах. Август понимал, что проект утопичен и в условиях нашей действительности не может быть осуществлён, но и отказаться от замысла не мог. И тут как будто само провидение протянуло ему руку.

В 1967 году вся страна должна была отмечать 50-летие Великой Октябрьской революции. К этой дате готовились задолго. Особое внимание было уделено праздничному художественному оформлению городов. Оно должно было стать необычным, отличаться особой непохожестью на уже набившую оскомину лозунгово-плакатную риторику и красноречивое полыхание. Ленинградский обком партии во главе с первым секретарём Толстиковым велел поднять на ноги всю архитектурно-художественную общественность города. Ответственным за эту работу был назначен главный художник города Василий Петров, он же проректор промышленно-художественного училища им. Мухомовой. Петров был очень деятельным, умным, обаятельным и демократичным человеком и не возражал, когда в художественной среде его называли просто Васей. Не будучи сам талантливым первооткрывателем, он часто выступал в роли руководителя и тарана для многих художественных конкурсных проектов. Вот и на этот раз он посещал творческие мастерские и активно интересовался всеми предлагаемыми проектами в поисках самых интересных и оригинальных.

Август решил воспользоваться ситуацией, когда для осуществления даже фантастических идей государство не жалеет ни средств, ни затраченных усилий, и принять участие в предстоящем конкурсе. Он сумел сколотить группу молодых энтузиастов, в которую входили инженеры-электронщики и макетчики, и работа закипела. Все эти ребята: инженеры Боря Калнынь и Валя Чернышёв, макетчики Витя Амбаров и Лёня Козарез, архитектор Володя Бобровницкий — зажглись идеями Августа и работали самоотверженно и бескорыстно, проводя в мастерской всё свободное от основной работы время, порой оставаясь там и ночевать.

Наконец работа была закончена, и Август пригласил в мастерскую Петрова. Ему были представлены действующие эскизные

макеты трёх архитектурно-образных, цветомузыкальных павильонов: «Русь», «Революция» и «Социализм», объединённых единым музыкально-драматическим сценарием. На магнитофон была записана только условно-схематическая канва этого сценария, рассчитанная на три минуты, который, по замыслу Августа, в случае утверждения проекта, должен писаться и создаваться коллективом литераторов и композиторов-профессионалов.

Окна мастерской были завешены плотной чёрной бумагой. Ничего не поясняя и не рассказывая, главного художника предупредительно усадили на диван, остальные расселись вокруг. Я потушила свет и включила магнитофон. Боря Калнынь включил электронный анализатор.

В крошечной тьме раздался заунывный свист ветра, шум вьюги, скрип деревьев. Неожиданно первый павильон «Русь», деревянный облик которого олицетворял дореволюционную крестьянскую Россию, замерцал тёплым, жёлто-охристым светом и ожил. Послышался плач ребёнка, и тонкий, мягкий женский голос задушевно начал выводить старинную народную песню «Лучинушка». Женский голос пел изнутри, а снаружи ветер крепчал, завывал всё сильнее и, казалось, ударял по стенам. Из глубины его порывов постепенно нарастали гул и ропот, глухой ритм страшной, надвигающейся силы, всё громче звучал мужской хор и знакомая мелодия со словами: «Вихри враждебные веют над нами...» Все звуки, ритм текста и музыки синхронно совпадали с цветовым решением. Соответствующая цветовая гамма то затухала и замирала, то ярко вспыхивала и полыхала. Эффект воздействия был всепроникающим и чародейственным.

Осветилась дорожка, ведущая ко второму павильону. Шум и грохот стихии, вой ветра, громкая мощь революционной песни — и засверкал огненным, красным с переливами цветом второй павильон — «Революция». Я включила направленный вентилятор, и кумачовые тряпочки знамён на остроконечной конструкции затрепетали и забились. Залп «Авроры», многоголосый шум толпы, лозунги и крики — все звуки народного восстания. Затем всё погасло.

Теперь осветилась дорожка, ведущая к третьему павильону — «Социализм». Он зажёгся небесно-голубым свечением, струящимся в плавных, округлых архитектурных очертаниях. Зазвучала сначала торжественно-победная, а затем радостно-спокойная, обволакивающе плавающая электронная музыка. Хорошо поставленный мужской радиоголос взволнованно произнёс: «Три, два, один, пуск!» Раздался

взрыв взлетающей космической ракеты, и знакомый голос Гагарина звонко воскликнул: «Поехали!».

Я зажгла свет. Мы все вопросительно уставились на Петрова. Он вскочил с дивана и возбуждённо забегал по мастерской.

— Фантастично! Потрясающе! — вскричал он. — Это будет жемчужина в праздничном оформлении. Такого нигде и никогда не было. Я беру этот проект под свою эгиду.

Потом он забросал Августа вопросами по конкретному осуществлению, но у того всё было продумано до мелочей: электротехнические и строительные материалы, монтаж конструкций, состав исполнителей.

— Публика в павильонах, что она там увидит внутри, помимо цветомузыки и конструкций? Какова начинка? — дотошливо выпытывал Петров.

— Это задача сценаристов и постановщиков. Фантазия не ограничена: дореволюционная этнография, театрализованные мистерии, выставочные экспозиции, экраны с киноvideорядом...

— А место? Где мы всё это разместим?

— Можно на Масляном лугу рядом с Елагиным дворцом.

— Отлично! — потирал руки Петров. — Надо ещё подумать, на какие организации, кроме Худфонда, можно это возложить. Ну, это потом. Через три дня в Куйбышевском райкоме выставка всех конкурсных проектов, Толстиков сам будет смотреть и принимать. Везите это всё туда.

Когда комиссия во главе с Толстиковым вошла в помещение, отведённое под нашу экспозицию, я спряталась за тканной ширмой, где размещалась аппаратура. Моей задачей было её своевременное включение. Мы заранее проделали в ширме небольшую дырочку, чтобы я могла наблюдать за происходящим. Первому секретарю Ленинградского обкома партии молва приписывала не только славу крутого и заносчивого вельможи, но и самодура, поэтому мы, конечно, волновались.

Важно выступая впереди свиты, Толстиков пренебрежительно огляделся и недовольным тоном буркнул:

— Ну, что тут ещё?

Вася Петров представил Августа, тот сделал необходимые пояснения, и показ начался.

Когда он закончился и зажгётся свет, я прильнула к своему «окошечку», пытаясь разглядеть реакцию на тяжёлом, властном лице партийного бонзы. Если оно и не стало приветливым, то, во всяком случае, помягчело, глаза оживились.

— Это хорошо, — одобрительно-весомо промолвил он и заинтересованно-оценивающим взглядом окинул Августа с ног до головы. — «Лучинушка» трогает. Это по-нашему, по-народному. Будем делать.

Он вдруг протянул Августу руку, пожал, повернулся и пошёл. Свита потянулась за ним. Петров оглянулся на ходу и подмигнул. Это была победа. Так мы думали в тот день. Но всё повернулось иначе, проект осуществлён не был. Так я впервые узнала то, в чём впоследствии убеждалась ещё не раз: консервативной, тормозящей силой в советском обществе были отнюдь не только правящая коммунистическая партия и КГБ, но и сами жестко организованные «профессиональные сообщества», особенно их формальные и неформальные лидеры, которые во многих случаях оказывались ещё реакционнее партийного начальства. Если власть волновала только идеология, то этих «крепких профессионалов» пугали вообще любые новшества, любые серьёзные инициативы, перехватить и использовать которые они бы не смогли просто в силу своей некомпетентности. «А смогу ли я удачно вписаться в эту тенденцию, если она вдруг развернётся?» — вот первый и единственный вопрос, который сразу же возникал в голове такого мелкого функционера и целиком определял его отношение к любой новой идее. Осуществление проекта Августа означало бы революцию в эстетике праздничного оформления, а в этом только что пришедшие к власти в ЛОСХ «умеренно-прогрессивные» художники были никак не заинтересованы — они-то свою революцию уже совершили, и теперь хотели спокойно пожинать её плоды. Поднялась настоящая подкожёрная буря, ЛОСХ встал насмерть, и в результате решение обкома и самого Толстикова было спущено на тормозах, а к юбилею город украшала — правильнее сказать, уродовала, — стандартная «фанерная агитация», изготовленная в невероятных количествах.

Сам по себе этот идеологический проект не был столь значимым в творческих поисках Августа, который просто искал возможности для практической реализации своих концептуальных замыслов. Тогда почему так подробно я описываю эту историю? За этим проектом последовали многие другие, принимаемые и одобряемые на самых высоких уровнях, но их судьба была одинакова, почти все они остались неосуществлёнными, за исключением двух объектов — магазинов-салонов «Электроника» в Ленинграде и Воронеже, которые лично курировал министр электроники. При этом все признавали их новаторство, общественную актуальность (например,

создание в «спальных» микрорайонах зон активного эстетического воздействия на основе синтеза), талантливость решений. Август с блеском защитил диссертацию на тему «Архитектура зрелищных сооружений и синтез искусств на электронной основе», принимал участие в разработках института медико-биологических проблем по сенсорной депрециации в космосе, о его работах писала пресса, им была посвящена большая передача по телевидению. В Художественный фонд стали поступать многочисленные письма-заказы на «цветомузыку» от крупнейших предприятий страны из разных городов. Располагая необходимой материальной базой, Комбинат ДПИ был согласен выполнять эти заказы, они были выгодны, но Правление ЛОСХ вынесло специальное решение по этому вопросу, запретив принимать подобные заказы, так как они «не профильны деятельности Художественного фонда». На отчётно-перевыборном собрании ЛОСХ его председатель Михаил Аникушин в своём докладе даже уделил этому особое внимание, заявив, что «никакие технические новшества искусству не нужны, потому что они никогда не заменят Пушкина». И в подтверждение своих слов он с чувством продекламировал одно из стихотворений поэта.

Саша Леонов, с сочувствием относившийся к цветомузыкальным проектам Августа, говорил ему:

— Август, в этой стране вы никогда не сумеете осуществить свои замыслы.

А Слава Крестовский, высоко оценивавший эти работы, в шутку успокаивал:

— Тебя ждёт слава Пиранези. Ты войдёшь в историю как великий фантаст великих проектов.

Многие художники осуждали Августа за разбросанность его творческих интересов, не понимали, что этот человек не может останавливаться на достигнутом. График Андрей Ушин пенял ему:

— Ты так хорошо шёл в графике, ну и шёл бы дальше, куда тебя заносит?

А я, глядя на мастеровитые линогравюры Ушина, которого Август очень любил, всегда думала: «Никакого развития, ни капли новизны. Какой же надо быть скучной и однобокой личностью, чтобы из года в год, изо дня в день печь однотипные и однотемные листы».

Таких художников, как Ушин, в ЛОСХ было много. Взяв единой на вооружение одну тематику, один приём или стилистическую манеру, они всю жизнь их эксплуатировали, добиваясь на этой стезе технической отточенности. Подобные работы хорошо смотре-

лись на общих выставках, среди обилия других, разных по стилистике произведений. Но персональные выставки таких авторов угнетали невыносимым однообразием и ничего, кроме изощрённого ремесла, не могли продемонстрировать зрителю.

В 1975 году Августу исполнилось пятьдесят лет. В этот день он мне признался:

— Знаешь, тянет писать картины. Маслом. Большие.

— Ну, ты даёшь! — только и смогла я вымолвить в ответ.

Но он не успокаивался. Закупил холсты и краски и начал работать. Поначалу я отнеслась к этому крайне скептически, даже отговаривала его. Но вот он позвал меня в мастерскую, чтобы продемонстрировать свою первую картину — «Скрижали» или «Автопортрет». Увидев это огромное, густо насыщенное и сложнокомпозиционное, ярко индивидуальное и ни на кого не похожее по форме полотно, я была поражена.

— Ты никогда не перестанешь удивлять меня, — сказала я, ощутив давно забытый душевный внутренний трепет. — Я тебя поздравляю! Это лучшее, что я видела за последние годы.

И он снова стал работать как одержимый. Один замысел сменялся другим: «Детство», «Затмение», «Даная», «Хаос», «Маскарад». Написав эти полотна, понимая, что открывает новый взгляд на живописную картину, а также то, что выставить их невозможно, он испытывал горячее желание показать их профессионалам, узнать их мнение. Но кому? Не было в живых Лемберского, уехал за границу Леонов, потерял зрение Крестовский. А другие вряд ли его поняли бы. Он решил пригласить в мастерскую Моисея Самойловича Кагана.

* * *

Многих людей я любила, многих уважала, многими восхищалась. Но Моисей Самойлович среди всех остальных занимает особое место. Говорят, идеальных людей не бывает. Но не бывает и правила без исключений. Для меня Моисей Самойлович был таким исключением. Он цельно и гармонично сочетал в себе все достоинства, которые могут быть присущи человеку. Красив, элегантен? — да. Умён и талантлив? — да. Честен и порядочен? — да. Остроумен и очарователен в светском кругу? — да. Смел, отважен и принципиален? — да. Благороден с женщинами и врагами, верен в дружбе, всегда готов помочь в трудную минуту. Самокритичен и требователен к себе. Проныцателен, прозорлив и добр. Граждански ответствен и политически

активен. Перечень лучших человеческих качеств можно продолжать, и на все из них в отношении этого человека я отвечу «да». Он любил молодёжь, любил жизнь, ценил в ней самые лучшие проявления и стремился способствовать их произрастанию и развитию, как будто это был его человеческий долг перед жизнью, которую сам он прожил достойно и красиво. Если бы я родилась мальчиком, то, наверное, стремилась бы стать таким мужчиной, как он.

Впервые я увидела Кагана где-то в середине шестидесятых.

— Сегодня в университете состоится лекция искусствоведа Кагана, — сказал мне Август. — Давай сходим послушаем. Это большой умница.

О чём говорил тогда Каган, я не помню, но впечатление моё было сильным и ярким, как от серьёзного и глубокого анализа состояния современного искусства, так и от личности самого лектора — блестящего, артистичного, остроумного и темпераментного. Актёрский зал ЛГУ был полон, а по окончании лекции публика наградила его долгими, дружными аплодисментами. Тогда же Август нас и познакомил. Несколько лет мы не встречались, но когда Август стал работать над «цветомузыкальными» проектами, он неоднократно приглашал Моисея Самойловича в мастерскую, делился с ним своими замыслами, а написав диссертацию, попросил Кагана стать его оппонентом.

Из всех искусствоведов, с которыми общался Август, а их было немало, Каган оказался единственным исследователем искусства, который в полной мере сумел понять его замыслы, детально разобраться в них и проникнуть в сущность тех новых возможностей с использованием электроники (и не только её, но и других технических достижений, в частности, голографии), которые открывались перед искусством. Свой мощный интеллект, широчайшую эрудицию, открытую восприимчивость и глубокий интерес ко всему новому и значительному, увлечённость, сопереживание и удивительно доброжелательное, безотказное участие — эти качества Моисей Самойлович дарил людям щедро и бескорыстно, порой в ущерб самому себе, если был убеждён, что они этого заслуживают. Его авторитет, как искусствоведа и человека, в Союзе художников был чрезвычайно высок.

Увидев картины Августа, он заволновался и слово в слово повторил мои слова:

— Ну, Август, ты не перестаешь удивлять.

Потом он долго и вдумчиво их разглядывал, а затем вынес вердикт:

— Это ново, индивидуально ярко и очень интересно. И если это реализм, то совершенно особого свойства. Я бы назвал это метареализмом... Выставить необходимо, но сделать это будет очень трудно, хотя сегодня и не безнадежно.

И тут же заинтересовался:

— Какие у тебя отношения с Моисеенко?

— Никаких, — пожал плечами Август.

— Жалко, — заметил Каган. — Он не только талантливый художник, но и умный человек, достаточно широких взглядов. Эти работы надо ему показать. Без его поддержки ничего не получится. Ни один выставком не пропустит.

И тут же воскликнул:

— У меня есть его телефоны. Попробуем сейчас же с ним поговорить.

Моё сердце вдруг тревожно застучало. Меня никогда не подводила интуиция, и сейчас она предупреждала: этого делать не надо. Правда, я не была знакома с Моисеенко, но имела возможность иногда наблюдать его. Не знаю почему, но Моисеенко не внушал мне человеческой симпатии, несмотря на то, что все, с кем приходилось о нём говорить, превозносили его и в один голос и одними словами дружно утверждали: «Отличный мужик!»

«Отличный мужик», «отличная баба» — традиционные для русского человека положительные характеристики, можно сказать даже — наивысшие. На бытовом уровне я и сама часто ими пользуюсь. Но если речь идёт о людях, занимающих высокое общественное положение, если в их руках рычаги влияния, власть и чьи-то судьбы, если они занимаются ответственного рода деятельностью, подобная характеристика мне совсем не нравится. Никогда, например, я не могла бы применить её в отношении Моисея Самойловича. Он был Человек, Мужчина, но уж никак не мужик, пусть даже и отличный.

Моисеенко был, безусловно, очень талантливым, даже тонким художником, но его большие тематические полотна мне не нравились, как раз, может быть, потому, что были во многом «мужицкими». Он имел все звания и награды, которые были только возможны в Советском Союзе: народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Репина, Герой Социалистического Труда, действительный член АХ СССР, профессор. В Союзе художников это был бог и царь, в его руках находилась вся творческо-выставочная ра-

бота. У него был только один конкурент — Андрей Андреевич Мыльников, но тот царствовал в Академии художеств, считался уже «классиком», тогда как Евсей Евсеевич Моисеенко прочно удерживал позицию «новатора» и прогрессиста. Но я большой разницы между ними не видела.

Пока Каган листал записную книжку, я попробовала вмешаться:

— Моисей Самойлович, может быть, не стоит?

— Почему? — удивился он.

— Сама не знаю. Ему может это не понравиться...

— Да нет, — уверенно возразил Каган. — Он отличный мужик!

Всё прекрасно понимает. С моим мнением очень считается. У нас великолепные отношения.

— А вдруг из-за Августа вы их испортите?

— С какой стати? Разве я совершаю что-то непотребное? Мы все товарищи по искусству, и это просто наш долг — помочь, если мы видим талантливые, новые явления.

Но лицо его всё-таки приняло озабоченное выражение. Тем не менее, он стал решительно набирать номер телефона.

Обменявшись любезными фразами, Моисей Самойлович приступил к делу:

— Я звоню вам, Евсей Евсеевич, из мастерской художника Ланина. Да-да, тот самый. Он показал мне свои новые работы. Это прекрасные живописные картины, очень необычные и серьёзные. Думаю, вам было бы интересно их посмотреть. Да, конечно, я понимаю, что он не член секции живописи, но в данном случае это неважно. Работы, безусловно, заслуживают внимания, я в этом уверен. Сегодня не можете? И в ближайшее время тоже? Ну что же, жаль. И всё-таки рекомендую вам обратить на живопись Ланина внимание. До свидания.

Каган положил трубку, и хотя старался не подавать виду, но был явно расстроен. Его искренний порыв оказался наивно-рискованным и в чём-то мальчишеским, и мы все трое это сразу поняли. Но именно за этот, очень по-человечески чуткий порыв я навсегда отдала Кагану своё сердце.

Сказать, что мы стали близкими, семейными друзьями, я не могу, хотя не раз Моисей Самойлович и его жена Юля бывали у нас дома, и это были самые дорогие для нас гости. Но когда я беру в руки написанные им книги, когда читаю в дарственных надписях слова «дорогим друзьям», я испытываю чувство благодарной радости за то, что он считал нас своими друзьями. Для нас же с Августом,

для нашего сына Данилы и нашей невестки Лены, которые были студентами и аспирантами Моисея Самойловича на философском факультете университета, этот человек был больше, чем друг и учёный. Моисей Самойлович собственным примером учил нас всех, как должны люди относиться друг к другу, чтобы в жизни не было зла, вражды и непонимания.

* * *

И всё-таки в скором времени первые живописные работы Августа удалось выставить.

Постепенно в руководстве Союза художников стали осознавать, что репутация ретроградов в искусстве им не на руку, захотелось продемонстрировать, что и в стенах этой организации ведутся и развиваются поиски и новых форм, и современного содержания. Решением Правления и партбюро в ЛОСХ открыли небольшой выставочный зал в Голубой гостиной для показа «экспериментальных произведений» членов Союза. Был сформирован специальный выставком, курирующий деятельность Голубой гостиной, в который вошли представители от всех секций из наиболее непредубеждённых, в основном молодых и свободно мыслящих художников. Среди них оказалась и моя близкая подруга, художник по текстилю Наталья Еремеева.

Я познакомилась с ней, работая в Комбинате ДПИ. Будучи ровесницами, мы быстро сблизились, и наша тесная дружба продолжалась многие годы. Наталья была искрящимся, щедрым и многогранно одарённым человеком и очень талантливым художником. Она погибла от несчастного случая в первые годы перестройки, и для меня это была большая потеря.

Когда Наталья рассказала мне о планах в отношении Голубой гостиной, я пригласила её в мастерскую к Августу. Картины её ошеლოмили.

— Это будет грандиозный скандал! — возбуждённо отреагировала она.

Скандалы, если они носили творческо-художественный характер, она обожала. К тому же обладала неукротимо-взрывным характером и бурно-заводным темпераментом, умея увлечь за собой других на любую авантюру. Таисия Семёновна Воронецкая мне как-то про неё сказала:

— Ваша подруга, без сомнения, очень способный художник, но, как человек, может быть социально опасной.

- Почему?! — удивилась я.
- Она непредсказуема, — ответила Воронежская.
- По-моему, для художника это очень хорошее качество.
- А для друга? — коварно осклабилась Таисия Семёновна на

моё возражение.

Разозлившись, я подумала: «Ну никак не может эта женщина обойтись без гадостей!» К счастью, я уже давно поняла, что Воронежская не обладала доброжелательностью и психологической прозорливостью, и я правильно поступала, никогда не считаясь с её оценками в отношении людей, хотя она постоянно делала попытки руководить мною по жизни из-за старшинства в возрасте. Что же касается Натальи Еремеевой, то я точно знала, что она как раз из тех людей, с которыми, как говорили раньше, я бы пошла в разведку.

Наталья рьяно взялась за дело и уже через некоторое время позвонила и назвала сроки намеченной выставки. Август принялся обрамлять картины.

Накануне открытия мы втроём — Август, Наталья и я — долго и допоздна развешивали картины, перемещая их с одного места на другое. Наконец экспозиция нас удовлетворила, она «смотрелась». Пять больших картин размером 170 на 170 сантиметров и несколько больших графических листов в карандаше размером метр на метр свободно и продуманно разместились на стенах гостиной.

Чтобы приглашённые нами друзья и знакомые могли прийти после работы, мы назначили открытие на шесть вечера. В это время в Союзе, как обычно, царила рабочая обстановка: художники сновали по коридорам между различными заседаниями, собраниями, встречами и какими-то мероприятиями. У дверей Голубой гостиной в ожидании столпились посетители. Я обратила внимание на странного маленького человека с ассиметрично непропорциональной головой, который возбуждённо суетился, не находя себе места.

— Кто это? — спросила я у Натальи.

— Один чокнутый, искусствовед, Ч-в, — ответила она пренебрежительно. — Природа, видишь, его недоделала.

Он-то и ворвался первым в гостиную, когда распахнулись двери, и нервно забегал от одной картины к другой. Я пристроилась у окна, наблюдая за реакцией зрителей. Пометавшись, возбуждённый искусствовед остановился посередине зала и громко взвизгнул:

— Безобразие! Дожили!

Протянув в обличительном жесте руку к «Данасе», он возопил ещё громче:

— До порнографии докатились! Где Моисеенко?!

И с этими словами стремглав бросился из гостиной.

Ко мне подошла Наталья и прошептала:

— Ну, началось!

Я представила себе, как носится сейчас по коридорам Союза с громкими воплями возмущения этот «чокнутый» Ч-в, и мне стало не по себе.

— Сегодня заседание Правления, — продолжала информировать меня шёпотом Наталья. — Здесь всё начальство, он их сейчас притащит. Что-то будет?!

Слух, видимо, начал постепенно расползаться по Союзу, и народу в гостиной прибывало. Я придирчиво вглядывалась в лица, они были серьёзными, сосредоточенными, вдумчивыми, у кого-то взволнованными приятно и радостно, у кого-то недовольно и рассерженно, но равнодушных и безразличных я не увидела. У каждой картины стояли подолгу, обменивались мнениями, и никто не хотел расходиться.

Вдруг в коридоре послышался шум приближающихся голосов, и скоро в проеме двери появилась группа людей. Впереди всех — высокая, мощная фигура Моисеенко. Откуда-то у него из-под мышки выглядывал, как взъерошенный воробей, искусствовед Ч-в. Моисеенко сделал несколько шагов и, широко расставив ноги, остановился на пороге. Вид у него был недовольный, он сердито рывкнул:

— Ну, и что тут я должен смотреть?!

Потом цепким взглядом быстро obeжал картины. Лицо его окаменело. Он молча, круто развернулся и вышел. И тут я с ужасом поняла, что Август приобрёл в его лице опасного врага...

В день закрытия выставки (она продлилась, как и полагалось по уставу Голубой гостиной, десять дней) должно было состояться её обсуждение. В полной уверенности от предстоящего шельмования мы мужественно к нему готовились и решили, что Август должен не сдаваться и настроиться на решительный профессиональный разговор. Весь день он молча и сосредоточенно собирался с мыслями, а ближе к вечеру мрачно пошутил:

— Ну что? Отправляемся на казнь?

И мы отправились.

В вестибюле стояла длинная очередь в гардероб.

— Ну вот, — нарочито бодрым голосом заметил Август, — сегодня здесь какое-то крупное мероприятие, так что зря мы с тобой волновались. Скорее всего, обсуждение не состоится.

Но когда мы поднялись по лестнице, то увидели, что площадка перед гостиной запружена людьми, заняты были и заранее расставленные в выставочном зале стулья. Всем желающим места в гостиной не хватало. Кто-то из распорядителей принёс ключ от кинозала, народ толпой хлынул в него. И только тут до нас дошло, что все эти люди, заполнившие вестибюль и коридоры, пришли сегодня в Союз на обсуждение выставки Августа.

Однако и кинозал не смог вместить всех желающих, зрители стояли вдоль стен и в проходах, некоторые расположились прямо на полу перед сценой, все остальные толпились в дверных проходах, вытягивая шеи и пытаясь пробиться. Это было настолько неожиданным, мы настолько растерялись, что не могли какое-то время сообразить, куда нам садиться и что делать. Наталья потащила Августа на сцену, где установили стол, а меня подхватила Воронежская, и мы с ней сели в центре первого ряда.

Я разволновалась. Ведь мы с Августом совсем иначе представляли себе ожидаемое обсуждение, предполагая, что соберётся около одного-двух десятков художников, в основном живописцев, которые станут, конечно же, критиковать картины, опираясь на свой профессиональный опыт, на устоявшиеся в Союзе художественные вкусы и принципы, достигшие, наконец, понимания высот импрессионизма. Август готовился к профессиональной критике и спору и именно на этой основе строил линию своей защиты. А тут вдруг такое!

Постепенно успокоившись, я оглядела зал. Было очень много молодёжи и незнакомых лиц. А вот членов живописной секции почти не было. Я узнала только Ивана Годлевского — друга Лемберского и Льва Богомольца.

Воронецкая взяла меня за руку и озабоченно проговорила:

— Вашему мужу нужно сейчас вести себя очень осторожно. Каждое его слово может вызвать определённые последствия.

За столом президиума появились художник Петров-Маслаков (он, кажется, в те годы являлся членом партбюро ЛОСХ) и искусствовед Бродский в качестве председательствующего. С первых же его слов стало ясно, что он хочет настроить зал на обструкцию. И он сам, и какая-то явно подготовившаяся заранее искусствоведица выступили с резкой критикой. Но эта критика была настолько казённо неубедительной, неумной и профессионально беспомощной, что никого не могла убедить, и Воронежская пренебрежительно заметила:

— Это глупо.

Зато их негативные выступления вызвали реакцию в наэлектризованном зале. Зрители стали выступать сами, одни с места, другие,

поднимаясь на сцену. Конечно же, я сейчас не помню их конкретных слов, но помню их высокую оценку и слова благодарности и признательности. Они говорили о том, что в искусстве Августа нашли для себя то ценное, важное, духовное и философское, что безуспешно искали и не могли найти на прежних выставках в ЛОСХ. Они говорили о художественном своеобразии, новизне и глубоком содержании картин, о том, что работы надолго приковывают к себе внимание, не хотят отпускать, вызывают интеллектуальное и эмоциональное напряжение, остаются в памяти и заставляют ещё долго потом размышлять над ними. Один из студентов, будущий художник, сказал:

— Благодаря вам я понял, какие высокие и ответственные цели стоят передо мной как перед художником.

Моисей Самойлович Каган не мог присутствовать на выставке в Голубой гостиной, он был в отъезде, но на обсуждение пришли его аспиранты с кафедры эстетики философского факультета. (Моисей Самойлович нередко приводил самых разных своих аспирантов к Августу в мастерскую, и они всегда удивляли нас эрудицией, интеллигентностью и высокой профессиональной подготовкой. В ответ на наши похвалы Моисей Самойлович шутил: «Каков поп, таков и приход». И это было абсолютно верно). Их выступления на обсуждении отличались не только профессионально аргументированным анализом работ, но и размышлениями о роли и значении искусства, о том, чего ждёт от него зритель и почему он так неудовлетворен существующим положением вещей.

В результате в тот вечер в ЛОСХ состоялся очень широкий, содержательный разговор о взаимоотношениях художника и зрителя. Этот разговор, на мой взгляд, мог бы стать очень полезным для многих художников, в том числе и для руководства ЛОСХ, но они предпочли не только игнорировать его, но и самым характерным образом отреагировать.

Буквально на следующий день срочно созвали партбюро. Членам выставкома Голубой гостиной крепко «намылили шею», особенно досталось Наталье Еремеевой, о чём она вспоминала со смехом, а затем было принято решение — на «экспериментальные выставки» в Голубую гостиную пропускать зрителей только по членским билетам Союза художников. Разумеется, это глупейшее решение никто впоследствии не соблюдал, а Голубая гостиная ещё несколько лет дарила зрителям интересные выставки, в частности, ставшие ежегодными и традиционными встречи с молодыми талантливыми керамистами под названием «Одна композиция».

Но вернусь к обсуждению. По мере того как нарастал шквал выступлений и развивался разговор, Воронежская рядом со мной начала нервничать.

— Всё это приобретает очень опасный оборот, — обеспокоенно прокомментировала она.

— А мне нравится, — возразила я. — Вам не кажется, что зрители умнее, чем многие художники?

— Наташа, вы наивная женщина. Я говорю совсем о другом. Ваш муж должен погасить все эти страсти, они совершенно ни к чему. Ничего подобного в ЛОСХ никогда не происходило.

— А зачем? — удивилась я. — Люди высказывают своё мнение, они имеют на это полное право. В конце концов, кто для кого существует: художник для зрителя или зритель для художника?

— У Августа могут быть крупные неприятности.

— Волков бояться — в лес не ходить, — отмахнулась я.

Воронежская неодобрительно покачала головой. Самому Августу говорить пока не пришлось, но вот из зала пошли записки с вопросами. В одной из них было сказано: «Расскажите о себе, мы о вас ничего не знаем».

— Вы хотите знать мою биографию? — удивленно спросил Август. Он был явно взволнован от всего происходящего.

— Да! — почти взревел зал.

Рассказывая о себе, Август тщательно и взвешенно отбирал слова. Поначалу я слушала его спокойно, но потом стала недоумевать. Говоря о жизненных этапах и впечатлениях, вспоминая учителей в Академии, первые шаги в творчестве, высказывая мысли о своей позиции в искусстве, он умышленно так расставлял акценты, что создавал о себе впечатление как о самом правоверном и лояльном советском гражданине и художнике. «Что же это он такое говорит? Почему? Зачем?» От возмущения у меня всё закипело внутри.

— Какой молодец! — с восхищением шепнула Воронежская. — Наташа, ваш муж — очень мудрый человек!

Я мысленно послала её к чёрту.

На следующий день, в нетерпении дождавшись, пока Август выпит, а затем попьёт кофе, я решительно начала разговор.

— Скажи мне, пожалуйста, почему вчера ты нёс какую-то ахинею? К чему было вспоминать какого-то секретаря райкома во время войны? Благодарить «поколение отцов» и «старших товарищей по искусству»? Тебе что, разве нечего было сказать этим людям? Я ушам своим не верила, слушая тебя!

— Отстань, — вяло отмахнулся он. — Ты не понимаешь.

— Зачем ты клепал на самого себя? Ты что, испугался КГБ? Ты не политический диссидент, а за искусство сегодня не сажают. А если начнут преследовать, уедем, как Леоновы.

— При чём тут КГБ? — возмутился он. — Да, я не диссидент, и за границу никогда не уеду. И знаешь почему? Я люблю созидать, а не разрушать. Они же ничего не могут предложить, кроме ненависти. А я не могу, как Леонов, ненавидеть свою страну и желать ей зла. И подковёрная возня не для меня. Я художник и говорю своими работами, там всё сказано — нравится это КГБ или нет, мне плевать.

— Но как же ты будешь говорить своими работами, если их невозможно выставить? Вчера тебе предоставился шанс, но ты его упустил. У тебя нет единомышленников в Союзе художников и никогда не будет. А один в поле не воин. Поработав в Худфонде, я эту публику слишком хорошо узнала и вижу насквозь. Ты мог приобрести единомышленников вчера, за пределами этой тупой организации, но ты эту возможность не использовал. Своими дурацкими словами ты отпугнул и разочаровал этих людей.

— Как ты не понимаешь? Я не могу выступать против профессионалов, против своих друзей и коллег, хотя у нас и разные представления почти обо всём.

— И ты думаешь, в Союзе художников оценят твоё благородство? Скажут: «Спасибо тебе, Август, что ты не позволил им разнести нас в щепки!»

— Меня не интересует, что они подумают, скажут и сделают. Я сказал и сделал то, что считал нужным.

— Ну, так я тебе скажу, что теперь тебя ожидает. Никогда больше ни одна твоя картина не будет выставлена в залах ЛОСХ, они поняли, что бояться тебя не надо, западных журналистов для протестного заявления и интервью ты приглашать не будешь, и поступать с тобой можно, как им заблагорассудится.

— Перестань каркать. Время покажет, кто из нас прав.

Прошло несколько лет, и Август сказал мне:

— Ты была права, как всегда.

* * *

Спустя несколько дней я поехала на проспект Космонавтов, где мы уже не жили, навестить Крестовских. Дверь открыла Роза. Слабая улыбка осветила её ставшее навсегда печальным лицо. За ней замая-

чил Слава в больших чёрных очках, он крепко пожал мне руку, и мы, как всегда, пошли на кухню пить чай.

— Ну, Август и наделал шуму в Союзе, — начал разговор Слава. — Наслышаны, наслышаны. Нам тут все провода оборвали. Давай, рассказывай.

— А что рассказывать? Ты, наверное, и так всё знаешь, — с уверенностью сказала я и не ошиблась.

Слава был в курсе мельчайших деталей и подробностей, но, тем не менее, забрасывал меня вопросами.

— Мы очень рады за Августа, передай ему, — попросила Роза.

И тут со Славой что-то произошло. Он лихорадочно задвигал руками по столу в поисках папирос. Плотно обхватив спичечный коробок, чиркнул спичкой и нервно закурил. Потом вскочил и заметался по маленькой кухне.

— Нет, я не могу понять, как всё это могло произойти?! — в крайнем смятении, с ненавистью в голосе выкрикнул он. — Я их спрашиваю: как вы, идиоты, могли это допустить?! Человек взял в пятьдесят лет кисть в руки, написал всего пять картин, выставил их без объявлений, без афиш, а зрители как с ума посходили! Он же не живописец! Разве можно такие вещи пускать на самотёк?! Если бы я был здоров, никогда бы не допустил, чтобы такая выставка состоялась.

Я просто оцепенела от этих слов и злобных интонаций.

— Слава, успокойся, — как маленькому ребёнку, тихо сказала Роза и посмотрела на меня жалкими, потерянными глазами.

— Что значит — успокойся?! — ещё накалённее закричал Слава. — Они рубят сук, на котором сидят. Я столько лет отдал живописи и был не последним художником, а тут появляются всякие умники и разваливают дело моей жизни!

Я не знала, куда девать глаза. Что делать? Оскорбиться, встать и уйти? А Роза? Да и Слава, в общем-то, в своём репертуаре, выражается предельно искренне и непосредственно, как на духу, не считаясь с приличием.

— Хотите, почитаю отзывы, — предложила я.

Слава с любопытством в голосе откликнулся как ни в чём не бывало:

— С большим удовольствием. Это интересно, — и снова уселся на табуретку, подёргивая носом.

Пока я доставала из сумки кипу разрозненных листочков, Слава подпёр рукой голову и тихо, грустным голосом сказал:

— А знаешь, Наташка, у меня ведь столько замыслов, больших, интересных, но теперь их никогда уже не осуществить. Вот судьба! И за что она меня так наказала?! Не знаю, что ещё может быть страшнее...

— А где сейчас все твои работы? — спросила я.

— Слава богу, с помощью Союза распахал их по областным музеям. Там они хотя бы будут в сохранности. В Костроме, Ярославле, Архангельске, музеи неплохие.

Читать отзывы я начала с «ругательных». Большинство из них отличалось примитивным хамством, вроде фраз: «заумный бред сумасшедшего», «галлюцинации», «мыльный пузырь», «автор — больной человек», «кому всё это нужно?» и даже с откровенно бранной лексикой.

— Какая мерзость! — поморщился Слава.

«Хвалебные» отзывы он слушал внимательно и ревниво. Под самый конец я прочитала специально отложенный отзыв какого-то научного сотрудника Карасёва: «Выставка, безусловно, очень интересная. Наиболее сильная сторона дарования автора — композиция, которая строится очень хитроумно и оригинально. Живопись мне нравится меньше — не хватает сочности. Мне кажется, стоит сравнить эту живопись с живописью Я. Крестовского (в смысле техники) — последний, по-моему, сильнее....»

Лицо Славы озарилось счастливой улыбкой.

— Смотри-ка, уже давно не выставляюсь, а зрители помнят, — с довольным видом отметил он.

Мы расстались тепло и по-дружески. Слава велел мне передать от него большой привет Августу и поздравления с первой успешной живописной выставкой. Под конец нашей встречи он, по-моему, совершенно не помнил, чем возмущался в её начале. Августу об этом я рассказывать не стала.

* * *

После рождения сына в 1968 году мы с Августом стали всерьёз подумывать о приобретении собственного дома за городом. Нас не привлекали курортные дачные пригороды и тем более «скворечники» в садоводствах, которые стали, как грибы, появляться вокруг Ленинграда. Да и денег на подобные покупки у нас не было. Мы мечтали об избе в какой-нибудь неблизкой, малолюдной деревне среди настоящей, дикой природы. Такие покупки в те годы оформить документально горожане не могли, не позволяли законы. В то же время,

путешествуя по северным местам Ленинградской области, мы видели большое количество брошенных домов в так называемых «списанных деревнях», которые можно было купить за бесценок у их бывших владельцев без какой-либо гарантии на право стать законным собственником. Но найти такой дом и такое место, которые во всём удовлетворяли бы наши желания, оказалось не так просто. Помог случай.

Собираясь в очередную охотничью поездку, на этот раз в район Вытегры, Август готовил машину, которую мы держали около дома. Рядом тем же самым занимался наш сосед по дому художник-промграфик Игорь Кушаков. Они разговорились, и выяснилось, что Игорь и Аня Кушаковы недавно купили в одной из глухих деревенок Лодейнопольского района избу и как раз сейчас собираются туда ехать.

— На обратном пути из Вытегры в Питер заверните к нам. Может быть, вам понравятся наши места, а брошенных изб на продажу в округе предостаточно, — предложил Игорь.

Мы так и сделали, открыв для себя удивительно живописные, холмистые леса суровой вепсовской тайги, раскинувшиеся вдоль своенравной, извилистой реки Оять за посёлком Алёховщина в Надпорожском направлении.

Сверяясь со схемой, которую нарисовал нам Игорь, мы свернули с грунтовки, с трудом пробираясь по малопроезжей, лесной дороге, спускаясь всё ниже к реке, пока перед нами не появилась маленькая, уютная, заросшая высоким бурьяном деревенька из десяти изб, вытянутых вдоль реки в узкой интимной долине. Деревня называлась Верхнее Подборье. Все дома в ней были заселены дачниками-ленинградцами. Игорь повёл нас в соседнюю деревеньку в полутора километрах ниже по течению, ещё более заросшую, глухую и почти не населённую, — Нижнее Подборье. Здесь мы и купили себе избу той же осенью 1972 года.

Поначалу мы думали, что она станет для нас просто охотничьим домом на осенний сезон. Действительно, кругом бродили медведи и лоси, бегали волки, лисицы и зайцы. Из-под ног взлетали глухари и тетерева. В реке водились лососи и форель, по дну ползали диковинные раки, гнездились дикие утки, строили свои дома и норы бобры, ондатры, выдры. Обилие грибов и ягод поражало воображение.

Но получилось иначе. Мы обрели то место на земле, пребывая в котором, растворяешься в первобытном счастье общения с первозданной природой, с её мощной и загадочной красотой, с её таинственной, неуловимой сутью, с её свободной и непостижимой душой.

Вдруг обнаруживаешь, что под домом живёт хорёк, а в обшивке дома — ласка, под кустом смородины прячется зайчонок, а под крышей выют гнёзда ласточки. Около мостков на реке плещется дикая утка со своим выводком, а на берёзе под окном спокойно и деловито стучит дятел. И никто из них тебя не пугается, только посматривают, поплёскивая глазками. В трёхстах метрах от деревни сталкиваешься с медведем, и он, близоруко прищуившись, не торопясь, мирно поворачивается спиной и уходит. А наведываясь по-соседски рано утром, о столбик крыльца трутся кабаны. И ты живёшь с ними со всеми в едином и прекрасном мире.

Здесь, в деревне, Август навсегда прекратил охотиться.

Первые годы мы с жадным любопытством осваивали окружающие нас леса, заброшенные и покинутые деревни в радиусе не меньше двадцати километров. Глухие, тёмные чащобы с глубокими, мрачными разломами оврагов, по дну которых струились ручьи, чередовались с чистыми, прозрачными борами, весёлые поляны — с почти непроходимыми, буйными зарослями бурьяна. И болота. Одни — огромные, бескрайние, топкие и опасные. Другие — маленькие, мшисто мягкие, поросшие тонкими, чахлыми деревцами, с кочками, обильно усыпанными лесными ягодами. Неожиданно для себя я прониклась восхищением перед их изысканно-бледной, туманно-призрачной, колдовской красотой.

— Зона! — часто с восторгом повторял Август, когда мы, как разведчики или первопроходцы, продирались по этим местам, открывая для себя всё новые и новые маршруты и совершая новые открытия. Под этим словом он подразумевал Зону, о которой поведал нам фильм Тарковского «Сталкер», — дикую, запущенную, но живую, одухотворённую, непредсказуемую и властно диктующую свои условия взаимодействия и общения с ней. Заблудиться, потеряться и погибнуть в этих местах было проще простого. Леса и болота тянулись на десятки и сотни километров, а стрелка компаса прыгала и дёргалась, указывая неверное направление, очевидно, в силу какой-то магнитной аномалии. Каким образом Август находил обратный путь домой, для меня всегда было загадкой. К сожалению, через несколько лет он не смог больше ходить в лес — его сердце уже не выдерживало крутых подъёмов и чащобных препятствий.

За тридцать пять лет, которые связывают нас с Нижним Подборьем, здесь многое изменилось и не в лучшую сторону. Но за все эти годы ничто не грело так наши с Августом сердца в холодное и неудобное осенне-зимнее время, как мысли о том, что летом нас снова ожи-

дает встреча с деревней, с любимой Оятью, на берегу которой стоит наш дом и по которой мы так любили плавать на байдарке, любясь её спокойными, широкими плёсами, бурными порогами, живописными островками и отмелями, струйными протоками и каменистыми стремнинами.

Зажатая в узкой долине, Оять змеится среди крутых, высоких берегов с могучими холмами лесов, неуловимо ускользающая, строптивая и многолико изменчивая. Она то глубокая и полноводная, то мелкая и почти пересохшая, то суровая и опасная, то ласковая и мирная. У неё быстрое течение, и долгие годы по ней сплавляли лес, но тихими летними вечерами вода кажется совсем неподвижной, застывшей, отражая на чистой, прозрачной до дна зеркальной поверхности узоры и контуры нависающих деревьев. Здесь прекрасны и неповторимы закаты, страшны и неистовы грозы, задумчивы и томительны туманы, фантастичны курящиеся молочно-сиреневыми испарениями гребни холмов.

Девственность, нетленность и совершенство природы действовали удивительно благотворно на характер и творчество Августа. Первые годы он почти не расставался с этюдником — так живописно привлекателен был окружающий нас мир. Вслед за многочисленными этюдами последовали большие картины, замыслы которых тоже были подарены деревней.

Особую атмосферу в жизни деревни создавали и первые городские поселенцы, наши соседи, на протяжении двух-трёх лет полностью занявшие все брошенные, порой полуразвалившиеся избы. Сложилось так, что все они, самыми разными путями открывшие для себя эти глухие дикие места и навсегда их полюбившие, оказались не просто приятными и симпатичными, но в чём-то и необычными, своеобразными людьми. Так, ближайшими соседями Игоря Кушакова были две сестры: младшая — ленинградка Ирина Борисовна и старшая — москвичка Елизавета Борисовна, на редкость жизнерадостные, общительные, остроумные и весёлые женщины, заядлые рыбачки и страстные ходоки по лесу. Муж Елизаветы Борисовны, маленький, сухонький старичок, был намного старше своей яркой, красивой жены, редко показывался на люди, был замкнут и немногословен. О первом с ним знакомстве Игорь Кушаков рассказывал так:

— Выхожу утром из дому. Вижу, у реки, на краю мостков, спиной ко мне на корточках сидит старичок. Подхожу к нему и говорю: «Доброе утро!» От неожиданности он сваливается в воду. Я его вытаскиваю и предупредительно, с извинениями сопровождаю домой.

И знаете, кем оказался этот божий одуванчик? Грозой бандитов, легендарным чекистом двадцатых-тридцатых годов.

Действительно, Марк Борисович Спектор, будучи совсем молодым, во время гражданской войны был внедрён в банду Махно, пользовался у батки безграничным доверием. Уже будучи в Париже, Махно поручил Спектору вывезти из России свои запряжанные сокровища. Разумеется, они были конфискованы в пользу государства. Позднее он принимал участие в аресте Троцкого и лично сопровождал его через всю страну до выдворения за границу. Обо всём этом в подробностях мы прочитали в посвящённой ему документальной книге, которую нам любезно дала почитать Елизавета Борисовна.

Марк Борисович вскоре тяжело заболел и умер, овдовела и Ирина Борисовна, но сёстры ещё долгие годы регулярно жили в деревне, считая её любимым местом на земле. Последний раз Ирина Борисовна приехала в деревню, когда ей было уже девяносто лет. По-прежнему жизнерадостная, неунывающая, она звонко, по-молодому смеялась, шутила и с юмором рассказывала о своих учениках, которым до сих пор давала уроки английского языка в качестве репетитора.

Ещё один ветеран деревни, капитан первого ранга, Рюрик Александрович Кетов, бывший командир подводной лодки, был участником Карибского кризиса. Энергичный, деятельный, прямодушный мужчина с необыкновенным чувством мужской ответственности, он с увлечением погрузился в окультуривание окружающей земли. Вместе с тестем, Алексеем Михайловичем Майоровым, хозяином дома, они, единственные в деревне, разбили большой сад, развели огород с парниками и теплицами и с энтузиазмом выращивали уникальные сорта разнообразной собственной сельскохозяйственной продукции. Их опыт и советы позднее использовали мы все, когда уже во время перестройки, в период «шоковой терапии», напуганные возможным предстоящим голодом, спешно стали распахивать свои заросшие непролазным бурьяном участки.

Здесь приобрели избы скульптуры Владимир Горевой и Сергей Кубасов, фотограф Академии художеств Юрий Кобзев, дизайнер-оформитель Калинин, в доме которого несколько сезонов провёл поэт и писатель Серёжа Вольф, отразивший богемные особенности жизни в нашей деревне в одном из своих рассказов, а затем этот дом купили художники Ира и Алёша Баевы.

Общий художественный, философско-гедонистический настрой в восприятии мира, свойственный этим людям, глубоко и любовно оценившим своеобразную уникальность здешних мест, созда-

ли особую ауру, особый образ жизни, во многом отличающийся от других подобных поселений.

Из местных в деревне жила только Татьяна Петровна Андреева, маленькая, бодрая старушка с живыми глазами и непокорным характером, обитавшая здесь круглый год вместе с сыном Колей, работавшим трактористом в расположенной за пять километров деревне Ефремово. По миропониманию её можно было, наверное, назвать язычницей. Природа для неё была живым существом, с которым надо жить в мире и согласии, не обижать её и не гневить. Легко ступая в лесу, она осторожно перешагивала через ползающих жучков и, что-то ласково бормоча, отмахивалась от назойливых комаров и оводов. Благодарила лес за щедрые дары, собирая ягоды и грибы, никогда не выбирая их до конца, а оставляя часть птичкам и зверью. Верила в лешего, народные приметы и сверхъестественные силы природы, в целебную силу родниковой воды и лечилась только травами, в которых хорошо разбиралась и которые сама заготавливала. А в зимнее время пряла, ткала и вязала. С авторским тщеславием она щедро дарила окружающим свои станины и напольные коврики, отличающиеся замечательным мастерством, большой выдумкой и художественным вкусом. О её творчестве в местной газете была напечатана большая статья с фотографией, где она была запечатлена у дома на фоне развешанных по ограде и разложенных на траве ярких, цветастых и узорчатых изделий. Её станины украшают и стены нашей избы.

Поселившись в деревне, мы окончательно расстались с курортно-цивилизованным, развлекательным отдыхом и теперь вместе с сыном лето проводили только в Подборье. И именно здесь, в деревне, в нашем узком семейном кругу, глядя на мужа и сына, я чаще всего и в полной мере пронзительно ощущала, как разливается во мне счастье и радость жизни.

* * *

Человеческая жизнь опирается на многие вечные и неизменные ценности. Для меня таковыми всегда являлись сам человек, любовь, природа, искусство, творчество. Но, как для женщины, самым главным в моей судьбе стало материнство. С рождением сына оно превратилось в смысл жизни. Об этом трудно писать не только потому, что уже много и прекрасно сказано и написано, не только потому, что никакие слова никогда не смогут передать во всей полноте суть

этого высшего природного женского предназначения, но и потому, что это самое святое, самое сокровенное, что боишься исказить, потревожить, обрушить неверным или неподходящим словом.

Удивительно, но свою будущую жизнь я как будто предвидела, с детства. Одной из моих любимых игр была ролевая игра в школу, где я, конечно, выступала в роли учителя. И, несмотря на рассудочное сопротивление, судьба распорядилась так, что в результате я стала-таки работать в школе и работаю там до сих пор. В юности я лелеяла образ любимого мужчины — обязательно талантливого творца, художника. Запоем читала книги о великих людях, об их сложной, непростой судьбе, о частом непризнании их таланта при жизни, непонимании окружающих. Внутренне готовила себя к встрече с таким человеком, к тому, чтобы разделить с ним все испытания и невзгоды. И встретила Августа. И в нашей совместной жизни всё сложилось так, как я предчувствовала. Я всегда знала про себя, что, если у меня будет ребёнок, то только и обязательно Сын.

Это предчувствие иногда проявлялось как сигнал свыше, как вспышка неожиданного озарения. Именно такое озарение внезапно проникло в меня и мощно пронзило, когда, вернувшись из роддома, я как-то сидела одна в квартире и кормила грудью новорожденного сына. Как будто кто-то пророчески выстрелил мне в сердце (я это ощутила даже физически), и внутрь впечаталось яркое, отчётливое осознание: твоя жизнь больше не принадлежит тебе, она принадлежит вот этому маленькому существу, буквально всё в твоей жизни будет посвящено ему, сделано ради него, с оглядкой на него. Больше не будет личной свободы, собственных эгоистических целей и интересов. Беззаботная жизнь кончилась. Ты взвалила на свои плечи колоссальную ответственность. Ты и только ты отвечаешь за его жизнь и его судьбу.

В этот момент, наверное, пришла ко мне женская зрелость.

Как и перед любым родителем, передо мной встало сразу много вопросов и среди них главные: как полноценно вырастить ребёнка, какие качества личности необходимо в нём развивать, чтобы жизнь его сложилась счастливо и гармонично, какой должна быть моя материнская отдача. Мне хотелось быть не только любящей, но и разумной, полезной своему сыну матерью. Разумеется, я понимала, какую огромную роль в жизни играют обстоятельства и случайности, но при этом всегда была уверена в том, что судьба человека на девяносто процентов складывается из того, что он представляет собой как личность, каковы свойства его ума и характера. Поэтому основы и процесс воспитания занимали меня чрезвычайно.

Одна из моих коллег в разговоре как раз в этот период сказала:
— Детей не надо воспитывать, надо просто самим жить хорошо.

Всю мудрость этих слов я поняла много позднее, когда осознала, что никакие потуги со стороны не в состоянии повлиять на внутреннее, природой заложенные неповторимые особенности каждого человека, на движения его души, мотивацию поступков, логику поведения. Каждый принимает решения и сообразуется в соответствии со своим индивидуальным «я», не принимая в расчёт ни чужие доводы, ни чужой опыт, даже если их игнорирование приводит к печальным итогам. Но всё это я поняла позднее, когда сын вырос и самостоятельно стал строить свою жизнь и свою судьбу. А тогда я обложилась литературой и начала изучать сложные вопросы детского воспитания. Больше всего по душе мне пришлась книга американца доктора Спока и «Опыты и размышления» Монтеня, в частности, глава «О воспитании».

Данила был благодатным ребёнком: добрым, ласковым и разумным. При отказе в какой-нибудь просьбе, при решении какого-нибудь вопроса его всегда можно было убедить логическими доводами, и поэтому никогда у него не было плаксивых истерик, характерных для маленьких детей, когда им в чём-то отказывают. Он слушал и понимал. Его интеллектуальные способности, восприимчивость, прекрасная память часто нас поражали. Я начала очень рано читать ему книги, ему ещё не было и полгода, а я уже читала ему Чуковского и сказки Пушкина. Однажды (ему было всего два года) он взял у меня из рук книгу и сказал:

— Я сам.

Открыл и, глядя в текст, стал читать «Крокодила» Корнея Чуковского. Он переворачивал страницы на нужном слове, лукаво постреливая на меня довольными глазками, и с наслаждением, чуть картавя, выразительно декламировал. Впечатление, что он действительно читает, было полным. Свои любимые книжки он знал наизусть и часто читал их «самостоятельно», вслух и с удовольствием. По-настоящему самостоятельно он начал читать, как и я, с четырёх лет.

Удивительно складывались его отношения с Вардом, который с появлением Данилы не только не проявлял ревности или раздражения, но заботливо опекал и охранял его. По ночам при малейшем детском беспокойстве Вардик вскакивал со своей лёжки и озабоченно наклонялся над кроваткой. Данила часто взбирался на него верхом, и не было случая, чтобы Вард скинул его. Он был на редкость по-человечески умный и благородный пёс.

Детство Данилы можно было бы назвать счастливым, у него было всё, что могли дать взрослые ребёнку в то время. Своим рождением на свет Данила преобразил и нашу жизнь, наполнив её радостными и счастливыми мгновениями. Но это счастье во многом было омрачено постоянными болезнями.

Когда ему исполнилось три месяца, он простудился. Сделали рентген и обнаружили, что у него слишком большая вилочковая железа. Меня вызвала к себе заведующая поликлиникой и очень серьёзно сказала:

— Мапочка, хочу вас предупредить. До школьного возраста, когда вилочковая железа примет нормальные размеры, вы должны очень оберегать своего ребёнка. Он будет схватывать у вас любую инфекцию, которая может обернуться летальным исходом. Ему категорически противопоказан детский садик и широкое общение с другими людьми.

— Так что же, его надо держать под стеклянным колпаком? — потрясённо спросила я.

— Ну, почему же? Не надо терять чувства меры. Но будьте постоянно бдительны, не посещайте с ним места скопления людей, избегайте общения с больными детьми. Во всём остальном ведите нормальный образ жизни.

Несмотря на все наши ухищрения, с четырёх лет Данила начал часто и серьёзно болеть. Его детство стало протекать большей частью в кровати с книгой в руках. Начальную школу он окончил практически экстерном. Разумеется, это всё отложило свой отпечаток и на наш образ жизни и на формирование его характера. Тем не менее, в светлые, здоровые промежутки, мы старались приобщить его к нормальной, обычной жизни, выбирались за город, водили в театры и музеи, летом закаляли морскими купаниями, делали попытки заниматься спортом.

Рисовать он начал рано и делал это с удовольствием. Август поначалу не стеснял его свободы, просто клал перед ним большие листы ватмана и предоставлял самовыражаться и красками, и фломастерами, и карандашом. Мы узнали, что при Эрмитаже существует небольшая группа дошколят, с которыми занималась художник Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева. Она была молодым талантливым художником и не менее талантливым детским педагогом, великолепно понимающим детскую психологию. Тогда в городе это была лучшая детская школа для малышей по изобразительному искусству, и попасть в неё было непросто. С Олей я познакомилась, работая в

Художественном фонде, она была моей ровесницей и жила с нами в одном доме. Я собрала рисунки Данилы и показала ей. Внимательно их просмотрев, она сказала:

— Я беру его.

Так начался для Данилы путь вхождения в искусство.

В пятом классе он успешно прошёл через конкурсный отбор в среднюю художественную школу при Академии художеств — СХШ, как обычно её называли. Это была лучшая не только в городе, но и, пожалуй, в стране художественная школа, широко известная, с давними, устоявшимися традициями, из стен которой вышло большинство творящих в те годы скульпторов, живописцев и архитекторов, и все они вспоминали о ней с любовью. Сэхэшатик — это ласковое слово в художественной среде города являлось определённым знаковым ключом, что-то сродни царскосельским лицеистам. И действительно, Данила обрёл здесь свой второй дом, настоящих друзей и нерасторжимую связь с искусством. Он перестал болеть.

Нам никогда не приходилось вникать в его учебный процесс, беспокоиться за его успеваемость. Все учителя отмечали его ум и способности, и учился он всегда самостоятельно. Но по искусству Август занимался с ним много. Работать нужно было всегда, везде, постоянно и систематически. наброски, зарисовки, этюды, натюрморты и портреты, домашние задания по композиции. Скучать и томиться от безделья Даниле было некогда.

Мы возобновили наши путешествия на машине, теперь уже троим. Снова посетили Киж и Карелию, навестили Анастасию Васильевну. За эти годы произошли большие изменения, и всё-таки кое-что нам удалось ещё показать нашему сыну из того, что в свое время производило на нас сильное впечатление. Наверное, самой интересной была поездка по Вологодской области, посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, где мы провели несколько дней, и откуда Данила привёз много этюдов и набросков. Замечательная русская архитектура, особая аура исторической старины, неповторимые фрески Дионисия, нетронутая природа с её дикими лесами и прекрасными озёрами, встреча в пути с цыганским табором, раскинувшим на огромном лугу свои большие живописные шатры, свободно пасущиеся между ними лошади, костры, а вокруг них в своеобразных цветастых нарядах необычные люди свободного племени, белокаменная колокольня затопленной церкви, возносящаяся над простором воды, ночёвки в палатке у костра — всё это неизгладимо осталось в памяти. Помню ещё, как приятно было встре-

чать большое количество симпатичных ленинградцев и москвичей, проводящих здесь свой летний отдых. Мы даже пошутили между собой: вот, оказывается, где она прячется, русская интеллигенция. Не на югах, а в глухих уголках Вологодчины.

По окончании девятого класса нужно было определиться в специализации. Данила выбрал архитектуру. Окончив СХШ на одни пятёрки, он легко поступил на архитектурный факультет Академии художеств. Август был доволен. Он видел в сыне собрата по творчеству, ведь казалось, что будущее Данилы предопределено. Но вот меня одолевали постоянные сомнения. Мне казалось, что его истинный, природный дар кроется в другом. Его гуманитарное поле было много шире того, которое необходимо художнику. К моменту окончания школы он стал настоящим эрудитом, великолепно знал всеобщую историю, литературу, интересовался философией, ну и, конечно же, прекрасно разбирался в истории искусства. Он был аналитиком, интеллектуалом, его сочинения по литературе, в частности о Достоевском, поразили меня зрелостью и оригинальностью размышлений, отличным литературно-стилистическим слогом. А вот тех качеств, которые, как мне казалось, необходимы художнику, — непосредственность восприятия, богатое художественное воображение, изощрённый эстетизм — ему явно не хватало.

Искусство как заразная болезнь, оно манит, притягивает и не отпускает, но не дай Бог быть в искусстве посредственным середнячком — это подлинная жизненная драма. Своими сомнениями я делилась с Августом, он не отвергал их, но считал, что творчество — процесс непредсказуемый, что в своём становлении художник проходит долгий путь развития и многообещающая уникальная одарённость многих детей не оправдывает впоследствии ожиданий, именно эти дети зачастую пополняют многочисленные ряды неудачников в искусстве.

По окончании первого курса Данила ушёл служить в армию. А через год мы получили от него письмо, в котором он ставил нас в известность, что после армии не вернётся в Академию, а собирается поступать на философский факультет университета. Это был удар, но мы знали, что спорить бесполезно — у нашего сына был решительный и упрямый характер.

Август переживал это решение глубоко и долго, как будто порвалась очень важная, связующая нить — радость совместного творчества и при написании этюдов и портретов, и при обсуждении и реализации самых разных художественных замыслов. Ему

казалось, что в сыне он потерял опору. И, несмотря на успехи Данилы на философском, журналистском, искусствоведческом поприще, которым Август, безусловно, радовался, он до конца жизни не мог смириться с сиротливой мыслью, что сын не стал продолжателем отцовского дела. Но он заблуждался. Сын продолжил его творчество, только в другом качестве. Случилось это, к сожалению, посмертно. Данила целиком подготовил и издал монографию о живописи Августа и написал к этой монографии большую статью. Я плакала, читая её. Она является самой глубокой, умной и профессиональной аналитической работой из всех, когда-либо посвящённых творчеству Августа Ланина.

* * *

Бальзаковский возраст — лучшая пора в жизни женщины. Ещё не наступило внешнее увядание, организм полон сил и энергии, ум отточен образованием и знанием жизни, сердце испытано и закалено переживаниями и страданиями, а душа по-прежнему исполнена желаний. И если в этом возрасте не придёт понимание, зачем и ради чего (или кого) живёшь на этом свете, оно не придёт уже никогда. У каждого это понимание, разумеется, своё, оно может принести счастье, а может и не принести.

Если бы сейчас, в свои старческие шестьдесят пять, я могла вернуться в прошлое, то выбрала бы не юность, как многие о том мечтают, хотя моя юность была на зависть счастливой и беззаботной, а зрелость тридцатипяти-сорокалетней женщины. Молодость хороша своим безрассудством, но отвратительна безапелляционной глупостью, которая часто проистекает не от отсутствия природного ума, а от отсутствия глубоких жизненных переживаний, опыта и незнания.

Моя зрелость пришлась на семидесятые-восемидесятые годы — расцвет (если можно так выразиться) брежневского застоя. Но вот в эту эпоху мне возвращаться совсем не хотелось бы, и я не понимаю тех, кто до сих пор вспоминает о ней с ностальгией.

С какого-то неуловимого момента конца шестидесятых — начала семидесятых годов в среде интеллигенции, да и в обществе в целом на смену энтузиазму «оттепели» пришли разочарование и апатия, понимание полной невозможности изменить систему к лучшему. И для этого были основания. Наблюдая за деятельностью весьма разных организаций, в которых мне довелось работать, я во-

очию убедилась, какие губительные пороки заложены в основе функционирования всей советской государственной машины. Сегодня многие убеждены, что Советский Союз якобы был могучей и прочной державой, погибшей лишь из-за «предательства» Горбачёва. Но я, прожившая в СССР добрых полвека, могу с полной уверенностью утверждать: Советский Союз рухнул, потому что прогнил насквозь, и уже в семидесятые это разложение общества стало очевидно в большом и в малом. Понимание ненормальности положения было всеобщим, и что со страной происходит что-то странное, было ясно всем, но, как ни странно, люди предпочитали бездумно плыть по течению, словно не догадываясь, чем обернётся лично для них неизбежный при подобной гражданской позиции большинства крах государства. Вот только один маленький, но очень характерный пример. В Ленгипроводхозе, крупном и процветающем институте, куда меня устроил папа, в мою задачу входили организация выставок и подготовка всей рекламной продукции о проектных разработках и достижениях института в мелиоративном хозяйстве. Материалы, эскизы и макеты, прежде чем они шли в печать, утверждались главным инженером института. У него была репутация умного, делового и энергичного человека, крупного специалиста в своей области, пользовавшегося большим авторитетом в коллективе. Как-то я принесла ему на утверждение материалы к проспекту о современных закрытых дренажных системах. Тщательно просмотрев их, он с удивлённым недовольством произнёс:

— Очень низкая рентабельность. У немцев в два-три раза выше. Такие цифры мы давать не можем.

И он, зачеркнув реальные цифры, предоставленные мне разработчиками и эксплуатационниками, написал сверху другие, чуть ли не на порядок выше. Такие случаи повторялись не раз. Так создавалась видимость «успехов и достижений».

Или другой пример. Помню, какой я испытала шок в первый год моей работы в школе, когда мы, учителя литературы и русского языка, по окончании выпускного экзамена засели в кабинете за проверку письменных работ. Ведущий учитель, парторг школы Нелли Владимировна, увидев, что я взяла ручку с красными чернилами, с улыбкой остановила меня.

— Не торопитесь, Наталия Арсеньевна. Сначала проверяем в карандаше.

— Вы мне не доверяете? — несколько уязвлённо поинтересовалась я.

— Ну что вы! — возразила она. — Просто наша с вами задача состоит в том, чтобы уменьшить количество ошибок до нужной оценки. Мы должны блюсти честь школы. Придётся подчищать очень многое, так что на карандаш сильно не нажимайте, чтобы при исправлении следов не оставалось.

Сегодня, в условиях тотальной коррупции, то, что когда-то вызывало беспокойство и возмущение, кажется смехотворными детскими шалостями. Во всяком случае, взятки за подтасовки в оценках учителя тогда не брали. Но когда теперь мы задаём себе вопрос: как мы дошли уже и до этого и куда испарились ум, совесть и профессионализм в нашем государстве, то ответ, мне кажется, прост и очевиден: это происходило постепенно, почти незаметно, шаг за шагом, на протяжении многих лет.

В те же семидесятые годы возобновились политические преследования, проявление любого инакомыслия вновь стало рассматриваться как государственное преступление. Разумеется, репрессии КГБ этого периода не сравнить со сталинскими, но суть осталась та же, и сознание любого независимо и критически мыслящего человека замутилось если не страхом, то серьёзными опасениями за собственное благополучие.

Любопытно всё-таки устроен человек! Казалось бы, весь исторический опыт свидетельствует о том, что мысль остановить невозможно. Она возникает помимо воли человека, приходит откуда-то свыше и поселяется в умах, пока не изживёт самое себя. Люди, как радары, улавливают мысль, не сразу, не все. Поначалу — самые «технически», интеллектуально совершенные. Но потом она, как эпидемия, распространяется в головах. И каждая мысль имеет право на существование, как имеет это право любое проявление жизни на Земле, будь то вредный комар или полезная пчела. Только при этом условии человек не только может полноценно развиваться, но и выжить.

И всякий раз, когда любой тоталитарный режим старается из всех сил бороться с мыслью, стремится уничтожить её, всё кончается очень плохо — для всех. Мысль может быть побеждена только другой мыслью — более умной и актуальной. И борьба мыслей должна быть свободной, как честное состязание в спорте или труде. Ведь там, если не умеешь или не можешь, — не будешь принимать участия, заранее зная, что обречён на поражение.

Свобода мыслей необходима как воздух. Другое дело — свобода действий. Именно она должна ограничиваться свободой мысли. Так всегда было в цивилизованных, свободных и процветающих государ-

ствах. У нас же всё наоборот: свобода действий при несвободе мыслей. Мне не нравится, как ты мыслишь, а посему вот мой кулак: на! получай и заткнись!

Мыслящие люди в Советском Союзе, начиная с хрущёвской «оттепели», не помышляли ни о свержении государственного строя, ни о разделении страны. Они не плели тайных заговоров, не готовили диверсий, не совершали терактов. Они даже не создавали тайных оппозиционных партий или серьёзных политических кружков и организаций. Все их мысли, критические выступления и творческие потуги были направлены на совершенствование, улучшение и развитие того, что уже было достигнуто, — в науке, искусстве, философии, экономике и политике. И каким же патологически больным умом надо было обладать, чтобы за это преследовать, сажать в психушки, арестовывать и высылать из страны, как будто специально провоцируя и подталкивая к недовольству, сопротивлению, эмиграции и разрушению страны.

Одно время в мастерской на Маяковского у нас существовали «среды» — вечера открытых дверей, когда могли приходить все желающие, чтобы пообщаться, обменяться мнениями и информацией. Люди приходили по цепочке, одни тянули за собой других, и круг общения был широк. Обязательным и постоянным участником этих «сред» был Феликс Самойлович Лемберский, а также Гриша Шило с женой Надей и очень талантливый, молодой Игорь Филатов из шемакинского кружка, позднее покончивший собой. Из Москвы часто навещал нас кинетист Лев Нусберг с членами своей команды и Слава Колейчук. Часто бывали Женя и Мила Бабляк со своими друзьями из Мухинского училища. Обычно собиралось около десяти-пятнадцати человек, и расходились мы за полночь.

Дворник Яша почти в открытую бдительно следил за нами из-за отодвинутой занавески окна на первом этаже, что вызывало наши шутки и смех. В те годы все дворники были стукачами, и этот факт был широко известен, как и то, что телефоны огромного количества людей систематически или периодически прослушивались. Определить это было несложно. Во время телефонного разговора раздавался вдруг характерный, легко узнаваемый щелчок. Наш телефон прослушивался неоднократно, как правило, после определённых ситуаций.

Впервые я обратила на это внимание после того, как Таня Борейко, выйдя замуж за Джорджа Адамовича и став американкой, спустя много лет приехала в Советский Союз навестить маму и се-

стру. По пути в Минск она с сынишкой Денисом, прибыв на теплоходе, решила дня два погостить у нас в Ленинграде. Но случилось непредвиденное — неожиданный сильный приступ аппендицита у Дениса потребовал срочной операции, и Таня застряла на десять дней. Всё это время мы с ней активно, мобильно и весело проводили время, не только сопровождая её в ознакомлении с достопримечательностями города и пригородов, но и посещая те места, доступ в которые был открыт только для иностранцев (магазины «Берёзка», ресторан гостиницы «Европейская»). Расставаясь, Таня озабоченно поинтересовалась:

— Не бойтесь? Вас ведь наверняка взяли «под колпак». Я не хотела бы, чтобы из-за меня у вас были неприятности.

Действительно, в те годы общение с «капиталистическими» иностранцами, да ещё такое демонстративное, не только не поощрялось, но и вызывало подозрительность, хотя официально вроде и не было запрещено.

— Ну не такие же там сидят идиоты, чтобы не понимать, что даже если ты стала агентом ЦРУ, то никаких государственных тайн мы тебе раскрыть не можем, — возразила я и добавила: — Неужели я не могу пообщаться с бывшей одноклассницей?!

Через некоторое время в письме Таня сообщила нам, что они с Джорджем решили подзаработать в качестве сопровождающих руководителей групп американских туристов, желающих побывать в СССР, и интересовалась, можно ли будет организовать их встречи с нами у нас дома, так как ничто так не интересует американцев, как непосредственное общение с советскими людьми и знакомство с условиями их повседневной жизни. Подобное общение никак не входило в программу поездок и не только не приветствовалось советской стороной, но и вызывало категорическое неодобрение, почти запрет. Но мы, подумав, согласились. Нам самим было чрезвычайно интересно пообщаться с американцами, да и в грязь лицом ударить мы не боялись — наши условия жизни были вполне приличными. В конце концов, нельзя же потакать шизофреническим глупостям властей и делать из себя рабов и полных идиотов!

На протяжении нескольких лет то Таня, то Джордж навещали нас со своими подопечными, исполняя роль переводчиков. Среди них были группы смешанные, из представителей разных городов и профессий, но были и специализированные: спортсмены, учителя, архитекторы. Мы, впрочем, как и они, вели себя достаточно осторожно, не позволяя никаких политических или критических разгово-

ров и замечаний. Таня и Джордж, предки которого были выходцами из Белоруссии, потом нам говорили, что после этих посещений, воспринимаемых американцами с особым интересом и любопытством, наши гости всегда дружно признавались, что глубоко заблуждались как во мнении относительно советского образа жизни, так и в отношении самих русских.

Иногда на эти встречи мы приглашали друзей и со своей стороны. На одной из таких встреч присутствовали Алла Осипенко и Джон. Среди американцев оказался искусствовед, и это был единственный случай, когда кто-либо из наших заокеанских гостей начал вести себя не то что агрессивно, но очень задиристо, пренебрежительно и с чувством превосходства. Он критиковал всё: и город, который, по его словам, был грязным и неухоженным, и горожан, плохо одетых и малокультурных с его точки зрения, и даже музеи.

— Ну а чем вам не угодил Эрмитаж? — полюбопытствовали мы.

Он презрительно фыркнул.

— Я не могу воспринимать искусство, когда по залам топает рота солдат, а вокруг полно людей, от которых плохо пахнет.

Он был абсолютно уверен, что в советской действительности нет ничего достойного, заслуживающего внимания, симпатии и уважения. Август и Алла очень весомо и аргументированно стали ему возражать. Он, видимо, не ожидал, что встретит здесь столь профессиональных, не просто равных ему по культуре и образованию, но и во многом явно превосходящих оппонентов. Постепенно его раздражённое удивление сменилось уважительной симпатией, и расстались мы довольные друг другом, а Джордж был в восторге от этой пикировки и очень доволен тем, что «этому задавке натянули нос».

Интересной была встреча с американскими учителями, которые восторгались нашей системой образования, дисциплиной и порядком в школах, уважительным отношением к учителям. Я очень удивилась, когда, упомянув широко известную у нас тогда книгу Бэл Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз», рассказывающую об американской школе и, насколько мне было известно, ставшую бестселлером в США, выяснилось, что никто из присутствующих американцев не только не читал, но даже не слышал о ней.

Американцы сокрушались уровнем преступности в своей стране, восхищались тем, что у нас не существует «национального вопроса», и жаловались на свои национальные проблемы. Мы подтвердили, что, действительно, дружба народов — это наше советское достижение.

— У нас в паспортах национальность человека прописана, а у вас нет. Каким же образом, исключая ярко выраженные внешние данные, может возникать национальная дискриминация? — поинтересовалась я.

— О-о! — сказал один из них, абсолютно европейской внешности. — Вот я, например, пуэрториканец. Форма ногтей, особая желтизна под ними, вот, видите? манера разговора и еле уловимый акцент — признаков много, и у всех американцев на них набит глаз.

* * *

Когда у Августа проходила выставка в Голубой гостиной, о которой я уже писала, наши органы безопасности тоже не оставили её без внимания.

Всё время, пока длилась выставка, мы с Августом бывали там каждый день. Он общался со зрителями, а я его сопровождала. Рядом с Голубой гостиной находился парткабинет ЛОСХ. Около него, сидя на диване, мы часто курили. В один из таких моментов, где-то на третий-четвёртый день после открытия выставки, мимо нас в партком решительным шагом прошествовали двое молодых мужчин в верхней одежде. Спустя две-три минуты они, уже без пальто, вышли в сопровождении заведующей кабинетом — милой, приветливой женщины. Лица их были деловито непроницаемыми. Не обращая на нас внимания, один из них строго спросил:

— Куда идти? Где эта выставка?

А другой начал:

— Этот Ланин...

Завкабинетом, увидев нас, покраснела и торопливо его перебила:

— А вот и автор работ, которые вас интересуют.

Потом она смущённо сказала, обращаясь к Августу:

— Товарищи хотят познакомиться с вашей выставкой.

Мы сразу поняли, что это за «товарищи». Август поднялся с дивана и, чуть кивнув, представился:

— Ланин, Август Васильевич.

Они, не отвечая, уставились на него ничего не выражающими глазами.

— Может быть, буду вам полезен? — чуть иронически предложил Август.

«Товарищи» были явно недовольны, тем не менее один из них небрежно бросил:

— Конечно. Пройдёмте.

Не дожидаясь нас, они быстро направились в гостиную. Завкабинетом схватила Августа за руку и успокоительно прошептала:

— Не волнуйтесь. Они специалисты, в искусстве разбираются.

Мы пошли следом за этими «специалистами». Я держалась чуть поодаль, внимательно прислушиваясь к разговору.

Тот, кто доложил в органы об этой выставке, сделал это, видимо, подробно и в деталях, потому что они, бегло окинув взглядом экспозицию, явно заранее осведомлённые, сразу направились к картине «Скрижали» («Автопортрет»).

— Почему у вас здесь присутствует слово «инакомыслие»? — сурово спросил один, не слишком вглядываясь в работу.

Август стал пояснять:

— В этой картине мне хотелось передать связь различных времён, их драматизм и сложность, духовную проблемность. На этих свитках свыше ста слов, в них философский смысл тех явлений, без которых немыслима человеческая жизнь, они отражают основные понятия бытия. Любовь, Добро, Дружба, Смерть и так далее. Инакомыслие — одна из составляющих нашего бытия. Люди не могут все думать одинаково, тогда они были бы роботами, а не людьми.

— Ведь это же автопортрет. Вы что, выступаете в качестве эдакого проповедника, присваиваете себе миссию учителя, пророка? Поставили себя в центре, со свечой. И какой же путь вы освещаете?

Терпеливо и спокойно Август продолжал объяснять:

— Художник, являясь центральным образом, не проповедует. Он в мучительном раздумье. В мировом хаосе событий и мыслей его лист чист — обратите на это внимание. Со свечой в руке он ищет свой путь, своё предназначение. Это не проповедь, а исповедь.

Затем они перешли к картине «Детство», и, заранее подготовленные, стали продолжать допрос:

— Странное у вас детство. Рыцари, короли, бабочки и цветы, какие-то уроды, сфинксы. А где, например, герои Гайдара? У вас подзаголовок «Сотворение мира». Но этот ваш мир совсем не советский.

Их разговор с Августом привлёк некоторых зрителей, которые, приблизившись, стали внимательно слушать. Один из них с возмущением заметил:

— Странное не детство, а странные вопросы вы задаёте автору. Во-первых, здесь есть будёновцы, вот, пожалуйста, и ракеты, и космонавты. А во-вторых, вы сами в детстве разве не читали сказок и не ловили бабочек?

«Товарищи специалисты» не ответили. Они молча посмотрели остальные работы, вопросов больше не задавали и, суховаато попрощавшись, ушли.

* * *

Существовал большой список запрещённой литературы, за чтение, хранение и распространение которой следовало уголовно-политическое наказание. Помню, после того как Алла Осипенко и Джон ушли из Кировского театра, проявив непокорность и несогласие с его руководством, они привезли к нам небольшой чемодан с книгами.

— Ребята, — попросили они, — пусть эти книги подальше от греха побудут у вас какое-то время. За нами что-то стали присматривать. Заодно и почитаете.

Эти книги — роман Пастернака «Доктор Живаго», «Архипелаг Гулаг» Солженицына, стихи Мандельштама и воспоминания Надежды Мандельштам и другие — они тайком привозили из-за рубежа, когда ездили на гастроли с Кировским театром. Мы их прочитали с огромным интересом и наслаждением. Хранились они у нас почти год.

Хуже дела обстояли у тех художников, которые независимо и свободно противопоставляли себя официальной идеологии, как, например, Саша Леонов. Их преследовали угрожающе открыто, пытаясь запугать. Один раз, когда я была в гостях у Леоновых, Света подвела меня к окну и указала на белый «Москвич», стоявший под окнами.

— Вам, пожалуй, не стоит к нам сейчас приходить. После того как мы подали заявление об отъезде, за нами неотрывно следят. Этот «Москвич» неотступно следует по пятам уже несколько дней. И телефон прослушивается. С нами общаться сейчас опасно.

Леоновым удалось благополучно выехать из СССР и осесть в Париже. А вот судьба другого опального художника, одного из лидеров «подпольного искусства», Жени Рухина сложилась трагично.

Мы познакомились с ним через его жену Галю Попову, умную, деловую, общительную и способную керамистку, с которой Август вместе работал над одним из заказов в Худфонде, и какое-то время довольно тесно общались. Галя тогда была уже членом Союза художников, а Женя только начинал свои экспериментаторские поиски на живописном поприще. Они пригласили нас домой в большую петербургскую квартиру Жениных родителей. Его отец, насколько я помню, был известным профессором-геологом. Одна из комнат в этой

квартире служила тогда Жене мастерской. Он нервно показывал нам свои картины, очень разностильные, во многом подражательные, но смелые и мятежные. У него и характер был такой — отчаянный, широкий и размашистый. Размашистость его натуры проявлялась во всём. Огромного роста, широкоплечий, с ореолом вьющихся, длинных, светло-каштановых волос, романтично мужественный, похожий то ли на геолога-первопроходца, то ли на охотника-ковбоя, он был чрезвычайно активен и жаден до жизни. И всё, что он делал, выглядело по-мужски лихо и дерзко.

Характерной чертой очень многих «подпольных» художников была завышенная самооценка. Все они считали себя гениями, в том числе и Женя Рухин. Многие его работы были остро протестными, ассоциативно знаковыми, как, например, перевернутый стул с ощерившимися ножками или повернутый задней стороной подрамник холста с вбитым гвоздём. Они были эпатажны и казались мне эстетически поверхностными.

Рухин оказался деятельным, решительным и способным организатором, и со временем вокруг него сплотились почти все ленинградские художники, существовавшие за бортом ЛОСХ. Во многом благодаря его личным контактам, усилиям и напористости сумели состояться громкие выставки в домах культуры «Невский» и Газа. Он открыто и без боязни встречался с иностранными журналистами, продавал иностранцам свои работы и быстро сделал себе имя.

Где-то во второй половине семидесятых по городу прокатилась волна поджогов художественных мастерских. Эти поджоги длились, наверное, на протяжении года, а может быть и дольше, и вызвали среди художников панику. Они стали срочно обивать двери железом, сделал это и Август. Тот, кто устраивал эти страшные пожары, действовал нагло, примитивно и, казалось, без идеологической подоплёки — горели мастерские как правоверных членов ЛОСХ, так и «левых». Методика была простая: по ночам легко воспламеняющимся аэрозолем опрыскивалась дверь, а затем поджигалась. Руководство ЛОСХ активно забило тревогу, затретило правоохранительные органы. Ведь для любого художника нет ничего страшнее, чем потерять труд своей жизни, а у многих из них мастерские были забиты холстами.

Наконец органы сообщили, что поджигатель, маньяк-одиночка, пойман и арестован. Действительно, пожары прекратились. Но художники не верили в версию маньяка, считая, что действовала служба безопасности, и основанием для подобных подозрений явилась гибель Жени Рухина и двух его друзей во время очередного пожара.

Кстати, после этой гибели пожары и прекратились. Трагедия вызвала много шума и разговоров, обрастала тёмными слухами и сплетнями. Официальная версия случившегося была такова. Компания художников для очередной богемной попойки собралась в мастерской Рухина, расположенной на втором этаже бывшего конюшенного двора в районе площади Труда. Напившись, они заснули и погибли от угарного газа — пожар начался на первом этаже под мастерской. Станным было то, что один из них, оказавшийся там совершенно случайно и не принадлежавший к кругу друзей, спасся, выпрыгнув из окна. Почему он не разбудил своих товарищей, почему не поднял шум и не вызвал пожарных, а тихо скрылся, было непонятно и вызывало подозрения.

Человек этот производил весьма малоприятное впечатление очень сомнительной личности. Мне довелось увидеть его как-то в мастерской Натальи Еремеевой и её напарницы по работе Инны Рахимовой. Напоминающий жеребца, накачанный, с раскоряченной походкой, он настолько отталкивал своей выпирающей физиологией, настолько очевидно был умственно и эмоционально примитивен, что я потом с искренним недоумением поинтересовалась у своих приятельниц, зачем они пускают к себе в мастерскую этого типа. Инна отшутилась:

— Ум его ушёл, конечно, совсем в другое место, но этим он и примечателен. Ты не находишь, что таких породистых самцовых экземпляров можно встретить крайне редко?

Её цинизм меня покорибил. Я резко возразила:

— Уж чего-чего, а породы тут никак нет. Ярко выраженное животное начало — это ещё не порода. Ему бы работать мясником, разделывать туши. А если он художник, то это явная аномалия.

Позднее этот человек уехал за рубеж. Говорили, что он на надувном матраце переплыл Чёрное море и добрался до Турции.

Сегодня я с удивлением обнаруживаю, что этот тупой и животный тип мужчин, действительно редкий в те годы, стал героем нашего времени, как в качестве главного современного персонажа в искусстве, так и в реальности.

* * *

Нет необходимости писать о том, как важно людям творческой профессии донести свои произведения до тех, кому они предназначены. Ведь в этом смысл их жизни. Часто работа «в стол» или «на полку» оборачивается истинной трагедией.

Сегодня организация любой выставки упирается исключительно и только в деньги, интерес к искусству проявляется в узком кругу профессионалов и любителей, и такое положение считается нормальным. Поэтому, наверное, трудно представить себе, какой широкий общественный резонанс вызывали в семидесятых — начале восьмидесятых годов некоторые художественные выставки (а также книги и кинофильмы), особенно «запретных» авторов, официально отвергаемых и непризнаваемых, потому что именно их творчество отвечало духу времени и соответствовало эстетическим и социальным запросам.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов в изобразительном искусстве Ленинграда воцарился застой. После двух самых больших и представительных выставок «подпольного» искусства в Домах культуры Невский и им. Газа, которые пользовались большим успехом и продемонстрировали и талант, и мастерство большинства участников и к которым в Союзе художников отнеслись крайне негативно, отказавшись принять их авторов в ряды своей организации, эти художники поняли, что по-прежнему обречены на дальнейшее прозябание и безысходность, и почти все уехали за рубеж. Для руководства ЛОСХ, избавившегося от серьёзных конкурентов, наступили тишь и благодать. Залы заполнили многочисленные, подражательные и однообразные, безликие пейзажи, натюрморты, цветы, лирические пасторали. Это никак не отвечало зрительским ожиданиям, и перед ЛОСХ возникла новая проблема: выставки представляли собой унылое зрелище пустующих залов. Творческому застою надо было найти объяснение, и его скоро подобрали. Всё чаще среди членов ЛОСХ стало звучать мнение: публика — дура! Она, мол, не в состоянии разобраться и оценить профессиональные достоинства, потому что невежественна и мало образованна в специфике изобразительного искусства, а потому её мнением можно и пренебречь. В этом суждении, безусловно, была своя доля истины, но важным тут являлось, *кто* это мнение насаждал и при каких обстоятельствах. Ставший недееспособным, ЛОСХ пытался глубокомысленно и снобистски переложить ответственность на чужие плечи, делая публику без вины виноватой.

Все, кто бывал в эти годы в мастерской Августа, а это были самые разные люди, единодушно говорили о том сильнейшем впечатлении, которое производили на них его большие философские и социально значимые работы, и выражали сожаление, что они не выставляются. Это окрыляло, подстёгивало в желании сделать

большую ретроспективную выставку, ведь мастерская была забита работами. Но осуществить такое желание в жёстких цензурных условиях и крайне ограниченных возможностях выставочных площадок было невероятно трудно. Некоторые художники получали такую возможность только раз в жизни, а многие никогда. Компенсировалось это участием в регулярных больших общих выставках, но и на них пробиться было непросто. Выставком дотошно и придирчиво отбирал работы. Как это происходило? Художники, волнуясь и нервничая, как школьники или студенты перед экзаменом, несли свои детища на суд нескольких уважаемых членов выставкома, те рассматривали работы, а потом просили автора выйти за дверь. Отрицательный вердикт сообщали кратко: «Предложений нет». Спрашивать о причинах отказа было не принято. «Не нравится!» — этот ответ считался исчерпывающим и правомочным. При этом почему-то произведения серые, подражательные и бессодержательные проходили беспрепятственно. Разумеется, такая практика вызывала возмущение у многих, и на общих собраниях членов ЛОСХ всё чаще, хотя и безрезультатно, поднимался вопрос о необходимости организации хотя бы некоторых выставок, когда каждый участник мог бы свободно представить одну работу по собственному выбору.

1985 год для моего мужа должен был стать юбилейным — 60 лет со дня рождения и 30 лет творческой деятельности. По уставу Союза художников каждый его член имел право на персональную юбилейную ретроспективную выставку. Союз художников предоставлял свои выставочные залы, организовывал перевозку и развешивание работ, утверждал и направлял в издательство «Художник РСФСР» текст и иллюстрации для каталога. Даже оказывал необходимую помощь деньгами. Август решил этим правом воспользоваться. Происходящие в стране перемены подавали надежды, и он обратился с заявкой в Правление ЛОСХ. Для того чтобы включить персональную выставку в перспективный план работы, в художественную мастерскую выезжали члены выставочного сектора, просматривали работы и выносили соответствующее решение: быть или не быть. Они приехали к Августу во главе с первым заместителем председателя Правления живописцем Мальцевым.

Евгения Демьяновича Мальцева в Союзе очень уважали. Он не имел ни званий, ни наград, но пользовался высоким нравственно-человеческим авторитетом. Близкий друг Владимира Солоухина и Фёдора Абрамова, он разделял убеждения писателей-«деревенщиков»,

писал крупные реалистические картины критического, гражданского звучания и, в отличие от многих, отличался терпимостью к инакомыслию. Они с Августом были почти ровесниками и относились друг к другу с симпатией. Я не была знакома с Мальцевым, но часто видела его в ЛОСХ. Невысокий, но очень крепкий, широкоплечий, большоголовый, с умным выразительным лицом, он производил впечатление решительного, мужественного и волевого человека. Позднее, в период правления Собчака, Мальцев некоторое время возглавлял объединение всех творческих союзов города.

Внимательно и с интересом ознакомившись с работами Августа (а он представил им произведения и материалы по графике, синтезу и живописи), члены творческого сектора вынесли положительный вердикт, предположив, что выставка будет пользоваться успехом. «Зритель будет!» — уверенно заявил Мальцев, и окрылённый Август начал готовиться к этому, очень важному в жизни каждого художника, событию. Статью для каталога взялся написать Моисей Самойлович Каган.

Были обрамлены все работы, подновлены макеты, напечатан и получен на руки тираж каталога. И вдруг, совершенно неожиданно и случайно, встретив кого-то из членов Правления, Август узнал, что решение о его выставке пересмотрено — её отменили. Ему не сочли нужным даже сообщить об этом и объяснить мотивы нового постановления. Он пытался их выяснить, обратившись в президиум Правления, в партбюро, но всюду наткнулся на заговор молчания, непробиваемую глухую стену отказа обсуждать этот вопрос. Прятали глаза, разводили руками, но отказались даже дать выписку из протокола с обоснованием нового решения. Поведение членов Правления выглядело не просто неприличным, но отдавало откровенным самодурством. Я никогда не могла сражаться за себя, но если речь шла о других, тем более о близких мне людях, членах моей семьи, я, не раздумывая, ввязывалась в борьбу. Долго и мучительно размышляя, я наконец решилась, написала большое письмо и послала его в «Литературную газету» — единственно любимый и уважаемый мною тогда орган советской печати.

Когда я сообщила об этом Августу, он страшно рассердился.

— Ты поставила меня этим дурацким поступком в унижительное положение. Не хватало ещё, чтобы в эти дела впутывалась жена!

Но дело было уже сделано. Спустя некоторое время из Москвы мне позвонил заведующий отделом искусств «ЛГ» Григорий Цитриняк. Этот телефонный разговор, такой по-человечески участливый,

растрогал меня до глубины души. И я снова тогда ощутила разницу между безучастно-холодным стилем человеческих отношений в Ленинграде и открыто-внимательным, заинтересованным в Москве. Григорий Цитриняк сказал мне примерно следующее:

— Мы внимательно прочитали ваше письмо, с интересом просмотрели фотографии работ. Показали их некоторым московским художникам, которые были в гостях у редакции. Разделяем ваше недоумение в связи с решением Ленинградской организации Союза художников и сейчас решаем, как вам помочь.

А ещё через некоторое время я получила от него письмо.

«Уважаемая Наталия Арсеньевна, извините за задержку ответа, но — подождите, пожалуйста, ещё. Пока не могу сообщить ничего подробнее. С уважением, Г. Цитриняк».

К этому была приложена копия письма первому секретарю Союза художников СССР Таиру Салахову.

«Уважаемый Таир Теймурович,

направляя Вам (в копии) письмо тов. Ланиной — жалобу на то, что художнику А. В. Ланину было отказано в персональной выставке работ, приуроченной к его 60-летию, — просим ответить автору и нам.

Хотелось бы добавить: пусть Вас не смущает, как не смутило нас, что обратилась жена художника — кому же и защищать мужа, как не жене и друзьям? Тут можно понять и превосходные степени в оценке работ. Лишь бы рассмотреть вопрос объективно.

Присланные автором фотографии картин находятся в редакции и могут быть высланы по первому требованию, но лучше, если оригиналы увидит непредвзятый человек.

С уважением, Г. Цитриняк».

Наконец пришёл ответ из Правления Союза художников СССР за подписью его секретаря, некоего А. Е. Ковалёва — длинный, лукаво-путаный и маловразумительный, в котором почему-то было много рассуждений о цветомузыке с глубокомысленным выводом: «Техника — это не изобразительное искусство, а изобразительное искусство — не техника... Их соединение безусловно необходимо, но не в станковом изобразительном искусстве, а в промышленном производстве». О живописи и графике было сказано, что «предлагаемые для показа произведения не вполне соответствуют принципам социалистического реализма». Заключил своё послание А. Е. Ковалёв так: «Исходя из данной, вполне конкретной ситуации и Ваших собственных двадцатилетних наблюдений художественной жизни

Ленинграда, Вы делаете вывод о, якобы, неблагополучном состоянии всей системы функционирования современного многонационального изобразительного искусства. Мы не можем согласиться с Вашими обобщениями и произвольными логическими построениями. Разумеется, не потому, что полностью солидарны с коллегами из Ленинграда. Вся современная практика, вся организационно-творческая, выставочная, пропагандистская, шефская, просветительская деятельность Союза художников СССР, объединяющего сегодня двадцать шесть тысяч советских художников, целенаправленно и единодушно работающих во всех союзных республиках, наконец, миллионы зрителей, посещающих наши выставки, свидетельствуют об обратном».

После прочтения такого официального документа мне оставалось только развести руками. Что можно сказать о положении искусства в стране, где ценность и значение его определяются «качественными и количественными показателями»? Где «двадцать шесть тысяч художников» работают «целенаправленно и единодушно»? Мне стало ясно, что вопрос об этой «общественной», «творческой» организации для меня окончательно закрыт.

Ответ Ковалёва из Союза художников СССР разозлил Августа. Он решил сам обратиться и не куда-нибудь, а прямо в ЦК. Терять ведь было нечего. Такие фигуры, как Аникушин и Моисеенко, могли отступить только перед этим всемогущим органом.

Спустя некоторое время Августа вызвали в Ленинградский обком партии. Там ему сказали, что творчество его вызывает понимание, но ничего нельзя поделать с руководством ЛОСХ, которое стоит на своём упорно и неколебимо, а посему обком предлагает разместить работы в выставочном зале недавно открытого в городе Дворца молодёжи на Петроградской стороне. Август согласился.

Борьба за эту выставку длилась два года, но всё-таки в июле 1988 года она состоялась. Несмотря на время отпусков, её посетило много народу. По следам этой выставки в знаменитой в те годы телевизионной передаче «Пятое колесо» сюжет о творчестве Августа Ланина и его собственные размышления о жизни и искусстве заняли много места и времени. Неравнодушные, благодарные отзывы зрителей не только помогли Августу оправиться после тяжёлейшего противостояния со своими коллегами, но и вдохновили, уверили в том, что сделанное им достойно внимания и действительно нужно людям.

* * *

Покидая Советский Союз, Саша Леонов уверял нас:

— Этот строй рухнет не позднее девяностого года, а может быть, и раньше. Помяните моё слово. Я это чувствую, я в этом уверен.

Он оказался провидцем.

Исторические события начала девяностых годов слишком свежи в памяти, и окончательную оценку им давать ещё рано. Но даже для простого обывателя это был необыкновенно интересный, сложный и бурный период. Вся страна, как заколдованная мёртвая царевна, очнулась от длительного сна и с непрерывным, захватывающим интересом прильнула к экранам телевизора и радиоприёмникам, вышла на улицы и прониклась важностью момента. Проснулась не просто жизнь, проснулись надежды, чаяния и вера.

В это стремительное, насыщенное острыми политическими проблемами время весной 91-го года Август неожиданно заявил:

— Не пора ли нам с тобой заняться своим здоровьем?

Мы были уже немолоды, и здоровье, действительно, требовало внимания.

— А как ты себе это представляешь? — поинтересовалась я.

— Думаю, надо совместить полезное с приятным. Махнём-ка мы в Карловы Вары. В Союзе художников можно получить туда путёвки.

Идея Августа не пришлась мне по душе: против санаториев у меня было стойкое предубеждение. Но он настоял на своём, и в июне мы поехали в Карловы Вары. Я надеялась увидеть Прагу, поездить по Чехословакии, ведь не всё же время проводить у минеральных источников, но мечты мои были пресечены с самого начала — нам не обменяли на рубли ни одной кроны.

— А как же сходить в туалет, ведь они там платные? — с иронией спросил Август у солидной дамы, получая путёвки.

— В кустики сбегаете, — отрезала она.

Эта финансовая сторона нашего пребывания в Карловых Варах имела забавное продолжение. Группа горняков, прибывшая сюда, кажется, из Воркуты по профсоюзным путёвкам, в первую же неделю объявила голодовку в знак протеста против того, что нас не обеспечили местной валютой. Советскому Союзу тогда принадлежал самый роскошный и крупный в Карловых Варах санаторий «Империял». Чешские врачи и медперсонал, обслуживающие нас и прекрасно говорящие по-русски, были не просто возмущены, но и шокированы.

— Ради чего приехали сюда эти люди? — с недоумением вопрошали они. — Бегать по магазинам или лечить больные желудки?

История получила огласку. Три дня подряд радиостанция Би-би-си сообщала об этом факте в информационных новостях, и наконец к нам приехали представители советского посольства из Праги и выдали каждому по энному количеству крон, выражая при этом раздражённое недовольство тем, что мы разоряем государственную казну.

Большинство отдыхающих решило на эти деньги организовать автобусную экскурсию в Прагу. Злата Прага, этот прекрасный город, великолепно сохранивший свои исторические и архитектурные достопримечательности, поразил меня не только своей цельной красотой, но и её масштабностью. Здесь, в Праге, я вдруг поняла, насколько незначительна по своим размерам уникально ценная историческая и архитектурная часть моего родного города, составляющая по сути только его старый, классический центр, который, к тому же, в те годы находился в очень запущенном состоянии.

В сравнении с Прагой Ленинград выглядел городом неухоженным, грязным и почему-то постоянно перерытым. В связи с этим ходил даже такой анекдот: «Неизвестно, будет ли война с Америкой, но Ленинград на всякий случай уже окопался».

К концу восьмидесятых годов в Советском Союзе всё приходило в упадок. Но в Ленинграде это особенно бросалось в глаза. Было обидно за город, за его глухую провинциальность, всё возрастающую убогость жизни и угнетённость сознания. С началом перестройки ленинградцы подняли головы, и голос Ленинграда, как и когда-то, зазвучал на всю страну через митинги и телевидение, ставшее к тому времени одним из самых ярких и талантливых в стране. На первых свободных выборах ленинградцы избрали своим мэром Анатолия Собчака.

В Чехословакии очень внимательно следили за тем, что происходит в Советском Союзе. Курирующий нас врач, молодой, симпатичный, интеллигентный чех не раз заводил с нами разговор о происходящих в СССР событиях. В первый раз, узнав, что мы из Ленинграда, он многозначительно произнёс: «Анатолий Собчак!?» — и вопросительно посмотрел на нас, как бы прошупывая, на чьей мы стороне. Убедившись, что мы являемся приверженцами своего нового мэра, он лукаво в шутку произнёс:

— Фамилия Собчак ведь не русская, правда? Очень похожа на чешскую. Вам так не кажется?

Мы рассмеялись вместе с ним. В другой раз он поинтересовался, насколько оптимистичны наши прогнозы в отношении совершающейся перестройки. Мы заверили его, что перемены будут радикальны и обратного пути нет, потому что поднялась вся страна.

— Это очень хорошо, — заметил он. — Пора наконец кончать с этим социалистическим экспериментом.

Он видел дальше нас. Мы тогда ещё не подозревали, что вместо социализма «с человеческим лицом» нас ожидает капиталистическое будущее.

Состояние политической напряженности, самого пристального внимания к тем важным перипетиям, которыми была наполнена советская действительность, не покидали советских отдыхающих и здесь, за границей. Все разговоры вертелись вокруг политической ситуации в стране. По вечерам обитатели санатория собирались в нижнем холле у экрана телевизора, смотрели новости из СССР и бурно их обсуждали. Завязывались острые споры и дискуссии, порой на повышенных и даже оскорбительных тонах. Страсти кипели вовсю.

Нашей соседкой по обеденному столу оказалась приятная женщина. Она была немолодой, несколько тяжеловатой, модно и хорошо одетой, с пышными рыжеватыми волосами, собранными на затылке. В её манерах одновременно сочетались строгость, властность и доброжелательная приветливость. Знакомясь, она представилась просто:

— Меня зовут Нелли Кирьяк, я из Кишинёва.

— Мне довелось бывать в вашем городе, — заметил Август. — У меня там хороший знакомый живёт — архитектор Лебедев.

— Сергей Борисович? — воскликнула Нелли. — Я его прекрасно знаю. Наш бывший главный архитектор. Прекрасный специалист и блестящий, замечательный человек, весёлый, остроумный, широкой души. Он много сделал для города.

— Тогда почему бывший? — удивился Август. — Чем же он провинился?

— Русский, — лаконично пояснила Нелли и добавила: — У нас в Молдавии начался разгул национализма, впрочем, как и повсюду. Какой-то дикий шабаш тех, кто называет себя «демократами».

Последние слова она произнесла с нескрываемым презрением.

— Жалко, — проронил Август. — У нас с ним были большие планы, мы мечтали установить в Кишинёве праздничную цветомузыкальную скульптурную композицию — «Цветок Молдовы».

Нелли чуть прищурилась.

— Что-то вспоминаю, он говорил мне об этом. Так вы художник, архитектор?

— И то и другое. А вы?

— О-о, я... В настоящий момент и не знаю. Но до сих пор была министром культуры, здравоохранения и социальных вопросов Молдавии. Сейчас правительство на грани развала, так что о своей судьбе могу только догадываться. Страшные времена наступают.

— Ну, зачем же так безнадежно?

— А вы питаете какие-то надежды? Разве вы не видите, что происходит? Страна разваливается. На арену вышли самые тёмные, низменные силы, которые прикрываются лозунгами о свободе, а на самом деле просто рвутся к власти.

— Сегодня народ имеет право сознательного выбора.

Нелли невесело рассмеялась.

— О каком сознательном выборе вы говорите? Окна моего кабинета выходят на площадь, где постоянно митингуют тысячи людей.

Я собственными глазами видела мешки с деньгами, которые раздавали этим смутьянам.

Мы недоверчиво посмотрели на неё.

— Вы мне не верите, — с горечью заметила она. — Вот у вас в Ленинграде, таком уважаемом городе, выбрали Собчака, этого демагога и болтуна. Неужели вы думаете, что это сделано сознательно и искренне? Да наверняка большинство избирателей были куплены.

— Вот тут позвольте с вами категорически не согласиться, — возразил Август. — Ленинградцев подкупить нельзя. Разве мы с Натой похожи на людей, которых можно купить или оболванить?

— Вы непохожи. Вы, наверное, просто искренне заблуждаетесь.

— Кто-то из нас с вами наверняка заблуждается, но, поверьте, наши убеждения глубоко продуманы и в какой-то мере выстраданы. Вырваться же из плена устаревших представлений, конечно, нелегко, тем более, когда внутренне к этому не готов...

С такого вот спора началось наше тесное и дружеское общение с Нелли Кирыак. Она оказалась очень симпатичным человеком, с большим жизненным опытом, широким кругозором, тонким чувством юмора, была по-женски сердечна и отзывчива. Мы проводили вместе всё свободное от процедур время. Она рассказывала много интересного из жизни молдавской интеллигенции, деятелей культуры и искусства. В данный момент её, конечно, больше всего волновала судьба своей республики.

— Национализм чрезвычайно опасен для нас. Тяготение к Румынии ни к чему хорошему не приведёт. Антирусские настроения —

это невероятная глупость и недальновидность. Больше всего я боюсь крови, народ наш темпераментный, а наши так называемые демократы и националисты именно к этому и ведут.

Мы много и часто говорили с ней о политике и ситуации в стране и, несмотря на различие в позициях и оценках, умудрялись находить взаимопонимание, получая обоюдное удовлетворение и интерес от этих разговоров. Как-то она сказала:

— Вы порядочные, образованные и очень неглупые люди, я доверяю вашему мнению и внимательно к нему прислушиваюсь. Вы сумели во многих вопросах поколебать мою уверенность. Я даже к вашему любимому Собчаку теперь отношусь иначе, признаю, что судила о нём предвзято и, наверное, ошибочно. Но должна вам сказать, что то, что происходит в Москве и Ленинграде, — это совсем не то, что творится у нас в Молдавии. Те, кто хотят взять власть, — бездари, плохо образованные, непрофессиональные горлопаны, они ничего не могут и не умеют. Это совсем не созидательные силы. Я знаю многих из них — очень опасные люди. Не остановятся ни перед чем. Скажу откровенно: мне сегодня страшно. Своих родных я уже отправила к дальним родственникам в Тирасполь, а сама по большей части бываю в Москве, у меня там свой номер в гостинице — пока есть такая возможность. Официально меня ведь ещё не уволили.

Мы ей верили и искренне разделяли её опасения и беспокойство. Когда расставались, сказали:

— В случае чего приезжайте к нам в Ленинград, место всегда найдём.

Она не приехала, но позвонила. После августовского путча, после развала СССР, из Тирасполя.

— Вот, видите, как всё случилось, — сказала она. — Слава богу, мы все живы и здоровы. Я часто вас вспоминаю. Желаю, чтобы всё у вас сложилось благополучно, а ваши надежды оправдались.

Она сказала это без всякой иронии.

* * *

В июле мы вернулись из Карловых Вар. К этому времени Данила отслужил в армии, успешно сдал экзамены в университет и был зачислен на философский факультет. На август мы уехали все троём в деревню. Здесь нас застало известие о ГКЧП. А когда мы вернулись в Ленинград, Советского Союза уже не было.

С тех пор много воды утекло. Так и напрашивается фраза: «Жизнь изменилась до неузнаваемости». Но так ли это на самом деле?

Новые хозяева жизни, новые кумиры. Новые игры и увлечения. Новые автомобили, бытовая техника. Вместо писем — короткие молниеносные СМС, электронная почта, вместо библиотек — Интернет. Вместо повсеместных уличных лозунгов «Вперёд, к победе коммунизма!» — рекламный слоган «Будущее зависит от тебя!».

Всё это внешняя атрибутика жизни, всего лишь её переменившиеся декорации, более технически совершенные. А вот суть жизни остаётся прежней, а её проблемы вечно неизменными. Может быть, поэтому скучно жить на этом свете старикам — ведь будущая жизнь человеческой души просто повторяет её прошлое.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Часть первая. Оккупанты (<i>Рига, 1945-1957</i>).....	5
Часть вторая. Оттепель в провинции (<i>Минск, 1957-1963</i>).....	66
Часть третья. Конформисты и диссиденты (<i>Ленинград, 1963-1991</i>).....	150

Наталья Арсеньевна Ланина
Автопортрет на фоне СССР

Текст печатается в авторской редакции

Оригинал-макет *С.В. Кассина*
Дизайн обложки *Л.А. Философова*

Подписано в печать 15.04.2010. Формат 60х90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 22
Тираж 300 экз. Заказ № 1507

Издательство «Нестор-История»
197110, СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел.: (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095, СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел.: (812)622-01-23